ТОЧКА ОПОРЫ

повести и рассказы

повести и рассказы

ТОЧКА ОПОРЫ

ТОЧКА ОПОРЫ

Повести
и рассказы
молодых
ленинградских
писателей

ЛЕНИЗДАТ
1971

7—3—2
164—1971

НОВЫЕ ИМЕНА

Нет никакой новизны в той мысли, что быстротекущая наша жизнь изменчива, что даже десятилетие — крохотная, с точки зрения вечности, частица бытия — привносит в человеческую психологию, в нравственный опыт, в характер, жизненный стиль человека подспудные, малозаметные в повседневности, но существенные коррективы. Их фиксирует взявшийся за перо. Если, конечно, природа наделила его зорким зрением, чутким к биению жизни сердцем.

Наиболее отзывчивым непосредственным «репортером жизни» является молодой, начинающий литератор. Настоящее умение и навык профессионала придут к нему после. В первых своих литературных опытах он торопится высказать пережитое, угнаться за временем.

Прочитайте сборник рассказов и маленьких повестей начинающих ленинградских прозаиков «Точка опоры» — на вас нахлынет, как теперь говорят, «поток информации». Информация эта не о каких-нибудь выдающихся событиях эпохи. Рассказы входят в круг обыденных забот современного человека. Человек не стар, он находится в той поре, когда надлежит точно определить свои обязанности в мире людей, исполнять эти обязанности не только для самоутверждения, а в силу их социальной обязательности.

Лет десять — пятнадцать тому назад герой в произведении молодого писателя то и дело порывал с привычным, устоявшимся кругом быта, уезжал, улетал, все начинал сызнова, на голом месте. Я вовсе не хочу сказать, что герой этого рода неправ, что его надобно осудить за романтическую неуравновешенность. Я не собираюсь также упрекать авторов книг десятилетней давности в волюнтаризме. Я только хочу сказать, что в последние годы несколько конкретизировались, уточнились сами понятия долга, места в жизни, нравственной ответственности, ценности человеческой личности. Естественно, это сказалось в произведениях современной прозы, особенно молодой прозы. Отчетливо прослеживается тема ответственности и в предлагаемом читателю сборнике «Точка опоры».

Тут сразу надо оговориться в отношении заголовка. Будущего читателя несколько рекламный характер названия — «Точка

опоры» — может навести на мысль о том, что молодые авторы этой книги одержимы Архимедовой идеей: найдя надлежащую точку, опереться — и перевернуть если не шар земной, то литературные каноны. Нужно читателя предупредить: такого рода ожидания не сбудутся. В большинстве своем герои рассказов сборника, как говорится, «нормальные» люди, такие, как все, как мы с вами. Точку опоры они для себя ищут не в глобальном, а в житейском, нравственном, вполне конкретном смысле. Что касается литературных поисков точки опоры, то, при всей их современности, новизне, поиски эти свободны от претензии, позы, модерна; они в лучшем смысле традиционны.

Вот, например, рассказ Дмитрия Притулы «Это чего-нибудь да стоит». Молодой врач, ординатор клиники Волков вступает в спор со своим пациентом, тяжко, смертельно больным строителем Карелиным. Спор извечный: доктор внушает пациенту принципы самосохранения, благоразумия, умеренности. Пациент отвергает эти принципы. Он еще не стар, страстен, талантлив, горит на работе. Ему надо было сдать к сроку объект — гостиницу. Он перетрудился, надорвался. У пациента инфаркт.

В подобных спорах литература чаще отдает предпочтение страсти, безудержности работника, нежели благоразумию эскулапа. Дмитрий Притула пытается заново взвесить доводы той и другой стороны. Герою его рассказа молодому доктору Волкову очень хочется, чтобы Карелин остался жить. Не только потому, что он сочувствует ему по-человечески. Его профессиональная обязанность, долг, честь, будущее, в конце концов, — спасти жизнь этого человека, как и всякого другого. Но этого — прежде всего. Благоразумный, хотя и молодой, скептичный, соблюдающий режим труда и отдыха, доктор Волков непростительно волнуется за своего больного, он недосыпает, нерационально использует нервную энергию во вред здоровью. Он не может переспорить Карелина, тот подавляет доктора своей личностью. Карелин убежден в своем праве — растратить здоровье, саму жизнь для дела, не для себя.

Спор остается неразрешенным в рассказе Д. Притулы. Автор не ставит точек над «и», да их и нельзя поставить. Автор предлагает читателю задуматься над тем, чего стоит человеческая жизнь, волен ли человек истратить ее без оглядки даже во имя дела. Что в конечном счете дороже — сданная к сроку, ценой перенапряжения сил, гостиница или бессонные ночи, нервы, здоровье врачей, стоящих у постели без времени умирающего человека, горе, тревога близких ему людей?

Д. Притула — врач по профессии. Рассказ написан как репортаж из больничной палаты. С проблемой жизни и смерти в их непосредственном, клиническом значении мы еще раз встретимся в рассказе Артема Гая «Наколка». Артем Гай тоже врач. Сюжетная острота его рассказа продиктована автору опытом: работа в клинике изобилует острыми ситуациями. Клинический случай послужил основой и для рассказа Семенова-Спасского «Побережье». Хотя рассказ этот отличается от упомянутых выше «врачебных» произведений романтическим настроем.

Как видим, давняя традиция близости труда литератора и врача находит подтверждение и в сборнике начинающих прозаиков «Точка опоры». Это не значит, однако, что содержание сборника однообразно. В нем участвуют, наряду с врачами, люди многих других профессий.

Военный инженер Виктор Каторгин написал рассказ о молодом сварщике Толике — «„Четверка“ для бати». Толик хочет сдать экзамен в своем вечернем институте на «четверку», а потом уже ехать в отпуск, порадовать батю «четверкой». Но на участке, где работает Толик, — узкое место, завал. Без Толика не обойтись на участке. Толик «вкалывает» сверх нормы, «четверка» уплывает от него. Поздним вечером сосед в электричке сочувствует ему: вот до чего довели, днем работай, вечером учись, лица нет на парне. Но Толик гордо отвергает сочувствие. Он хорошо поработал, помог товарищам, усталость дает ему чувство полноты жизни.

Герой рассказа «„Четверка“ для бати» как бы полемизирует с героем рассказа Д. Притулы доктором Волковым. Сварщик Толик отвергает благоразумие, ему чуждо понятие какого бы то ни было режима. Он работает всласть, без оглядки. Он еще молод, ему далеко до клиники, до инфаркта. Можно понять правоту Толика, так же как можно понять правоту доктора Волкова.

В сборнике «Точка опоры» есть рассказы с четко выраженной проблематикой, в других вещах проблемное содержание не сводится к тезису, формуле, преобладает художественное, поэтическое восприятие жизни. Прежде всего я имею в виду маленькую повесть-поэму нанайца Петра Киле «Птицы поют в одиночестве».

Едва ли можно пересказать содержание этой повести. Здесь нет очерченного сюжета. Юноша-нанаец приезжает из своего стойбища, из амурской тайги в Ленинград, поступает в Университет. Дни его наполнены не столько событиями, сколько чувствами. Душа маленького нанайца раскрыта для чувств, для добра, света, поэзии.

С подобным душевным состоянием героя мы уже встречались в романах Юрия Рытхэу, в стихах Ювана Шесталова. Но там герой заново открывал для себя мир большого русского города, изумлялся простым, обыденным вещам. В повести Петра Киле «Птицы поют в одиночестве» нанаец Филипп тоже делает открытия, но они как бы совпадают с его душевным опытом. Он будто давным-давно отправился в Ленинград: люди, книги, мысли, улицы этого города вошли в его внутренний мир. Новый товарищ — горожанин — возит Филиппа по своему городу, показывает ему памятные места, Филипп узнает эти места, он уже мысленно побывал тут. Громадность расстояния утратила способность разъединять жизнь людей, мир мыслей и чувств.

Герой повести Петра Киле привлекателен богатством своего мира, душевной развитостью; он — философ, мыслитель, поэт; его можно назвать интеллектуалом, хотя еще только вчера он ловил бурундуков в тайге. В этом новизна повести молодого нанайского писателя, да, да, писателя: в повести «Птицы поют в одиночестве» достанет материала, поэзии, таланта на отдельную самостоятельную книгу, ничуть не похожую на другие.

Повесть Киле написана по-русски, но она радует необыденностью стилистических форм, ритмов, словосочетаний, все в ней красочно, звонко, неожиданно. Как образец стилистики Петра Киле приведу один кусочек из повести, взятый случайно, без выбора: «В сквере Казанского собора отцветали розы, я слышал их знойный летний запах и остро чувствовал их шипы, и снова, как в детстве, возникало шероховатое розовое пламя у виска, я пытался разглядеть его — пламя бушевало розовыми волнами и исчезало в глубинах Вселенной... Сквозь вечернее сияние улицы я видел первые звезды... Там летели галактики, разгоняясь во все стороны... Говорят, двенадцать миллиардов лет назад были в одной точке нейтрино и антинейтрино. Земли в помине не было... Потом звезды полетят обратно — в одну точку, и опять нейтрино и антинейтрино. Я видел весь Невский с двумя потоками людей... Куда люди шли? И все так чудесно одеты, и все так веселы! Земля тихо вращалась, плескался океан, падали бомбы, молодежь плясала «енку», размахивали руками гориллы, люди голодали, президенты врали...

Вдоль Невы ярко горели фонари, лучась в воде. Поблескивал золотой шпиль Адмиралтейства, и несся на всех парусах золотой кораблик!»

Мне бы еще хотелось поговорить о повести «Птицы поют в одиночестве», но это не рецензия, не обзор, а только предисло-

вие к сборнику — рекомендательное письмо читателям. Мне хочется также порекомендовать читателям сборника «Точка опоры» маленькую повесть Вячеслава Усова «Душа моя». В ней имеется острый изобразительный сюжет. Динамично развертывается действие. Завидное владение языковыми средствами помогает Вячеславу Усову с одинаковой полнотой и верностью рисовать картины природы, воспроизводить душевные движения своих героев.

Впрочем, эти достоинства можно найти и у других авторов сборника. Главное привлекательное качество повести «Душа моя» состоит в ее принципиальной свободе от какой бы то ни было банальности. Вячеслав Усов выбрал для своей повести таких героев, поместил их в такие обстоятельства, подобные которым не часто встретишь в литературном потоке. (В начале предисловия говорилось о том, что большинство героев рассказов — обычные люди, похожие на нас. Тут тоже надо оговориться: не все похожи. И слава богу. Иначе скучно бы было читать этот сборник.)

Во время лесного пожара двое бегут из исправительной колонии. Блуждания по тайге приводят их к зимовью деда-промысловика. Один из беглецов — ленинградский фарцовщик, другой — сибиряк, попавшийся на мошенничестве. Надежды вернуться в вольную жизнь у наших «героев» не много. Но еще труднее этим заблудшим душам разобраться в себе, поладить с совестью.

Вячеслав Усов — геолог, кандидат наук. Геолог точно так же, как и врач, — фигура привычная, даже примелькавшаяся в литературе. Однако в повести «Душа моя» вовсе нет знакомого «геологического» реквизита. Это — созданное в творческой лаборатории писателя, не имеющее какой-либо видимой, высказанной связи с личностью автора произведение литературы. Я бы сказал так: хорошей литературы.

Повесть Павла Васильева «Весной после снега» перенесет читателя в послевоенную псковскую деревню. Именно «перенесет». Деревня той поры написана Павлом Васильевым с материальной осязаемостью. В повести есть тяжесть лежалой, давно не родившей земли, дым пепелищ, чуть внятный стук топоров, пуды человеческого горя, зёрна первой радости. Павел Васильев написал правдивую, очень русскую повесть.

Я называю повестями произведения Киле, Усова, Васильева, хотя они невелики по объему. Это — весомые, емкие произведения, в них высока концентрация содержания.

Наиболее соответствует принципам жанра современного короткого рассказа новелла Алексея Коробова «Фома». В ней нет

ничего лишнего, форма соразмерна содержанию, язык экономен, художественные средства почти незаметны. Это — «городской» рассказ. Герой его — игрок баскетбольной команды Фома, немножко чудаковатый, трогательный, не первой уже молодости, не очень счастливый, но совершенно необходимый на баскетбольной площадке малый. Год за годом его все зовут Фомой, и вдруг оказывается, что Фомин — это его фамилия, а имя — Борис.

Другой «городской», то есть отразивший психологию горожанина, рассказ — «Великое освобождение» Анатолия Степанова. Как и «Фома», он написан с усмешкой, но без иронии. Я выделяю эти два «городских» рассказа из общего ряда, поскольку сами они выделяются при чтении — легкостью, даже изяществом письма, юмором, без нарочитого намерения рассмешить читателя.

В сборнике есть рассказы, интересные в познавательном смысле. Василий Резник знакомит нас с бытом военного аэродрома, расположенного где-то на востоке. Александр Осин ведет репортаж со дна морского, из скафандра водолаза.

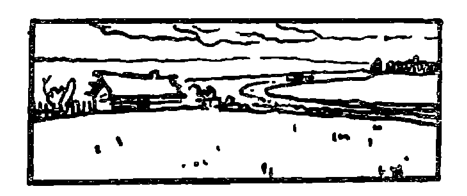
Есть, конечно, и недостатки в сборнике «Точка опоры»: не все рассказы вполне удались начинающим авторам. Но разобраться в этом — дело рецензентов. Моя задача — представить авторов с наилучшей стороны. Имена их пока что мало известны или вовсе неведомы даже любителям литературы. Однако несправедливо было бы назвать авторов сборника «Точка опоры» молодыми. Большинству из них уже за тридцать, а то и под сорок. Это — врачи, инженеры, ученые, журналисты, геологи, летчики, моряки.

В заключение хочу предупредить читателей сборника «Точка опоры»: не надо рассчитывать на легкое чтение, эту книгу едва ли осилишь в один присест. Почти каждый рассказ здесь требует к себе отдельного внимания, раздумья. Это все равно, что сидеть у приемника, отыскивать в многоголосье эфира значащее слово, любимую мелодию. Перестраиваешься с волны на волну, пробираешься сквозь помехи, привыкаешь к новому тембру — тут одного настроения мало, тут надобно запастись прилежанием и терпением.

Дебют начинающих прозаиков состоялся. Я думаю, что книгу «Точка опоры» заметят, а может быть, и полюбят читатели. Право, она того стоит.

Глеб Горышин

Владимир Липилин



СВАДЬБА

Стоял особенный день.

Такой день бывает раз в десятилетие, только в Сибири, и нигде больше.

В такие дни короткая весна встречается с летом, будущим летом, жарким, устойчивым, многообещающим.

Вдали, но отчетливо-ясно, как в палехской живописи, голубел вечный снег на вершинах Саян.

Улежавшаяся за зиму, но еще без летней пыли и назойливых комаров дорога упруго

вилась по бесконечному лесу, плутая, как преследуемый разъяренной толпой беглец.

От соседства с лесом, темно-зеленым, многоголосым, дорога казалась живой.

Солнце, разогнав утренний туман, но еще не высушив капли росы, сияло над лесом, над дорогой и над кошевой, которая споро катилась по дороге, влекомая парой низкорослых, но вовсе не слабых монгольских лошадок.

На передке кошевой сидел, подставив голую грудь солнцу, молодцеватый ямщик, распевавший под аккомпанемент птичьих голосов песни на двух языках сразу — на русском и татарском. Потомок сынов безбрежных степей, Шавали — так звали молодого ямщика — пел просторно, высоким голосом, как поют мусульмане. В вольно сочиненной тут же песне отразилась вся прелесть утренней дороги.

Самозабвение певца, казалось, тронуло и птиц — их гомон затих. По-своему воспользовалась пением и пристяжная лошадка — она заметно сбавила ход. Но не тут-то было — потянувшись за кнутовищем, заткнутым за голенище сапога, ямщик философски изрек:

— Аврам гордился — с неба валился, мы гордимся, куда годимся, а?

Изречение подействовало — дробный перестук копыт участился.

Кроме ямщика в кошевой сидели две женщины. Одна — лет пятидесяти, с волевым выражением лица, в строгом дорожном костюме, и молодая, большеглазая, с длинной косой — дочь строгой дамы Надежда.

— Шавали, скоро ли теперь? — нетерпеливо спрашивала Надя ямщика.

— Сапсем скор, сапсем скор, — всякий раз обнадеживал ямщик, — сичас Шушь, а там и Петра-и-Павло-в-ка, — добавлял он нараспев трудно выговариваемое слово.

— Как вы сказали, Шавали, — Петропавловка?

— Он. Самый балшой дом. Каменный. Такой балшой, как... — словоохотливый ямщик, вскинув голову, отчего реденькая его бороденка зазолотилась в солнечных лучах, досказал свое сравнение, — такой, как во-он тот птица.

В чистом, как лазурь, небе в самом деле парила какая-то большая птица.

— Мамуленька, взгляни, как прекрасен ее полет! А лес, как чудесно, должно быть, в лесу, как приедем, тут же пойдем в лес, хорошо?

Дочерин восторг был понятен матери — после тюремного заключения Надежда ехала в ссылку, как не прийти в восторг от такой прелести, от такого буйного солнца после мрачных камер «Шпалерки».

И нескрываемая радость, и нетерпение встречи с тем, мысли о ком скрашивали тюремное одиночество, — все это искрилось в выразительных глазах дочери, радуя, но одновременно и тревожа мать.

«Вот и дочь — отрезанный ломоть, как-то у нее жизнь сложится, — подумала Елизавета Васильевна, а вслух сказала:

— Надинь! Мы скоро, сказал Шавали, подъезжаем...

Тут из глубины леса явственно донесся лай.

— Ой, что это, Шавали? — Елизавета Васильевна испуганно тронула ямщика за кушак.

— Сапсем не боись, собак гостей чуял, свой голос подавал, — нараспев успокоил ямщик и натянул вожжи, подгоняя лошадок.

Те послушно ускорили бег. Скоро перед кошевой, вырвавшейся из густого леса на взгорье, встала колокольня Петропавловской церкви, неожиданно для такой глуши взметнувшаяся прямо к небу.

Она будто выступала из опадавшей половодной воды навстречу кошевой.

А вот и само село.

Широко и раздольно рассыпались рубленые дома с крытыми дворами. Церковная колокольня, как дозорный, строго и подозрительно оглядывала все село — от спрятанных за перелесками хуторков до тяжеловесных построек купцов и волостного правления.

— Мамуленька, родная, мы уже на месте.

— Да, да, Надинь, будь же благоразумна, прошу тебя.

Последние отрезки долгого пути всегда сладостны, как и волнительны ожиданием чего-то необычного.

Елизавета Васильевна тайком наблюдала за дочерью, и материнские переживания за будущую ее жизнь не уходили. Всё — и длинная дорога, и нескрываемая радость Надежды — не заглушало, а, напротив, теперь, перед приездом, обостряло тревогу. Смущало мать и нетрадиционное предложение, и то, особенно, как оно было принято. «Женой так женой», — написала в ответ на предложение ее Надинь. Что это? Надинь никогда не была легкомысленна. Как отнесется к подобному согласию разделить жизнь человек, предложивший Надинь руку и сердце? Он производил впечатление очень серьезного... Но ее глаза! Бедная девочка моя, она влюблена до безумия.

Догадываясь, о чем только что думала мать, Надя обняла ее за плечи, приникла к ним, как перед расставанием, и прошептала:

— Роднулька моя, мамуленька, это оттого, что ты еще плохо знаешь моего Володю, а он такой... в общем, все будет замечательно, не надо тревожиться за меня, мамочка, увидишь.

— Дай бог, Надинь, дружочек мой, дай бог, — вздохнула мать и, не сдержавшись, потянулась к сумочке за платком.

Ямщик лихо остановил кошевую у ворот.

С крыльца, козырек над которым поддерживали резные изящные деревянные колонны, всплескивая руками, торопко сбежала пожилая женщина.

— Шавали-ковали, а чай, не знашь, как воротца наши отчиняются? Слава те, господи, приехали! Заждались мы вас... В дом, в дом пожалуйте с дороги...

— Что с Володей? Он заболел? Что с ним? — Надя успела соскочить с кошевой и в нетерпении, позабыв поздороваться с встречающей женщиной, в волнении стала расспрашивать ее.

— Здоров, здоров, извелся токмо ожидаючи, места себе не находит, будьте покойны — здоров.

— Так где он?

— Будет, будет скоро из лесу. Минька! — вдруг звонко прокричала старушка, — слётай живо за Володимером Ильичем. — А вы вон какая — березонька! — с удовольствием оглядела женщина Надю, зардевшуюся от столь откровенного восхищения, и протянула сложенную щепоткой руку. — Ну, давай поздоровкаемся, красавица наша, напужала я тебя ненароком, не обессудь старую.

— Ой, да что вы, Дарья Ниловна. Вы же Дарья Ниловна, да?

— Она. Она самая я и есть.

— Мне Володя о вас писал.

Надя троекратно поцеловалась со старушкой.

Меж тем к кошевой подошел какой-то худощавый мужчина и, галантно раскланявшись с Елизаветой Васильевной, помог ей сойти на землю.

— А вы — Проминский! — заметив мужчину, радостно произнесла Надя.

— Так, так, Проминский, дюже приемно, пани Надежда.

— А это — моя мама, Елизавета Васильевна.

— Дюже приемно, пани Елизавета, — снова с истинно польским изяществом раскланялся мужчина. — Про́шу паньство до дому. Про́шу...

Селяне полукружием собирались у плетня.

Мужчины натруженными пальцами теребили войлочные шляпы, женщины утирали концами белоснежнейших платков глаза.

Ватага вездесущих мальчишек под предводительством Миньки, любимца дяди Володи, врассыпную понеслась к лесу с известием о приезде гостей.

— Одноземельные, подмогнем! — обратилась Дарья Ниловна к собравшимся мужикам. — А вы, бабоньки, зайдите, зайдите в дом, посмотрите, порадуйтесь глядючи да не забудьте — люди с дороги, им отдохнуть надоть.

Помощь миром, предварительные смотрины невесты — высшее уважение к дому, к тем, кто станет в нем жить.

Мир, он все разглядит и обо всем, не тая злого навета, расскажет. Тут уж мир отличит, кто богат, а кто хвастлив, кто умом живет, а кто слепым счастьем.

Удовлетворив обрядное любопытство, крестьяне расходились, не утомляя ни себя, ни хозяев назойливостью, расходились, как и пришли, степенно, покло-

нами и улыбками желая поселенцам счастья в доме. Уже за оградой, разделившись на маленькие группки, обменивались мнениями.

— Сама-от, свекровушка, строга... — заметил здоровенный мужик в домотканой одежде.

— Чай, с неближней дороги, притомилась, мо быть, — поддержал его напарник.

Их жены шли следом.

— Дорога дальняя, верно, облик обликом, но и то сказать — моя тоже, свекровушка-то, была не чай с сахаром, царствие небесное. Бывало...

Но рассуждения мужика остановила жена:

— Эк, поровнял! Ты что, Фрол, хи-хи! Маманя моя тебе тещей доводилась, сколь говорено?

— И то, твоя правда, Меланья...

— У невесты коса-то по-нашески, по-крестьянски.

— А глаза-то, глаза, узрели? Ну, чисто тебе озерки наши бездонные, и смотрют так ласково, приветаючи.

— А сам-от он, что? Не под стать теперича?

— Что толковать...

— Слышала я, соседушка, от Дарьюшки: на Казанской венчаться станут, об объявлении жених хлопотал, чтоб все, значится, как у нас в соблюдении.

— Дай бог, люди — сразу видать — хорошие.

...Текли дни первых радостных свиданий.

Лето все больше и больше входило в силу. Знойное, оно стояло в истоме по дождю, который, по всем приметам, должен был со дня на день грянуть — далеко-далеко за хребтом Саян, где зеленые вершины леса превращались в сплошную синь, бродили темные грозовые тучи, стараясь прорваться через горы.

В один из таких дней Елизавета Васильевна очень расстроилась — молодые спозаранку ушли в лес. Вот уже полдень, а их нет и нет.

— Да полноте вам, Елизавета Васильевна, матушка, так убиваться, — успокаивала Дарья Ниловна, — гляди-кось, на дворе еще светлынь. Люди молодые, пусть себе потешатся, помилуются на раздолье, никуда не денутся.

Но Елизавету Васильевну столь твердое убеждение не успокоило, хотя она, перебирая платочек, и ответила:

— С чего вы, Дарьюшка, взяли, что я убиваюсь? Но ведь посмотрите — какие тучи.

— Я и толкую тебе, милая, к урожаю они, тучки, в самую что ни на есть пору.

— К урожаю? — думая о своем, произнесла Елизавета Васильевна.

— К нему самому, без крестного хода, гляди-кось, ныне обойдемся.

— Да, да, очень хорошо, Дарьюшка, — соглашаясь, ответила Елизавета Васильевна, но тут же тревожно спросила:

— Дарьюшка, а медведи есть в окрестностях?

Не заподозрившая ничего особенного в вопросе, Дарья Ниловна все так же спокойно сказала:

— Как не быть, как не быть им, Елизавета Васильевна, в такой-то глухомани. Есть ведмеди: лес, малинник, овсы — мишке в самое полное удовольствие, ажно урчит, как лакомится. Единось-от иду я и чую — глаза будто на меня чужие смотрют. Кому это, думаю, быть туточки? Батюшки светы, а это он, косолапый, в меня уставился с-под кусточков. Ах, лешак тя задери, в голос я, а он и пойди вперевалочку, не торопясь. Есть, есть они, сладколизы.

Тут Дарья Ниловна подняла глаза от своего рукоделия и взглянула на собеседницу. Обомлев от своей

откровенности, Дарья Ниловна принялась успокаивать Елизавету Васильевну:

— Токмо о сю пору он сытехонек, ведмедь-то, на человека ни за что не пойдет.

Елизавета Васильевна облегченно вздохнула.

— Это вы наверное знаете, Дарьюшка?

— Как не знать, милая, как не знать? Вот потому и толкую, что знаю: пусть детки твои на раздолье нашем походят да помилуются.

— Да, да — вы правы, Дарьюшка, слава богу, — согласилась Елизавета Васильевна, — а то мне в голову полезли всякие нелепости. А волки? — вдруг всполошившись от собственной догадки, спросила Елизавета Васильевна.

— Во-олки? — растянула Дарья Ниловна, обдумывая ответ.

— Да, волки...

— Нетути, нет, волков не водится, — твердо солгала Дарья Ниловна и украдкой перекрестила себя за невольный грех.

— Вы наверное знаете, Дарьюшка? — опять усомнилась Елизавета Васильевна.

Дарья Ниловна не спеша посучила нитку, опять раздумывая, какими словами успокоить собеседницу и вновь не впасть в грех, дипломатично, но так же твердо ответила:

— Нет, не слышно про волков-то было.

Елизавета Васильевна намеревалась еще что-то спросить, но тут в сенях послышались шаги.

— А вот, глянь-ко, и молодые легки на помине, — произнесла Дарья Ниловна, втайне тоже растревоженная долгим отсутствием молодых, и с напускным укором добавила, не оборачиваясь к дверному проему:

— Ни свет, ни заря ушли, а мать...

Дарья Ниловна не договорила. Повернувшись к двери одновременно, женщины увидели, что в прихожую входили трое мужчин: местный урядник, десяцкий староста и неизвестный офицер.

— Ниловна, ай зенки свои проглядела, не видишь кто? — приказал староста.

— Ах ты, господи, роднехонький, не казни меня, дуру старую! — запричитала Дарья Ниловна, кланяясь в ноги, вмиг превратившись в само подобострастие.

Неизвестный офицер, не поздоровавшись, прошел прямо в комнату постояльцев. За ним просеменили урядник и староста.

Неистово закрестившись, Дарья Ниловна зашептала Елизавете Васильевне:

— Окснись, Елизавета Васильевна, это к деткам твоим... Ой, чует мое сердце, к деткам с недобрым.

— Ну, зачем же вы так, Дарьюшка?

— Э, милая, становой на то к нам и приставлен, чтоб сидели мы и помалкивали, как таракан в щели.

Поправив платок, словно сбросив этим жестом тревогу и оцепенение, Елизавета Васильевна решительно пошла в комнаты.

— Что вам угодно, господа? Эти комнаты сняты помощником присяжного поверенного господином Ульяновым с женой.

— Гласным ссыльным, вы хотели сказать, мадам? — ответил офицер. — И потом, разве у упомянутого гласного ссыльного есть жена? Не доводилось слышать, мадам, он холост, а холостой человек, что вполне понятно, надеюсь, не может иметь жену, не так ли?

Произнося свои, как ему казалось, полные сарказма слова, офицер бесцеремонно ходил по комнате и обшаривал ее глазами...

Стол, бюро, полки с книгами...

О, эти жандармские глаза... Елизавета Васильевна имела прискорбие познакомиться с ними. Натренированные, как гончие, они способны высмотреть даже то, что сам не найдешь при нужде, хотя точно знаешь, что положил на место.

Вот и глаза этого офицера — секунду назад, рыская, они скакнули с верхней полки на среднюю. На самой нижней зять хранил, Елизавета Васильевна знала это, рукописи, которые явно не предназначались для жандармских глаз.

— Я уже сказала вам, что в этих комнатах проживает господин Ульянов с женой, все остальные интересующие вас вопросы, мне кажется, вам следует адресовать ему, — отвлекая офицера, резко сказала Елизавета Васильевна.

— А вы кем доводитесь гласному ссыльному Ульянову, мадам?

И лицо, и вся фигура Елизаветы Васильевны приобретали с каждой секундой беспощадно-грозный вид, не обещавший ничего хорошего ни офицеру, ни его попутчикам.

— Не понимаю, на каком основании вы устраиваете мне допрос! Вы забываетесь!..

— О, я вижу, вы не отстаете от своих деток! А, Запашный?

— Так точно, вашескородие — ни в чем замечены не были, документы на жительство в порядке.

— Ну и болван... — небрежно пресек офицер докладывающего урядника, невольно обращаясь за поддержкой своего определения к Елизавете Васильевне, но тут же, спохватившись, сказал ей:

— Вашим детям, мадам, и вам следовало бы знать утвержденные святейшим Синодом правила обручения.

— Я не намерена выслушивать ваши непристойные нравоучения, господин... как вас, не имела чести услышать имени! — сурово отчеканила Елизавета Васильевна.

Опешив от столь неожиданного отпора, офицер и сам не знал, как, не уронив достоинства перед невольными свидетелями, выйти из неловкого, им самим созданного, положения.

— Не забывайтесь, мадам, перед вами штаб-ротмистр его величества жандармского корпуса!

— Если вы тотчас же не покинете дом, смею уверить, я найду возможность сообщить в упомянутые вами инстанции о вашем поведении, — гневно потребовала Елизавета Васильевна, отброшенной назад рукой показывая на дверь.

Урядник со старостой попятились к выходу. Взбешенный штаб-ротмистр опередил их.

Дарья Ниловна, подождав, пока с треском не захлопнулась дверь в сенях, робко сказала:

— Елизавета Васильевна, милая, да как же вы эдак-то? Власть ведь...

Елизавета Васильевна и сама не могла ответить, где она выискала в себе столько смелости. Заставляя уняться дрожь в коленях, она задумчиво смотрела на реку и с новой силой тревожилась за запоздавших детей. Они где-то там, за речкой, но что с ними? Что за легкомысленность, если ничего не произошло.

— Дарьюшка, вы меня не обманываете, в самом деле в округе нет волков?

Но Дарья Ниловна не успела ответить — из сеней снова раздались голоса, на этот раз такие милые, родные...

Виновато, смущенно улыбаясь, вошли молодые люди.

Будто это вовсе и не она минуту назад истомилась ожиданием, Елизавета Васильевна сказала:

— Дарьюшка, давайте ставить самовар.

Но перед ней стояли провинившиеся дети, и Елизавета Васильевна не выдержала:

— Владимир, Надинь, я начала уже не на шутку тревожиться — вас нет и нет, нельзя же так долго, право, вот уж и сумерки.

Зять, раскрасневшийся, с возбужденными блестящими карими глазами, словно он только что пришел с мороза, подбежал к Елизавете Васильевне и, будто в вихре вальса, закружил ее по комнате, громко хохоча и рассказывая:

— Вы и не представляете, Елизаветочка Васильевна, дорогая вы наша, до чего ж хорошо в лесу! В другой раз вы не отнекаетесь, мы возьмем вас с собой силком, правда, Наденька? Возьмем, возьмем, возьмем... Вы сами увидите, какие там зеленющие полянки, как по-братски уживается стройная сосна в окружении березок, какие причуды таит лес. Как золотые лучи солнца струятся сквозь ветви, а далеко в чащобе тоскливо, заливисто воет волк, вот услышите...

— Волк, Владимир? — испуганно отстранилась от зятя Елизавета Васильевна. — Тут, мне говорили, нет волков.

Дарья Ниловна, прячась за спиной Елизаветы Васильевны, подавала оттуда предостерегающие знаки Владимиру Ильичу.

— Нет, это верно, волков здесь нет, но Наденька, пугая меня, на ходу сочиняла сказку.

Елизавета Васильевна серьезно заметила дочери:

— В незнакомом лесу подобные сказки неуместны, Надинь, тем более, тем более... что сама Дарья Ниловна видела медведя. Да, да — медведя...

Надя, еще не остывшая от быстрой ходьбы из леса, виновато покаялась:

— Я больше не буду, мама.

И, не выдержав серьезного вида, вместе с женихом звонко засмеялась.

Елизавета Васильевна пожала плечами, извиняясь перед Дарьей Ниловной за их несерьезность.

— Будя вам тревожиться, Елизавета Васильевна, молодые они и есть молодые, что им деется? Кровушка-то играет, не гневайся ты на них, матушка, самоварчик лучше поставим.

— И я с вами, — обняла дочь Елизавету Васильевну.

Замешкавшись несколько, Дарья Ниловна пропустила мать с дочерью вперед. Скороговоркой она зашептала Владимиру Ильичу:

— И что туточки было, милые мои! И что туточки было — ну, прямо-тки за един дух и не пересказать. Матушка-то Елизавета Васильевна ка-ак скажет, ка-ак скажет: «Подить прочь, охальники!..» Так вся и зашлась, так вся и задрогла — «подить прочь!», а они бочком, бочком, и токмо их и видели, истинно слово.

Уловив тревогу в словах Дарьи Ниловны, Владимир Ильич спросил тоже шепотом:

— Кто «они», Дарья Ниловна? Почему так разволновалась Елизавета Васильевна? Что здесь произошло? Скажите, пожалуйста, подробнее!

— Они-то? Как же — власть с бляхами: урядник, да староста, и еще этот, «штаб» какой-то при еполетах, так тот самый «штаб» и говорит Елизавете-то Васильевне — не обручены они, мол, по-христиански, то бишь вы со своей Наденькой, а я-то так вся и изошла, как услыхала, что Елизавета-то Васильевна им на дверь, на порог указует. Что будет-то теперича, что

будет, думаю, а они и выпорхнули, ровно бабочки-ночники от слов-то матушки вашей...

Еще узнал Владимир Ильич, как зыркал зенками по сторонам да бумагам тот самый «штаб» и что не к добру он все высматривал, и если бы не Елизавета Васильевна, то и неизвестно, чем бы все кончилось.

Поблагодарив Дарью Ниловну, Владимир Ильич вместе с ней вышел на кухню, где хлопотали с поздним обедом Елизавета Васильевна и Надя. Сохраняя веселый вид, Владимир Ильич сказал Елизавете Васильевне:

— Мне только что Дарья Ниловна рассказала о том, что произошло. — Простите великодушно, дорогая Елизавета Васильевна, волей-неволей я дал повод этому мерзавцу... впрочем, ну их... простите и большущее вам спасибо, — Владимир Ильич нежно поцеловал растроганной Елизавете Васильевне руки.

— Что вы, что вы, Владимир, я презираю... этих... этих... грубиянов.

— Я знаю, дорогая Елизавета Васильевна, знаю.

— Ну и славно, — улыбнулась Елизавета Васильевна, — а теперь идите и ждите обеда.

— Подчиняюсь.

Женщины слышали, как он прошел в сени, весело насвистывая марш, чем-то двигал по комнате, умолкал ненадолго и снова принимался отодвигать что-то.

— Не пойти ли тебе помочь ему? — сказала Елизавета Васильевна дочери.

— Я уверена, он хочет побыть один.

Когда женщины внесли обед в столовую, они не застали там Владимира Ильича, но, к их удивлению, комната была по-новому прибрана и украшена: на столе расстелена белая скатерть, а, оттеняя ее белизну, в маленькой вазе стояли три зеленые веточки — побеги,

видимо, принесенные молодыми из леса. И не успели удивленные и восхищенные женщины и слова промолвить, как вошел в столовую Владимир Ильич.

— Не наказывайте мое самоуправство, хозяюшки.

Он был в парадном костюме, стянутая галстуком загорелая шея еще резче выделяла крахмал манишки. Владимир Ильич сам расставил тарелки, пододвинул супницу к месту хозяйки стола, сказал:

— Прошу за стол, мои милые друзья.

На секунду выйдя в свою комнату, Владимир Ильич вернулся оттуда с букетиком полевых цветов. Он подошел к Елизавете Васильевне и раскланялся, приподнося ей цветы. Елизавета Васильевна, подчиняясь торжественности момента, встала.

— Дорогая Елизавета Васильевна, как вы знаете, на днях я получил казенную почту из Минусинска, в ней, наконец-то, разрешение на брак наш с Надеждой Константиновной... Позвольте мне... Я прошу руки вашей дочери...

— О, Надинь! — охнула Елизавета Васильевна. — Надинь, Дарьюшка, подите же сюда.

— Тут мы, тут... — крестилась Дарья Ниловна, а Наденька, застыдившись счастья, заслонила руками лицо и попыталась выбежать в прихожую. Но не так-то просто было убежать от зорко следившей за всем происходящим Дарьи Ниловны: старая женщина подвела ее к жениху, приговаривая:

— Смирись под благословением материнским.

Елизавета Васильевна соединила руки молодых, успела сказать: «Я благословляю вас, будьте счастливы» — и, обессиленная, присела на лавку.

— Слава те, господи! — прочувствованно перекрестилась Дарья Ниловна. — Спаси и поддержи!

Первые секунды все находились в радостном оце-

пенении. Потом Владимир Ильич подхватил Наденьку и, кружась с нею, пропел на весь дом:

— А теперь — свадьба! Фата белоснежнейшая, Наденька! И свидетелей — Георгия, Глебушку, Проминских, всех, всех, всех!

И вдруг посерьезнел:

— А вы, милая Надежда Константиновна, вы согласны ли стать моей женой?

— Да, дорогой Владимир Ильич, я подтверждаю прежнее свое согласие и теперь, согласна!

— Ур-ра!

Днем позже ссыльный путиловец Эрнберг отлил два обручальных кольца для новобрачных.

На венчании священник отец Иоанн, весьма наслышанный о тех, кого венчал, не обременял и их самих, и гостей, и, главное, самого себя, торопясь по делам более важным и прибыльным. Он поторопился пропеть «Исайя, ликуй» и благословил новобрачных на дружную жизнь.

Гости требовали подсластить еду и питье, им все казалось горьким.

Наденька, радостная, веселая, склонилась к мужу и сказала только ему одному:

— Я счастлива, Володя.

И застеснялась, ей почудилось, что ее слова слышали все.

А на ограде вокруг дома, как на всех свадьбах, повисли мальчишки.

Павел Васильев

ВЕСНОЙ, ПОСЛЕ СНЕГА

Повесть

1

Ездовой был белобрысый солдат года на три старше Василия. Шинель нараспашку, пилотка на затылок, глаза веселые, озорные, зуб золотой. Василий долго уговаривал его, упрашивал, но он отвечал одно и то же:

— Нет, не могу! Ну не могу! Хоть сердись, хоть нет — не могу! Прямо — куда угодно, а в сторону — не поеду. Я на службе.

— Здесь недалеко. Километров семь.

— Все равно не могу. Видишь, на шоссе тонем, а куда же в сторону!

— Да мы столкуемся с тобой!

— И шнапсик найдется?

— Найдем!

— Так бы и начинал. Эх, была не была, садись! — воскликнул ездовой, привстал, рванул вожжи и хлестнул по лошадям. — Но, одры!

Телега сдвинулась и поползла по дорожной зыбкой грязи, подгребая колесами.

— А покурнявкать есть? — спросил ездовой.

Василий достал кисет.

— О, живем! Пожирнее заверну, если не возражаешь. Можно?

Он оторвал косой уголок газеты и взглянул на пустой левый рукав Василия.

— А тебе завернуть?

— Нет, спасибо.

— Ну, как хочешь. Дело хозяйское. Домой?

— Домой.

— Это здорово!

— Да как сказать...

— Ну! — возразил ездовой. — Это брось! Могло быть хуже. По-всякому могло быть. Знаешь, сколько я на этих дрогах перевозил. Наша команда тут целый месяц подбирает. А это — ни фига, девок щупать сможешь, и хорош!

Ездовой задорно рассмеялся, подмигнув Василию.

— Значит, местный, а? Скобарь? «А Чихачево нам ничово и Сущево нипочем. В Чихачеве гулять будем, а в Сущево не пойдем!» Теперь отсюда фронт далеко ушел. Раньше было слышно, как постукивали, а сейчас — тишина-а! Сообщают, наши уже в Латвии.

Василий молчал. Телегу болтало из стороны

в сторону, будто лодку, грязь срывалась с колес и шлепалась на ноги.

— Если бы до войны к тебе в гости приехал, вот карусель устроили бы, эх, мамочки! Я — плясун-чечеточник! Прима художественной самодеятельности, премии получал, — хвастался ездовой. — У меня ноги, как язык, так и лопочут! Сто ударов на одной половице!.. А дома у тебя кто?

— Мать.

— Знает, что приедешь?

— Нет, не писал. Когда их освободили из оккупации, послал письмо, а получил ответ и сразу сюда. Не писал больше.

— Не женат еще?

— Нет.

— Не успел? Обневестившийся?

— Вроде бы, — улыбнулся Василий.

— Ждет?

— Обещала.

— Девок сейчас полно. Нашего брата сколько перещелкали, а они остаются. Так что тебе в любом случае — малина.

Василий помолчал, но, в который раз сегодня, опять вспомнил о Насте...

Получив письмо от матери, Василий написал и Насте, да ответа не дождался, решил ехать. Мать писала: «Жива Настя, здесь, в деревне...»

Какая она теперь? Повзрослела, изменилась? А я вон какой! Однорукий...

Василий вспомнил, как он радовался, когда сразу после призыва почти каждый день получал от нее белые треугольники.

Потом он припомнил последнюю встречу. Ту последнюю ночь, что провел в деревне перед тем как

уйти на фронт... Много времени минуло... Уже три года...

Тогда до рассвета просидели они у реки. И вспомнил Василий, как кричал коростель на противоположном берегу, в лугах. Как-то еще не понимал тогда Василий, куда идет, несерьезно все принимал. «Давай переедем на ту сторону, поймаем его», — предложил он Насте.

Эх, какой пацан был, какой желторотик!

А мать понимала...

Утром, торопясь, шел Василий по туманной деревенской улице, по-мальчишески думая: «Засиделись. Мама будет ругать», — и остановился, вдруг увидев ее.

Ссутулясь, зажав голову ладонями, мать сидела на крыльце.

— Мама, ты что? — удивился Василий.

— Иди, Вася, попей молочка. Ехать скоро...

Желторотик, какой желторотик был!

А Настя?..

— Вася, ты крови боишься? — спрашивала она в ту ночь, ласково прижимаясь к его плечу. — Хорошо, что не боишься. А то вдруг ранят кого-нибудь... А я так боюсь! На покосе как увижу: лягушка порезанная скачет, кричит, зажму уши — и бежать! Бегу, бегу, а сама не знаю, куда бегу!.. Не хочу, чтобы ты шел!

— Ты тут скучать не будешь. Вон сколько ребят остается.

— Вася! — воскликнула она и уткнулась ему в пиджак лицом. — Ва-ся! Горе ты мое горькое! Никто мне не нужен, одного тебя люблю и буду любить всю жизнь. По-нашему, по-псковскому! Вот, будь проклята!.. Судьба ты моя!

— Не вешайся на плечо, что ты!..

Каким мальчишкой был! Настя! Настя!.. А знал бы, что столько увижу... Самому хотелось зажать уши да бежать, бежать. И не один раз!

— Подхлестни еще, дружок! Они у тебя совсем уснули, — попросил Василий.

— А вон... — парень привстал. — Тпру! Кажется, ихний лежит. Ну, этого колхознички зароют. Но, одры! Ирония судьбы! Плясун-чечеточник на похоронных дорогах. Ну, ничего, переживем! А Чихачево нам ничово и Сущево — нипочем! Поехали, милые! Эх, соколики!..

Было раннее утро. Солнце еще не взошло, оно скрывалось за горизонтом, но небо и высокие белые облака были пронизаны его лучами, и казалось, что не солнце, а небо и эти облака источают ровный рассеянный свет. Поляны, кусты, дорога — все еще было подернуто рыхлым сизым туманцем. Он не клубился и не полз, а тонким слоем лежал по-над самой землей. Начинался метрах в тридцати в любую сторону. Но когда подъезжали, то и там тумана тоже не оказывалось, теперь уже он синел на том месте, откуда только что уехали. Пахло прелой листвой и талой водой. Цвела ракита. Ее верхние темно-красные ветки были усыпаны шишечками, похожими на желтых шмелей. В ольховых рощах вокруг пней белели подснежники. Земля просыпалась, прислушивалась, начинала дышать.

Василий узнавал места, которыми ехали. Чем ближе подъезжали к деревне, тем напряженнее всматривался и прислушивался.

Но деревня появилась все ж неожиданно. Они выехали за рощу и как-то разом оказались на деревенской улице. Столетние дубы вдоль дороги. Колодезный журавль с надетой на крюк деревянной

бадьей. Только домов нет. Черные головни у канав, обгорелая жесть, камни да кирпичи.

— Куда везти? — спросил ездовой.

— Я покажу...

Они остановились у мостика через канаву, что вел когда-то к крыльцу дома. Тот же мостик, одна доска, третья от края, выломана.

«А где же мама?» — подумал Василий, торопливо оглядываясь.

За домом, в углу сада, был маленький погребок. Василий побежал к нему, толкнул дверь. Закрыто. Приложил ухо к двери, прислушался. Стукнул, позвал:

— Мама!

За дверью тихо. Василий постучал погромче... «Что ж это? Неужели уехала куда-нибудь?»

— Мама!

— Кто здесь?

Василий почему-то промолчал.

Дверь будто сама собой отодвинулась от косяка, приоткрылась, и Василий увидел мать.

— Это я, — прошептал он.

Мать стояла в полуметре от него, одетая, причесанная, как будто все три года она так и стояла здесь, у дверей, ждала. Ее губы дрогнули, она побледнела, протянула к нему руки.

— Вася! — и будто споткнулась, рухнула к Василию. — Сынок! — Схватила, прижалась к нему, вцепилась. — Вася! Сынок! Васенька!

И ее мокрая, дрожащая щека прилипла к его щеке.

— Сыночек мой! Кровиночка! Васенька!

— Ну не надо, мама. Не надо, мам, я пришел, — повторял Василий.

Вещевой мешок упал к ногам, мать взглянула вниз, поймала в ладонь пустой рукав гимнастерки, закрыла им лицо и зарыдала громко, горько.

— Ох, тошно мне! За что так? Ох, миленький!

— Ну не надо, мама. Ничего, — повторял и еще что-то говорил, и обнимал, и целовал ее Василий. — Не надо, мам. Не надо, не надо.

А по огороду от другой усадьбы, тяжело переставляя босые ревматические ноги, нерешительно шла соседка, бабка Алена. Она еще не понимала, что происходит, близоруко вглядывалась из-под руки. И вдруг, очевидно догадавшись, всплеснула руками и побежала к погребу, еще издали закричав гулко и жутко, нутром:

— Ох, не придут-то мои ясные соколы!..

Прибежали другие соседки. Пришел дед Андрей, сморкался, ждал, пока бабы немного отхлынут. Не дождавшись, оттолкнул одну, другую и, предварительно сняв шапку и проведя ладонью по волосам, трижды, накрест, расцеловался с Василием.

— Ну, слава богу. Хоть один, да пришел...

— Да вот... — сказал Василий.

— Сынок! Мы и таким рады!

Бабы стояли кругом, всхлипывали, рассматривали Василия, расспрашивали:

— Скоро ль война-то кончится, Васенька?

— А не придет проклятый сюда опять?

— Как кормят в армии? Не видел ли кого-нибудь своих?

И, стараясь скрыть слезы, отворачивались. Василию было неловко стоять вот так. Он достал кисет.

— Закурим, дядя Андрей.

Дед неторопливо зашаркал стоптанными валенками, зорко следил за кисетом. А махорочку взял

осторожно, двумя пальцами, как берут за крылышки пчелу. Понюхал, гулко крякнул.

— Хороша, мать ее так!.. Тут ребятишки нашли одного в лесу. Табачок-то подмок, а ничего, курим. А то все мох курили.

К Василию протолкался из-за баб мальчик не мальчик, и еще не парень — сухонький, беленький.

— Здорово, Василий, — и, смущаясь, протянул руку. — Не узнал, что ль? Игнашев Санька.

— Ну как же не узнал! Саня?

Санька по-телячьи ткнулся Василию в грудь лицом.

— А я думал, не узнал.

Солдат-ездовой тем временем сбегал куда-то, раздобыл лошадям сена.

— Мам, у меня там в мешке сахар есть, дай ребятишкам, — вспомнил Василий.

— Не надо! — загомонили бабы. — Самому пригодится. Спасибо!

Мать достала бумажный кулек.

— Берите!

Ребятишки стояли напряженные, серьезные и не двигались.

— Ну берите же! — сказал дед Андрей, подталкивая их. Кто-то первый, насупясь, протянул руку. За ним — другой. Взяли по кусочку и молча, с интересом, разглядывали. Вопросительно посматривали на взрослых, друг на друга.

— Ешьте. Это сладко! — сказал дед Андрей. — Как малина. Ах, хорошо!

Один, что похрабрее, лизнул кусок и повеселел. Улыбнувшись, побежал от погреба.

Василий видел, как, отойдя в сторонку, ребята сбились в кучу, показывали друг другу у кого какой кусок.

— Вот шельмы, — покачал головой дед Андрей. — Еще не знают, что такое сахар.

— А это что у тебя? — спросил Василий, увидев у ближнего мальчонки патрон.

— Где? — переспросил мальчонка. — Ха! Патрон, — осклабился, очевидно решив, что Василий шутит.

— Брось, поранит руку!

— Не, — помедлив, убежденно сказал мальчонка и вытер нос. — Ни хрена не будет. Вот в огонь положу, бабахнет.

— Шельмы! Кого-нибудь долбанет. Да что с ними сделаешь, Вася. Разве усмотришь. Везде всего накидано. Дай сюда, говорю!

Наглядевшись, бабы стали расходиться, скорбя и завидуя матери Василия. Последней ушла бабка Алена. Она не плакала, не кричала, она покачивалась, как пьяная, и лишь изредка громко стонала, будто спотыкаясь, проламываясь в пояснице.

Василий привез с собой баклажку спирта, выпросил в госпитале. Он пригласил ездового, деда Андрея и Саньку. Они сели в погребе. У Василия была кружка, мать сходила к соседям и принесла еще две. Василий налил поровну.

— Ну, с приездом, Василий Алексеевич! — сказал дед Андрей, пригладив усы. — За твою радость, Петровна. Да за победу. Чтоб все хорошо было!

— Теперь, маткин — не твой, не должно быть худа! — сказал Санька. — Теперь наши погнали.

— И за мое возвращение! — добавил ездовой. — Эх, как бы я сплясал тогда! А как живете, батя? — поинтересовался он у деда Андрея.

— Да как тебе сказать? Так вот и живем. Ребята да бабы. Мужики все, как Санька, старше нет. Разорили все, сожгли. Ни одного коня в деревне, ни одной

коровы. Сеять нечего, есть нечего, жить негде. Все — подчистую! А жить надо. Начинаем жить.

Санька сразу же захмелел.

— Я, маткин — не твой, хоть и худой с виду, а я кремяный, — сказал Санька. — Ты не гляди, что я такой! Вот пусть дед Андрей скажет. Я, может, из последних жил. А я такой, спуску не дам. Я всем тут ложки сделал. Ни у кого ложек не было, у всех сгорели, а я сделал...

— Ну что ж, друзья, — сказал ездовой. — Извините меня. Спасибо за компашку, отчаливаю. Вы дома, а у меня — служба. Если не возражаете, выпью еще одну на дорожку.

Он выпил, энергично, весело попрощался со всеми за руку, вскочил на телегу, сорвал с головы пилотку, сунул ее за ремень и погнал лошадей. А через минуту уже слышно было, как он пел вдалеке:

— Чихачево нам ничово!..

— А ты тоже изменился, сынок, — сказал дед Андрей Василию. — Уходил, так еще мальчонкой был. Сколько тебе тогда было, девятнадцать? Поизменился...

Дед Андрей кашлянул, но негромко кашлянул, вроде бы как выдохнул — кхе... И отвел глаза:

— Ваньку нашего, дружка-то, помнишь? Нет больше.

— Как? Неужели и он?..

— Тут, на огороде, и зарыт. Будет время, навести Ванюшку-то. Рад будет...

— Боже мой, скольких же нас, мальчишек... Скольких?

— Он вроде помоложе тебя был?

— Моложе.

— Вот и худо. Лучше бы в армии служил, может, и выжил! А таких стали в Германию отправлять.

«Тятька, — говорит. — Не могу я туда уехать. Все братья в армии, а я — к немцам. Не могу. Спрячь меня!» В огороде, за домом, вроде пещеры вырыли, из подполицы лаз сделали. Там и сидел. А тут подсказал кто или что... Приехали и подожгли дом. Нас-то к дому не подпускали. Кричал он там, под землей. Звал все, воды просил... Откопали ночью, на руки не взять, испекся. Там и зарыли.

— Кричал! — не утерпев, вмешался совсем захмелевший Санька. — Помогли бы. Рвались бабы. Да вот Мишка Рябухин не пустил. Он... — И Санька грубо, забористо выругался.

— Кто?

— Мишка Рябухин. Он всю войну тут шкодил. Как немцы пришли, сразу к ним пристроился.

— Рябухин? — удивленно переспросил Василий.

— А кто ж еще! Он, сволочь! Но я его еще подсеку! Вот подожди, дядя Андрей, а я его подсеку! Я найду!..

— Раньше тут был, а теперь где он?

— Да нет, здесь он, в лесу! Ей-богу, здесь он, знаю! — стукнул себя в грудь Санька.

— А ты откуда знаешь? — спросил Василий.

— Видел я, — сказал Санька. — На прошлой неделе видел. В лесу дрова собираю, слышу, идет по болоту кто-то. Гляжу — он. Грязный, обросший. Рядом прошел. Если б у меня, маткин — не твой, оружие было, я стеганул бы его. Как он тогда нас мучил, да Настю вот...

Санька запнулся на полуслове, смущенно взглянул на Василия.

Василию будто шилом ткнули в левый бок. Он с трудом разогнулся.

— А что? — спросил тихо, взглянув на притихших деда Андрея и мать. — А что... Настя?

— Настя-то?.. Да ты наливай да допивай. Нечего беречь! — сказал дед Андрей. — А что Настя. Свет клином на ней не сошелся.

Он еще помолчал.

— Ребенок у Насти... А так все нормально.

Тихо было в погребе. Жарко стало Василию. Он попытался расстегнуть ворот гимнастерки, запутался в пуговицах.

— В том, конечно, не виновата Настя, — сказал дед Андрей. — Если только, что баба. Силой ее Рябухин. Сломал девчонку.

— А как бил, зараза! — вскинулся Санька, и Василий видел, как дед Андрей толкнул Санькину ногу...

Тихо было в погребе. И на улице тихо...

«Настя! Так вот как, Настя!»

— Тут всякое было, — сказал дед Андрей. — Кто живым в аду был, тот вот такое же видел! И вешали людей, и стреляли.

Василий смотрел себе под ноги. И может быть, от выпитого, или от всего разом, но вдруг так тошно стало!

— А в окопах, там что, думаешь, — рай? Рай, да? И в госпиталях — рай?

— Там ты с винтовкой, — помедлив, ответил дед Андрей. Он посидел еще немного, встал и, вздохнув, погладил Василия по голове.

— Что говорить, Вася...

— Посиди еще, дядя Андрей.

— Отдыхай, сынок. А мы еще придем, не раз придем. Ты отдыхай.

Кряхтя, дед Андрей вылез из погреба, за ним — Санька.

«Настя! Так вот как все, Настя! Что ж ты!»

— Отдохни, Васенька, — предложила мать. — Умойся да приляг. Усни.

2

Василий лежал в углу погреба, до подбородка укрывшись шинелью. Мать ушла куда-то, чтобы он мог побыть один, отдохнуть с дороги. Она и радовалась его возвращению, и плакала тихонько, незаметно смахивая слезы уголками платка. Василий лежал, и думалось ему о всяком.

Настя...

И вот будто видится ему, как он выходит из дома, накинув на плечи полушубок. В сиреневом сумраке, какой бывает только в вечернюю июльскую сенокосную пору, не тонут, а как бы растворяются и сады, и дома, и сараи, и пригорок, и дальний лес. Все кажется приподнятым немного, парящим в воздухе, в дымке, пропитанной ароматами вянущих луговых трав. Тихо звякнуло ведро, проскрипел ворот, стукнула дверь, промычала корова, и далеко-далеко за полями проехали на телеге, слышно, как протарахтели о булыжник колеса.

Над головой, просвистев крыльями, пронеслась стая уток.

Василий сидит на бревне у перекрестка, ждет.

Из прогона идет Настя, белеет ее платок. Василий поднимается ей навстречу. Они берутся за руки, взглянут друг на друга и улыбнутся. Идут к реке. Останавливаются на крутом берегу.

— Ну подожди. Не надо... Стыдно, — горячим шепотом говорит Настя.

— Чего стыдно?

— Да вон луна смотрит...

Мишка Рябухин был лет на семь старше Василия. Жил он на соседнем хуторе, километрах в двух от деревни. За несколько лет до войны по вербовке уехал куда-то на Север, приезжал только один раз, по телеграмме, на похороны матери. Неделю пил. Хмельной вынес из избы большую настенную фотографию под стеклом, на которой были запечатлены еще совсем молодые его отец в русской рубахе с застегнутым на все пуговицы воротом и мать — в платьице с кружевным воротничком, поставил на пригорок и метров с двадцати палил по ней из ружья до тех пор, пока не расстрелял в клочья...

3

Василий проснулся на рассвете. Он услышал непонятный протяжный звук, похожий на скрип колодезного журавля.

— Мама, что это?

— Алена плачет. Каждое утро...

Невмоготу было слушать это. Он встал и вышел на улицу. Прошел на Аленин участок. Бабка Алена сидела на земле, прислонясь к стволу березы и уронив на колени руки. Она не постарела за эти годы, она будто ссохлась, потемнела вся ликом, как образ на старой иконе. Зрачки глаз стали острыми, колючими. И сами глаза в глазницах, как на больших темных блюдцах.

Василий подошел и поздоровался. Настя молча кивнула ему и отвернулась. Он видел, как она напряжена, как, не глядя, всем телом, спиной, затылком следит за Василием.

— Прогуляться, посмотреть вышел? — спросил дед Андрей.

— Да.

— Вот, — сказал дед Андрей, — Вася! Грех какой у меня на душе. Не на лошади, не на корове, на людях пашу! Где ж это слыхано! Как разбойник в старину. Земля меня не примет!

Дед горько покачал головой:

— Эх!

Василий молчал. Молчали и женщины, посматривали исподтишка то на Василия, то на Настю. Чувствовалось, все ждут, что же будет. Настя тоже это чувствовала. И вдруг она встрепенулась и побежала.

— Я приду сейчас! — крикнула не оглядываясь.— Я сейчас!

Она бежала к деревне. Неторопливо бежала, бесцельно. Все это понимали. И всем было совестно смотреть.

— Ну что ж,— сказал дед Андрей,— трогай, бабы. На Гитлера, на него, паразита, все запишем...

Настя шла шагом. Не шла, а брела, не глядя под ноги. Василий догнал ее и пошел рядом. Он не знал, что ей сказать, и она молчала. Так они и шли, ожидая чего-то.

— Что молчишь-то? — наконец тихо спросила Настя.

— А что говорить...

— Ждала я тебя... Дождалась... А помереть легче бы... Вчера хотела к тебе прибечь. Посмотреть, какой ты. Подумала, не захочешь. Зачем теперь я...

— Ну и какой?

— Такой... как был... — попыталась улыбнуться, так медсестры смотрят и улыбаются во время операции. Уж лучше бы не улыбалась.

— А я совсем состарилась... — Она говорила и говорила что-то.

Василий смотрел на затекшую дорожную колею. У обочины желтели скудные цветы мать-мачехи. Они ничем не пахнут, холодные.

— Ты меня слушаешь?

— Слушаю...

— Ну, я обратно пойду. — Она ждала. В ее глазах были надежда, мольба, крик: «Ну скажи что-нибудь, останови! Останови!»

Но он не остановил.

К вечеру пришел Санька. Улыбнулся синеглазо.

— Отдыхаешь? Привык маленько?

— Отдыхаю.

Василий повнимательнее присмотрелся к нему. Вырос за эти три года Санька. Вытянулся, как картофельный побег в погребе, светлый и ломкий.

Санька был нестрижен, наверное, больше года, волосы лежали на плечах, на воротнике засаленного немецкого кителя. От этого голова казалась большой. А шейка совсем тоненькая, детская. И узенькие палочки ключиц. Штаны на Саньке с толстозадого большущего человека, они подвернуты снизу несколько раз и подпоясаны ремнем ниже карманов.

— А я прутьев нарезал, — сказал Санька. — Верши сплетем, поставим на ручье, может, щук наловим. Только завтра мне, маткин — не твой, в Горомудино идти.

— Зачем?

— Колхозу на посев рожь дают. Принести надо.

— Где это Горомудино?

— А за Чихачевом. Верст тридцать. Наших человек шесть пойдет.

— Много понесете?

— Да пуда по полтора, по два.

— Снесешь?

— Снесу, — Санька призадумался, шмыгнул носом. — Надо, так снесу. Я вот буду дом строить. Один. Мамка больная, Мишка, брат, в армии, Нина, сестра, в Ленинграде.

— Слушай, возьмите меня, — попросил Василий. — Я тоже с вами схожу.

— Зачем тебе! Отдыхай.

— Нет. Пойду, — твердо решил Василий. — Когда вы идете?

Он чувствовал, что ему надо идти. Что здесь сейчас он оставаться не может. Надо ему куда-то уйти.

Вечером, уже в сумерки, Василий сказал о своем намерении деду Андрею. Дед Андрей не отговаривал Василия.

— Иди, — вздохнул дед. — Что же тут попишешь. Такая планида. Только себя не повреди, не бери много.

Вернувшись от деда, Василий сразу же лег спать. Но уснуть не мог. Ворочался на укрытой плащ-палаткой соломе. Под шинелькой было прохладно, а укрыться больше нечем.

«Ну вот и дома. Начинается гражданская жизнь. С пустого места».

Василий подумал, что и в тылах у нас живут сейчас не очень, не сладко живут. Жить надо!

Сначала Василию послышался шорох. Будто прошел кто. Хрустнули камушки под осторожными шагами. Снова стало тихо, но необычная тишина. Чутким натренированным ухом он уловил дыхание, почувствовал, стоит кто-то у дверей. Чего-то ждет, не решается. И Василий ждал, привстав, глядел на дверь. Что он там так долго ждет? Но вот несмело поскребли в дверь. Коснулись скобы.

— Вася, — задохнувшимся шепотом.

— Ну?

— Выйди на минутку.

Василий накинул на плечи шинель, вышел.

Темная была ночь. Ветреная. Тревожно гудели сосны, яблони раскачивали ветвями. Накрапывал дождь.

Василий вслед за Настей прошел в дальний угол сада. Остановились.

— Ты чего? — спросил Василий.

— Да так...

Она мерзла. Закутывалась в пиджак.

Василий ждал.

— Вася! — она порывисто схватила его за руку. — Не молчи, слышишь! Не могу я больше, Вася! Что хочешь со мной делай.

Она ухватилась за полы шинели, перебирала, мяла их цепкими пальцами.

— Не молчи только, слышишь. Не молчи! Не виновата я перед тобой, перед людьми, перед совестью не виновата! Не нарушила я клятвы. Силой он меня. Все знают... силой! А что мне теперь делать? Ребенок же... Он человек. Руки бы на себя наложила, да куда ж он один, малый. Вася, уедем куда-нибудь! Не молчи, Вася. Ты днем молчал и сейчас. Не могу я. Скажи хоть что-нибудь. Прости меня! Или ударь, ударь, легче мне будет! Ну!..

И ее пальцы ползли, ползли по шинели, хватались, заламывались.

Василию жаль было Настю. И хотелось ее приласкать, успокоить, да не мог. Не мог перешагнуть через себя. Но и оттолкнуть не мог.

— Не знаю я сейчас, — сказал Василий. — Не ждал такого...

Настя поняла все.

— Ну иди, отдыхай, — сказала тихо. — Я просто так пришла. Не приду больше. Не буду беспокоить. Ты уж прости...

Она сделала шаг. И Василий — шаг. И оба остановились. Зябко съежившись, она держала руку у подбородка, на узелке платка.

— Не знаю я, — повторил Василий.

Темная ночь была, беззвездная. Непроглядная...

4

Попутчики Василия были Санькины одногодки, но посильнее и повыносливее Саньки. А он уже к середине пути заметно устал и понуро плелся позади всех. Василий все чаще и чаще поджидал его, и наконец они остались вдвоем.

Они шли пустынными, сожженными деревнями, мимо новых кладбищ. Кое-где уже начинали строить, стучали топорами, рубили лес. На полях работали в основном ребятишки да женщины, перекапывали землю. Издали заметив Василия, бросали лопаты, напряженно всматривались: не свой ли? Василий проходил, и еще долго смотрели ему вслед, пытаясь угадать, откуда и чей. Иногда спрашивали, нет ли писем. Почтовая связь еще не была налажена, и письма передавали «по рукам», от деревни до деревни, с попутчиками.

Они вышли к разъезженной шоссейной дороге, к большаку. Санька предложил отдохнуть. Легли у придорожной канавы.

— А может быть, пообедаем? — сказал Санька.

Василий согласился. Он достал ломоть хлеба, который остался еще от привезенного, и несколько карто-

фелин, что дала мать. Санька вытащил тряпицу, развернул ее, и Василий увидел нечто зеленое, рассыпавшееся комочками.

— Что у тебя? — спросил Василий.

— Хлеб, — ответил Санька. — Мама из травы испекла.

Он взял щепоть и бросил в рот. Василий тоже взял щепоть и долго-долго жевал, не в силах проглотить.

— Ешь мой хлеб, — предложил Василий.

— Нет. Спасибо.

— Бери!

Санька смущенно отщипнул крошечку, затем вторую.

— Давай напополам смешаем, тогда будет и много, и — ничего.

— Бери, бери.

— А как кончится?

— Тогда подумаем.

— Вот ужо верши поставим, рыбы наловим. Наедимся!.. Теперь не пропадем! Ведь я ж кремяный. Это, маткин — не твой, у меня головокружение. Всю зиму мох ели. А во мху ящерицы бегают. Говорят, яйца откладывают. Может, я не заметил, такое яйцо проглотил. Теперь в пузе так и бегает. Покоя нет!

Они помолчали.

— Сань, — спросил Василий. — А ты где Рябухина видел?

Санька сел, пристально, изучающе посмотрел на Василия, помедлил.

— Да здесь он, — сказал полушепотом, нахмурясь. — Я тебе точно говорю, здесь! Я ж, маткин — не твой, думаешь, вправду прутья резал, я искал, — признался Санька. — Там, в лесу, две землянки есть. В одну пришел, смотрю, грязь сырая на полу от

сапог. Значит, кто-то заходил. В углу сенцо покидано. Я сено взворошил да палочками приметил. А на другой день прихожу, сено примято, значит спал кто-то. Он это, а кто ж еще!

— Ты больше никому не говорил?

— Нет, а что?

— Ты никому не говори, подожди.

— А что говорить, — усмехнулся Санька. — Если б не за зерном, так я его сейчас ссек. Он же, сволочь, моего тятьку загубил. Все придирался, почему в полицаях не служит. Тятька к партизанам подался бы, да хромой был, ты же знаешь... Помер тятька.. А думаешь, с другими был лучше? Настя, бывало, вырвется от него, выскочит в чем есть и бежит, а он поймает, повалит, зажмет голову между колен да по спине кулаками. Или за волосы волочит.

— А что ж она вообще из деревни не убежала?

— А мать кому же? Больная. Она, правда, советовала: «Беги, беги, Настя». Ну, а как забрюхатела, так он ее больше не трогал. Слушай, маткин — не твой, Вась, давай вернемся, а!

Санька схватил Василия за руку.

— Давай, а потом догоним. Слышь! Один только день. У меня винтовка есть, — сказал доверительно. — Я из нее обрез сделал. Возьмем — и в ту землянку. А как он придет, мы его...

— Зачем оружие испортил?

— Да не испортил! Бьет, маткин — не твой! Я пробовал. Доску — насквозь!

— Зря обрезал!

— Под полу можно спрятать. Пойдешь, никто не заметит. А бьет наверняка. Давай вернемся, Вась, а? Ну, пока он там.

— Нет, — подумав, сказал Василий. — Уже далеко ушли... А когда вернемся, мне землянку покажешь. И обрез отдашь, понял?

— Понял. Давай догонять, — вставая, грустно сказал Санька.

К вечеру они добрались до деревни, где осталось несколько домов. В ней решили переночевать. Василий наугад выбрал дом и вошел в избу. С трудом открыл покосившуюся дверь, спросил, переступая порог:

— Можно?

Никто ему не ответил.

— Есть кто? — спросил Василий. — Хозяин!

На громадной русской печи, за занавеской, кто-то завозился, закашлялся. Затем занавеска, закрывающая печь, сдвинулась и оттуда высунулась растрепанная седая старушечья голова.

— Чево? — спросила старуха.

— Переночевать у вас можно?

— А?

Василий понял, что старуха была глухой.

Она подползла ближе к краю печи:

— Сынок! А моего Ванюшку-то там не видел?

— Нет, — покачал головой Василий. — Не видел, бабушка.

— Не идет Ванюшка. А я жду его. Помирать надо. Месяц с печи не слажу... А Ванюшка сказал: «Жди, я приду». А как же мне теперь помереть, если я обещала. Скажет, не дождала. А помирать надо... Собралась... Взгляну — и помру, — задыхаясь, выкрикивала старуха.

— Внука все ждет, — пояснила вошедшая в избу женщина и поздоровалась.

— Переночевать у вас можно? — попросился Василий.

— Ночуйте, — ответила хозяйка.

— Вот все приходят, а Ванюшки-то нет. А помирать надо, — досадовала на печи, разговаривая сама с собой, глухая старуха.

— А вы куда идете? — спросила хозяйка.

Василий ответил.

— Так бегите, вон там машина стоит. Попросите, до Чихачева подвезут, а от Чихачева поближе, по грязи не шлепать.

5

Сначала Василий ехал в кабине, но затем поменялся с озябшим Санькой и перешел в кузов.

В кузове, оказывается, Санька был не один. Возле кабины на соломе лежал человек в замызганной старой шинели. Он спал. Машину раскачивало, наклоняло, встряхивало, подкидывало, а человек спал. Перекатится с боку на бок, пробурчит что-то и продолжает спать. Ударится о борт, охнет, шевельнется и опять спит. Василий был поражен этой удивительной способностью. Он никогда еще не видел такого. Присев рядом, он присматривался к спящему. Тот был еще молод, худ и невероятно измазан. Но гладко, до синевы выбрит. Рядом с ним валялась туго набитая бумагами планшетка.

Василий издали увидел своих, ушедших вперед, ребят. Они цепочкой стояли вдоль дороги и с грустной, робкой надеждой смотрели на приближающуюся машину. Василий постучал по кабине.

Лишь только машина остановилась и ребята забрались в кузов, человек проснулся. Он сел, потряс головой, протер глаза и, с любопытством осмотрев присутствующих, сказал весело:

— Привет!

Ответили не все, потому что не поняли его и смутились.

— Ну вы и спать! — восхищенно сказал Василий.

— А у меня такая привычка, профессиональная: когда двигаемся — сплю, а как остановимся — просыпаюсь. Где мы сейчас находимся?

Василий ответил.

— А вы кто будете? — с деревенской простотой и доверчивостью спросил один из мальчишек.

— Пресса.

— А-а, — пошмыгали носами, бегло взглянули из-под бровей, но переспросить не решились.

— Вы кто такие? Куда и зачем?

Ему рассказали. Разговорились.

— Ага. Это хорошо, что государство хлеб дает, помогает. А много?

Василий ответил.

— Н-да... Скромно... Ну что ж... Где взять? Если признаться, в стране сейчас не густо. Просто тяжело. Но все-таки дает! Кормит фронт, представляете, какой это фронтище, тысячи километров! И все-таки находит, присылает сюда. Как бы это ни было трудно, невозможно, а находит, дает! Вот они, взаимопомощь и выручка. Я еду от самого Ленинграда. И вот до Новоржева везде все разрушено. Вся Ленинградская и Псковская области. А сколько еще таких областей! Их поднимать надо, возрождать. Каждый колхоз, каждую деревушку. Каждый мостик заново надо строить, каждый колышек заново вбить. И это не быстро и не просто так удастся, без всякого напряжения.

— Потом опять хорошо будет?

— Будет. А придут те времена, не забудем ли мы об этом? Не будут ли люди стесняться вспоминать эти

дни, все тяжелое, грустное, что им приходится переживать, как будто этого и не было? Не будут ли говорить — пессимизм? А нельзя молчать об этом! О людях, переживших все это, рассказать надо обязательно, потому что тот, кто жил так и выстоял, — велик! Трудно вам, хлопцы?

Ребята переглянулись между собой, ухмыльнулись:

— Ничего. Война.

И ребята потихоньку, по-деловому стали обсуждать, сколько гектаров можно засеять тем зерном, что они принесут...

В стороне от дороги на пригорке показалось кладбище.

Низкие одинаковые березовые кресты длинными ровными рядами. На каждом кресте висела зеленая каска. В центре вздымался такой же по форме высокий крест.

— Фашисты стоят! — крикнул кто-то из ребятишек и в приветственном жесте вскинул руку:

— Хайль!

6

Ночевали они в Чихачеве, в маленьком одноэтажном домишке, приспособленном под вокзал.

Когда пришли, уже все удобные места в углах и возле стен оказались занятыми. Василий и его спутники пристроились неподалеку от двери.

В помещении горела тусклая керосиновая лампа. Скамеек здесь не было, все сидели и лежали на полу. В сумраке казалось, что просто люди накиданы сюда как попало.

На улице шел дождь, и в помещение набивалось все больше и больше народу. Входили мокрые, молча-

ливые, злые. Лезли инвалиды с котомками, бабы с узлами.

По путям от фронта и к фронту проходили эшелоны.

Василий не спал.

Было тревожно и грустно. Голова — будто свинцовая, тяжелая. Настя... Он не разбирался, не пытался оценить что-либо, а только чувствовал, что плохо ему, неприятно, обидно. И вообще так, что не выразишь словами. А если б можно было по-другому! Ведь любит его Настя! Ну и что из того, что любит?

Неподалеку от Василия сидела женщина, еще совсем молодая годами, но будто зачерствевшая, отвердевшая и внешне, и нутром. Она сидела ровная, безразличная ко всему окружающему. Голос у нее был жестяной, грубый. Она говорила отрывисто, не оборачиваясь, не глядя на собеседницу, и слова падали, как кирпичи.

— Сколько же ты там пробыла? — спрашивала соседка.

— Три.

— А теперь куда?

— Домой.

— До дома-то далеко?

— Нет. Из Торковичей.

— Наших там, наверное, еще много?

— Много. И в Латвии есть, и в Германию угнали.

Они умолкли. На улице лопотал дождь. Булькало возле самых дверей. Тянуло оттуда сыростью и обволакивающим холодом. В помещении как-то все притихли.

И вдруг эта, торковичская, запела своим дребезжащим, простуженным, металлическим голосом:

Надоели мне бараки,
Крыши деревянные,
А еще больше надоели
Немцы окаянные.

Она пела, сидя все в той же окаменевшей, неподвижной позе, не замечая окружающих, будто и не было здесь никого, и пела так, будто говорила кому-то, кто стоял далеко, но мог услышать. Или будто говорила она сама с собой:

Мне платья новые не шей
И в ленты не раскрашивай,
Если любишь, как любил, —
Ни о чем не спрашивай.

Перестала петь — и та же ночь. И шум дождя. И бульканье воды у дверей. Только на душе такое, будто присутствовал при операции. Или на похоронах...

И неожиданно на улице, под окном, рявкнула гармоника. Лихо, задиристо. Мелькнули огоньки цигарок, и в помещение вошли трое. Три подростка в накинутых на плечи пиджачках.

— А ну, вставай, крещеные! И нехристи тоже. Билеты будем выдавать! — крикнул передний, и его приятели дружно захохотали.

Он заиграл на гармони, разом разбудив всех и заорал дурашливо:

— А моя милка — не кобылка, не подладишь при езде. Девки, которые тут порченые, пошли, погуляем!

Он оглянулся на приятелей, те кивнули ему, гогоча.

— А вон, Мишка, какая дроля сидит! — указал один на торковичскую.

Она единственная из находящихся в помещении не обернулась к вошедшим, была все так же пряма и безразлична ко всему. Гармонист подошел к ней и нарочито небрежно обнял. Она не шевельнулась, будто не почувствовала.

— А ты ее щипни, где помягче, да на бочок ее, — веселились парни. Гармонист, кривляясь, прижался к ней, положив голову на плечо.

— Ну-ка, потеснись, — вдруг все тем же безразличным металлическим голосом сказала она и, приподнявшись, одной рукой, как отодвигают стул, отодвинула гармониста. — Еще, еще.

Паренек нерешительно отступил на шаг, недоуменно ухмыляясь. Она наклонилась чуть-чуть вперед, зажала нос двумя пальцами и громко, на все помещение, сморкнулась гармонисту под ноги. Села на место в ту же прежнюю каменную позу.

Пареньки растерянно переглянулись:

— Хы!..

И сразу же все показное, наигранное, бахвалистое разом исчезло. Они потоптались, потоптались, пошмыгали носами. И чувствовалось, что они еще совсем мальчишки, юнцы, молоко на губах не обсохло.

— Ну что, здесь будем ночевать? — спросил тихонько один.

— Да нет, пойдем куда-нибудь, — нерешительно и грустно ответил ему другой.

— А куда пойдем-то?

Они помедлили, поежились и, вздыхая, ушли под дождь.

«Может быть, уехать куда-нибудь? — думал Василий. — Страна большая, уехать отсюда навсегда, чтобы не видеть никого знакомых, не знать ни о чем, все позабыть?»

От неплотно запертых дверей веяло холодом, ребята поплотнее лепились к Василию. В темноте шептала женщина, тихо, неторопливо рассказывала притихшему ребенку:

— Подвели Иванушку-богатыря к котлам. В первом котле — холодная вода, во втором котле — кипяток, а в третьем — расплавленная смола. Сначала прыгнул он в холодную воду, из нее — в кипяток, а потом — в расплавленную смолу. Во всех трех котлах побывал и вышел оттуда жив и еще краше, чем был. Все ему нипочем, Иванушке-то, что бывает и не евши он, и не спавши... Призадумалась тут баба-яга... Ты спишь или слушаешь?

— Не сплю.

— Ну вот, слушай. Значит, побывал он и в холодной воде, и в горячем кипятке...

К утру поутих дождь. За окном просинело. Василий вышел на улицу. Не хотелось будить ребят, но надо было, он опять спешил. Под привокзальными тополями, неподалеку от дверей, стояла торковичская девушка, скрестив на груди и зябко прижав к себе руки.

— Не спите? — спросил ее Василий.

Она внимательно посмотрела на него, прикрыла сухие острые глаза и молча покачала головой.

— Мне тоже не уснуть, — сказал Василий.

Она отошла от Василия и еще долго стояла в стороне, все так же зябко обхватив себя, не шевелясь, глядя на свинцово поблескивающие, убегающие в туман синие рельсы.

7

Как ни торопились, но лишь к полудню Василий и его попутчики получили зерно, попробовали на зуб,

понюхали — не слежалось ли, — рассыпали по мешкам и двинулись в обратный путь.

Может быть, потому, что лямка у мешка была узкой и твердой, или потому, что Василий нес только на одном плече, он до крови стер на нем кожу. Василий подкладывал под лямку пилотку, скрученные пучки сена, но это не помогало.

Ребята шли теперь медленно, молча.

Пока были на большаке, с надеждой поглядывали назад, не пойдет ли попутная машина. А теперь шли проселками, на которых уже давно не было колесной колеи. Часто отдыхали. Сбрасывали с мокрых, потемневших спин мешки, и сами падали здесь же. Тело делалось вдруг необычно легким, непривычным. И даже дышалось легче. Вот так бы и лежал, и не поднимался. Только спину еще долго не удавалось разогнуть.

Разговаривать начинали, лишь отдохнув.

— В Заречье трофейный немецкий конь остался, здоровенный, как печка. Ни «тпру» ни «но» не понимает. Запрягли пахать, а он как попер. Плуг не успели вывернуть, за камень зацепился, так по ручки в землю и ушел, конь даже на задние ноги сел. А через неделю сдох, не выдерживает нашего харча и работы. Большущий, а слабый. Наши вроде бы и поменьше, и потощее, а выносливее.

— Василий, а правду говорят, что школу опять откроют, учить будут?

— Конечно, правду, — отвечал Василий уверенно, хотя и впервые слышал об этом.

— А кто же тогда работать будет? — спрашивали озабоченно, по-взрослому. И Василий молчал, он не знал, что ответить. Действительно: кто же?

— Сеять надо, — деловито обсуждали парнишки.

— Посеем.

— Было бы что сеять. Тем, что несем, много не засеешь.

— Хорошо бы лепешечку спечь!

— Может, еще дадут.

— Что ты жрешь-то! Целую горсть в рот запихал!

— Где «горсть»! Одно зернышко!

— Зернышко!

— Вон никулинские пока несли, так кто-то фунта четыре спер. Зерно намочил, чтоб потяжелее было. А когда подсохло, проверили, четырех фунтов нет.

Полежав и поговорив, поднимались, взваливали на спины мешки, и опять — в путь.

Василий шел последним, смотрел на этих сгорбившихся двенадцати-, пятнадцатилетних парнишек и девчушек, идущих по весенней скользкой дороге, на их еще по-ребячьи узкие спины, тонкие голенастые ноги и улавливал что-то знакомое, солдатское в их настойчивом тяжелом движении вперед, в их молчаливой упрямой поступи.

Шла Россия, многожильная, непокорная матушка-Русь!

А над землей, над лесами, над озерами, дорогами и полями, почти у самых облаков, летели караваны птиц.

Василий и его попутчики останавливались и подолгу смотрели на них. И казалось, что вот вместе с этими белыми птицами, курлычущими в вышине, что-то хорошее, долгожданное возвращается земле.

— Сань, а Сань, — попридержал Василий Саньку. — Ты не мог обознаться, может быть, это не Рябухин? — спросил тихо.

— Точно! Ведь если бы он ко мне и спиной стоял, я все равно бы узнал, маткин — не твой, в любой одежде.

— А тебя он не мог увидеть?

— Не-ет, не видел.

Василию хотелось еще порасспрашивать Саньку кое о чем, для этого и начал разговор...

Но зачем это!..

Теперь они шли лесом. Говорили, что в этих лесах грабят, отнимают зерно. Еще водилась здесь какая-то погань. Ребята были внешне спокойны, но настороженно всматривались в темный ельник. Боялись не за себя, а за зерно.

В сумерки они вышли на лесную поляну, где стоял полуразрушенный старый сараюшка.

Решили в нем переночевать. Уставший, проголодавшийся Василий уснул сразу же и спал крепко. Проснулся один только раз, когда кто-то из ребятишек застонал и закричал, громко всхлипывая во сне:

— Не могу больше! Не могу! Мама, помоги! Скорей! Видишь, спина горит, мамка!

Василий так и не мог определить, кто же это кричал. Все проснулись, кряхтели, вздыхали.

Василий повозился, устраиваясь поудобнее. Санька тоже завозился, поплотнее прижался к Василию, что-то бормоча и сладко шлепая губами. Василий покрыл его полой шинели, обнял и тут же уснул...

Приснилось Василию...

...В деревню пришли они в полдень. Настя стояла у изгороди, прислонясь к ней плечом. Увидев Василия, подошла к нему, помогла снять мешок.

— Устал? — спросила участливо.

Василий кивнул.

— Да. Плечо болит. Ссадина.

— Давай я перевяжу. Промыть надо.

Настя принесла ковш воды и стала лить Василию на плечо. Вода была холодной, и Василий озяб. Но ра-

достно было ему, что Настя рядом, что она так вот заботливо смотрит на него.

— Вася, родной мой! Никого мне не надо, одного тебя буду любить, всю жизнь. Вот будь проклята! Не виновата я перед тобой, перед людьми не виновата...

— Не знаю я, ничего не знаю, — ответил Василий.

— Ребенок же, он человек... Прости меня, Вася!

И Василий улыбнулся и взял ее за руку.

— Девок теперь полно, — сказал Василий...

...Но нет, не так все было. Не это приснилось. Похоже, но по-другому все...

...В деревню пришли они в полдень. Настя подошла к Василию и помогла снять мешок.

— Устал? — спросила Василия.

— Да, — кивнул Василий. — Устал я. Так устал за эти дни, ты даже не представляешь! А что же делать? Не знаю. Не решил еще я, как мне быть.

Она лила ему на руки из ковша воду и говорила:

— Вася, не виновата я перед тобой, не виновата.

— Да, — отвечал Василий. — Знаю, что не виновата. А как мне быть, не знаю.

— Одного тебя буду любить всю жизнь.

— И я буду любить тебя, и никого больше. Потому я и сейчас люблю тебя. Знаешь, как я спешил к тебе? Как я в госпиталях вспоминал тебя? Как я думал о тебе и боялся за тебя?

— А как мне, пойми... Он бил меня, зажимал голову между колен и бил. Если любишь, как любил, ни о чем не спрашивай.

— А как же мне быть?.. Побывал я и в холодной воде, и в горячей...

Проснувшись на рассвете, Василий стоял на поляне возле сарая, смотрел в ту сторону, откуда всходило солнце, и мучительно пытался вспомнить, что же все-

таки в действительности ему приснилось. Это или иное?..

...Перемешалось все, запуталось, а было там что-то хорошее. Ведь было что-то, а что?

И теперь ему так хотелось поскорее домой, в деревню. Как будто чего-то боялся Василий.

А солнце, багровое, еще холодное, краем выпятилось из-за леса, удивительно большое, каким оно бывает только ранним утром. Начинался третий день с тех пор, как они вышли из деревни. Третий день...

8

В деревню пришли они в полдень. У деда Андрея в «окопе», в таком же погребе, как и у матери Василия, сложили мешки. Ребята, все еще горбясь — сразу не разогнуться, разошлись по домам. Василий посидел с дедом, покурил.

За три дня земля заметно подсохла, зазеленела трава. Кажется, еще редкая, маленькая, а посмотришь вдаль — поляны изумрудно-зелены. На деревьях лопнули почки, проклюнулись первые листья. Деревья, искромсанные, изуродованные, набирали силу.

— Ну, ты как решил, здесь будешь жить или куда подашься? — спросил у Василия дед Андрей.

— Пока что здесь, — ответил Василий.

— Тогда будем считать, что начал, тебе первый трудодень.

Василий с трудом поднялся с бревна, на котором сидел, и устало, кособоко переставляя ноги, пошел к дому.

«Если бы еще километров пять, не дошел бы до деревни», — думал Василий.

Все у него болело, каждый сустав, как будто мяли, колотили его.

По соседнему огороду, наискось от Василия, шла Настя. Она, очевидно, шла в лес за дровами, несла веревку и топор. Увидав Василия, вздрогнула, будто испугавшись, затем потупилась и отвернулась.

Василий поздоровался.

— Здравствуй, — быстро ответила Настя и приостановилась.

— В лес?

— Да. А вы как сходили?

— Хорошо. Ты надолго? — спросил Василий.

— До вечера. А что? — притаила дыхание.

— Да так, — сказал Василий. Он и сам не знал, зачем он это спросил. Просто вдруг захотелось что-то сказать ей.

Придя домой, он не спеша, тщательно вымылся. Сел обедать. Обгоревшая кошка подошла и потерлась об ногу. Василий посадил ее к себе на колени.

— Ну что, киса, и тебе досталось?

Кошка мурлыкала, блаженно закрывала глаза и вслед за ладонью Василия тянула голову.

Пообедав, Василий собрался прилечь отдохнуть. Он только лишь подошел к лежанке... В погреб, опрокинув ведро, вскочил Санька.

— Василий! — крикнул. — Василий! Скорей! Он!

— Где? — сразу понял Василий.

— Там.

— Где?

— В землянке. Как вернулись, я туда, думаю — проверю, был ли. Вхожу, а он лежит, спит, — задыхался Санька. — Я сюда... Бегом... Туда Настя пошла.

— Куда?

— Я сказал... И она пошла...

— Зачем говорил?!

— Так она же...

— Где он?

— Там! У Митькиной горы, у большого камня! Беги! Я догоню!

Василий бросился к лесу. Уже на бегу подумал, что не знает точно, где землянка, куда бежать...

9

Настя шла лесной тропой, посматривала по сторонам. Где-то здесь вчера дед Андрей валил деревья для стропил, а теперь послал ее. С одной стороны от тропы был пригорок, поросший чистым высоким березняком, понизу кое-где — кусты вереска, с другой — болото. Оно густо заросло ельником, низким, разлапистым. Вперемежку с ельником камыш. Ельник стоял в воде, притопив нижние пожухшие ветки. Вдоль болота, по кромке, не густо, но еще белели подснежники. Лепестки их, как тоненькие прозрачные ледяшки: коснешься рукой — тают на ладошке.

«Что это он сегодня такой... Вроде бы веселый, — думала Настя. — И для чего спросил, когда приду? Зачем же было спрашивать? Трудно ему без руки. И, может, стесняется... А чего стесняться... Ох, боже мой...»

И маленькая короткая надежда зарождалась в душе у Насти и тут же таяла, как лепесток подснежника.

«Нет, все же, наверное, не просто так спросил», — уверяла, уговаривала себя Настя. И терла ладошками горячие щеки.

Она услышала: кто-то бежит по тропке.

— А! — испуганно вскрикнул Санька, почти натолкнувшись на нее. — Это ты? Маткин — не твой!

— Ты что? — улыбнувшись, спросила Настя.

— Ты? — оглянулся назад.

— Ну, я...

— Рябухин там!

— Где?

— В первой землянке. Тихо! Подожди! Не ходи туда! Постой! Я сейчас!

Настя почувствовала, как у нее захолодело в груди.

— Боже мой! — задохнулась Настя и провела сырой от цветов ладонью по лицу. Она нерешительно взглянула в сторону деревни.

— Уйдет ведь! Уйдет! — прошептала она. — Нет, не уйдет! Теперь он не уйдет, паразит! — сказала себе громко. — Теперь не уйдет!

Настя плотно, до боли сжала топорище и пошла вперед. Левую руку она ладонью прижимала к груди, будто стараясь заглушить стук сердца. Выйдя к землянке, она остановилась и, ухватившись за верхушку низенькой елочки, с минуту молча смотрела на дверь. Затем поудобнее переложила топорище, взялась поближе к железу и левой ладонью плотно прикрыла рот.

— А-а-а, боюсь я! Боюсь! — И пошла, пошла вперед, расширенными зрачками глядя на дверь.

Дверь перекошена, щелястая. Ржавые пятна гвоздей.

Настя оступилась, под ногой щелкнул сучок.

Дверь резко рванули изнутри. Там, в землянке, было темно.

— Кто здесь? — спросил Рябухин.

Настя стояла, ждала, напряженно всматриваясь в темноту.

— А-а, ты? Заходи, заходи, — сказал Рябухин, вылезая из землянки и озираясь.

«Господи! — подумала Настя. — Он!»

— Гостья, — сказал Рябухин, убедившись, что кругом больше никого нет. — Одна? Хорошо!..

Он, прищурясь, внимательно осматривал ее.

— Боишься?

— А чего мне бояться?

— Давно не виделись. Отвыкать стала. Ну иди, куда идешь, что уставилась?

Придерживая в правой руке автомат, он боком, боком стал отходить от нее все дальше, дальше.

— Постой! — сказала Настя и шагнула к нему.

— Ты что? Что тебе надо?

— Подожди!

— Проваливай отсюда! — Рябухин поднял автомат. — Зачем пришла? А? Давай в землянку! Быстро! Так-то лучше будет.

Он резко щелкнул предохранителем и стволом кивнул на дверь.

— Ну! Марш!

— Стой! Руки вверх! — вдруг пронзительно громко крикнул и высунулся из-за вереска Санька. Рябухин вздрогнул, присел и ударил очередью. Санька тоже выстрелил. Рябухин пригнулся и побежал.

— Стой! — повторил Санька. — Руки вверх!

Ломая ветки, Рябухин ринулся в ельник. «Уйдет!» — подумала Настя и бросилась Рябухину наперерез. Санька выстрелил еще несколько раз. Рябухин вскрикнул, ельник качнулся широко и хряснул под тяжелым рухнувшим телом.

И стало тихо

Санька выскочил из-за землянки и вдруг увидел Настю. Она ползла в том направлении, где упал Рябухин, хватаясь за мох, вырывая его, пыталась встать.

— А-а! — испуганно отпрянул Санька. И завопил: — Помогите! Помогите!

Василий бежал через лес в том направлении, куда указал Санька.

— Настя! — звал он. — Настя!

Метался среди деревьев, отыскивая землянку.

И вдруг в стороне, где-то левее, близко, раздались автоматная очередь и несколько выстрелов.

Санька кричал, звал на помощь. Василий прыгнул через канаву, вскарабкался на пригорок.

— Саня, держись, Саня!

Когда он подбежал к землянке, Настя лежала на спине, прижав к груди руки и сведя в колене одну ногу. Санька топтался рядом, всхлипывая, в отчаянии заламывая пальцы.

— Скорее, скорее!

Василий наклонился к Насте, просунул под шею руку, чуть приподнял.

— Настя! Настюша!

В горле у нее булькнуло, она чуть приоткрыла глаза, взглянула и, увидев, а может быть и не увидев Василия, тихо, с трудом произнесла:

— Не виновата я, не виновата...

Павел Васильев

ЛИТВА, ПЛОТВА...

Город маленький, светленький. Дома одноэтажные. Все утопает в зелени. Над городом торчит телевизионная вышка. Полукругом огибает город река. Берега песчаные, плоские. Светлый, первобытноцельный, укатанный дождями песок. По нему не ступала еще нога человека. Вода в реке — как в громадной тарелке, и не поймешь, движется она или не движется. Тепленькая водица! Вдоль берега ивы с темными ноздреватыми ствола-

ми и с громадными, как луговые стога, белесыми кронами. В кронах сидят соловьи-разбойники...

А вот трехэтажные дома, похожие на коробки. Маленькое озерко. Мальчишки с корзинками в руках бродят по воде, а белоголовый бесштанный пупс, задрав подол рубашки, спотыкаясь, косолапо переступает по берегу, оглядывается и ревмя ревет, боится поезда. Карасей поймали.

— Караси? — высунувшись в окно, кричит мальчишкам Антошка. — Что-о? Красноперки?

— Фига тебе с маслом, а не красноперки! Пиявки одни, — говорит тетка, соседка Антошки. Она сидит на нижней полке и тоже смотрит в окно. Смотрит на приближающийся город.

В купе, кроме них, еще трое. Усатый дядька, парень и девушка. Парень едет в соседнем купе, но он целый день здесь, возле девушки. А в общем это даже вовсе не девушка, а его жена. Они недавно поженились. Все смотрят в окно. Готовятся к выходу.

— Ты не забыла фотоаппарат?

— Не забыла.

— Почем здесь курицы, не знаете? — спрашивает у всех толстая тетка. Она тоже собирается выходить. Но только едва ли она сможет выйти. Вчера вечером она кое-как протиснулась в купе, а сегодня, как проснулась, все ест и ест не переставая, все жует что-то и пухнет, пухнет на глазах. От нее в купе тесно и жарко. На Антошку так и веет чем-то сытым и каленым, как от громадной сдобы, которую только что вытащили из печки и выворотили на скамейку.

— Почем курочки? — спрашивает тетка и высовывает в коридор маленькую, как у питона, голову.

Молодожены напряжены, внимательны. Поезд будет стоять здесь тридцать минут, и у них запланиро-

вано выскочить самыми первыми, взять такси и объехать весь город. Осмотреть сразу все. Вот здорово! У них записано обо всем в специальную тетрадку.

— А вы и Крым видели? — спрашивает Антошка, хоть и слышал уже, как они об этом рассказывали усатому.

— И в Крыму были, и на Кавказе. А теперь вот в Закарпатье. А сейчас посмотрим этот город, — отвечает девушка.

— И все по тетрадке?

— Мы заранее готовились, чтобы не терять время. Читаем по энциклопедии, а потом смотрим. И архитектуру, и сразу все.

— Вот деточек-то заведешь, так не очень-то посмотришь, некогда будет, — говорит толстуха.

— Это только дурачки заводят сразу. Надо поездить и пожить в свое удовольствие, — убежденно возражает девушка.

— Подожди-ка, вот как изменять начнет, так тогда поездишь, умница! — шепчет толстуха. — Так тебе и надо!

А молодожены уже ушли, и усатый ушел.

Поезд втягивается на привокзальную площадь, народ стоит на платформе. Носильщики с тележками. Все смотрят на вагоны и на Антошку. Улыбаются, протягивают ему цветы. Что-то кричат Антошке, и Антошка тоже кричит.

Только вот выходить Антошке нельзя. Нигде нельзя, до самой станции Побраде, где будут встречать Антошку. Даже если поезд стоит тридцать минут или сто лет, все равно нельзя. Мама не велела. Потому что Антошка впервые едет один. И он обещал маме. И за ним следят толстая тетка, и парень с девушкой, и

усатый дядька, и еще проводник, потому что всех просила об этом мама и все обещали.

Антошка видит, как все выходят из вагонов, как дядьки целуются с тетками, как молодожены скачками помчались за вокзал, а усатый устремился к ларьку «Пиво — воды». Толстая тетка успокоилась, курицы здесь стоят столько же, сколько и в ее городе, а больше здесь ничего не продается.

— А вот эскимо продается! — говорит Антошка.

Но тетка почему-то молчит и в окно смотрит зевая. Не покупает эскимо. Скучно с ней Антошке.

— Эй, мальчик, а мальчик, собаку продаешь? — вдруг оживляется тетка.

— Нет.

— А зачем же ты ее держишь?

— Так это моя.

— А сколько тут стоит такая собачонка?

— Не знаю.

— Вот балбесы, ничего не знают.

— А какой это породы? — спрашивает Антошка.

— Овчарка.

— Овчарка! — передразнивает тетка. — Знаю я таких овчарок. Только убирать за ней будешь, да жрет, как лошадь!

Антошке грустно. Он выходит в пустой коридор. Затем в тамбур. А потом на платформу.

У Антошки озорно захватывает дух. Как перед прыжком с вышки. Антошка оглядывается, шмыгает носом, переминается с ноги на ногу. И вдруг мчится на вокзал. Времени еще много, минут двадцать!

Антошка выбегает на большую площадь, а с нее — на главную улицу.

Мостовая выложена крупными гранеными булыжниками. Между булыжниками растет трава. По пане-

лям не спеша и не густо, не так, как в Антошкином городе, идут прохожие, говорят что-то на тихом и непонятном Антошке языке.

Антошка сворачивает на другую улицу и оказывается на другой площади, где стоят телеги, и к ним привязаны лошади и коровы. На телегах сидят тетки. Лошади и коровы смотрят на них и нюхают им руки.

Антошка выбегает к реке. Она оказывается очень широкой и светлой. Антошка видит в воде каких-то серменъких усатых рыб, трущихся о песок.

— Что это? — спрашивает он проходящего мимо дядьку.

— Это?.. Курмили.

— Что-что?

— Курмили.

— Ух ты!

Антошка никогда еще не слышал о такой рыбе.

— А там что?

— Там? — прохожий всматривается в противоположную сторону реки, где на плоской зеленой равнине поблескивают озера да белеют крыши редко разбросанных хуторов. — А там Литва.

— Литва?

И что-то такое таинственное, необычное чудится вдруг Антошке в этом странном слове, похожем немножко на слово «плотва», что значит рыба, и — «братва», что значит революционные матросики, но совсем не то.

— Литва, — шепчет Антошка. — Плотва. Дратва.

Когда Антошка, запыхавшись, возвращается к вокзалу, туда подъезжает такси. Выходят парень и девушка.

— Ты меня сфотографировал у базара? — спрашивает парня девушка.

— Сфотографировал.
— И у института тоже?
— Да.
— Щелкни меня на фоне вокзала. Только чтоб и название города было видно.
Она становится в красивую позу, подогнув в колене ногу и упершись рукой в бок, парень отходит в сторону и фотографирует ее. Он фотографирует, а рядом на платформе стоят три краснокожих индейца в помятых пиджачках и кепочках и рассматривают девушку, а потом один индеец говорит другим:
— Ничего бабец, культурненькая.
Но вот все устремляются к вагонам, и Антошка тоже бежит. И успевает занять самое лучшее место у окна.
— Ну что ж, весь город осмотрели, — говорит парень. — Город как город, ничего особенного.
— Что-нибудь купили?
— Ничего не купили... Архитектура какая-то доисторическая. Не поймешь что.
Усатый икает.
— И пиво так себе. Не сказал бы. Жигули аллос. Конечно, не сравнить с нашим.
— Да что тут может быть. И пожрать нечего!
Антошка слушает их и удивляется. Потому что душа его переполнена.
— А курмилей видели? — спрашивает Антошка.
И оказывается, что никто из них никогда не видел и не представляет даже, что это такое.
— Мы в общем-то все видели, — неуверенно и как бы оправдываясь говорит девушка, и они внимательно смотрят на Антошку.
— Подумать только, какие хулиганы растут! — вздыхает толстая.

Но Антошка уже не думает о них. И не слушает, он весел и счастлив. Виснет, высунувшись в окошко.

Поезд въезжает на мост. Внизу по воде, пересекая реку, бегут темные тени от вагонов, а мост поет что-то гулкое, раздольное. И темные лодки стоят на реке среди белых пятен отражений от облаков, и мальчишки машут проезжающим и дружно ныряют в белые облака. В лодке черный лохматый песик. Оставшись один, он носится взад-вперед, лает неслышно, тыкается носом в воду и наконец плюхается в реку и плывет рядом с мальчишками.

Но Антошка уже далеко.

Он несется по тихим сосновым борам, скачет на сером волке. Литва... Плотва...

Дмитрий Притула

ЭТО ЧЕГО-НИБУДЬ ДА СТОИТ

1

Вскочил на ноги, ошарашенно вглядывался в темноту.

Настойчиво трещал телефон.

— Юрий Васильевич? — спросил вежливый женский голос. — Это сестра приемного покоя.

— Да, — прохрипел Волков. Он боролся с дрожью и зевотой. А ведь знал — нельзя ночью ложиться спать. Но устал и минут десять подремал.

— Вам везут тяжелый инфаркт.

Волков провел ладонью по лицу, с болью нажал на глазные яблоки — проснулся.

— А кто везет? Скорая?

— Нет, тромбоэмболическая бригада.

— Да-а, — сказал Волков. Он уже проснулся окончательно. — Хорошо, мы готовы.

Он вышел из ординаторской.

У ночника в кресле, запрокинув голову, сидела медсестра Татьяна Андреевна.

— Нужно приготовить капельницу, — сказал ей Волков, — тяжелый больной.

Прошел в реанимационную — палату, куда помещают больных в крайне тяжелых, предсмертных состояниях.

Татьяна Андреевна, сухая, строгая, шестидесятилетняя, вошла за ним. Лицо ее было замкнуто и почти надменно. Работает в клинике тридцать лет. Еще с тех давних, с доблокадных времен. Еще носит косынку с наколкой Красного Креста.

— Из чего готовить капельницу? — спросила она.

— Пятьсот кубиков пятипроцентной глюкозы. Три кубика норадреналина. Нет, пожалуй, пять кубиков. Гидрокортизон, гепарин... — и Волков назвал дозы лекарств.

Работала Татьяна Андреевна медленно, как бы нехотя. Но это та медлительность, на которую можно целиком положиться. Можно уйти в ординаторскую и знать, что ничего не будет упущено.

Волков облокотился на подоконник, свесил голову, оглядел больничный двор.

Теперь, когда все готово, остается только ждать больного.

Двор был темен и глубок. Черны были все окна. Светился лишь операционный блок во втором этаже.

Вдруг Волков вздрогнул — услышал резкий скрежет тормозов. Это приехала скорая помощь. Начинается работа.

Закрыл окно, сел в кресло. Спешить некуда, он еще успеет выкурить сигарету. Вот носилки вынесли из машины. Вот поставили в лифт. Вот поднимают. Стоп! Пора.

Волков погасил сигарету, вышел в коридор. Санитарки осторожно несли носилки.

Впереди шел Веснин, врач тромбоэмболической бригады. Его маленькое тело начало полнеть. Редкие волосы были тщательно зачесаны на макушку.

Увидев Волкова, Веснин заулыбался — заблестели его металлические зубы. Протянув маленькую влажную ладонь, он с неожиданной силой пожал руку Волкова.

— Трансмуральный инфаркт на передней стенке. Кардиогенный шок, — сказал Веснин.

— Да, худо, — сказал Волков. — Очень тяжкий?

— Очень тяжкий, — сразу оборвал улыбку Веснин. — Мы же вам легких не возим.

— Да. Это вы умеете. Все сделали?

— Там все записано. Можете не сомневаться в диагнозе.

— Электрокардиограмма, протромбиновый индекс? — все-таки спросил Волков.

— Можете не сомневаться, — повторил Веснин.

Да, можно не сомневаться — Веснин очень надежный врач, ему можно верить.

— Мужик-то, кажется, хороший, — тихо сказал Веснин.

— Нет, нет, не сюда, — сказал Волков санитаркам.

Мимо пронесли больного. Лицо его было землистым, губы синюшны.

— Послушайте, — сказал Волков. — А сколько ему лет? Молодой мужчина.

— Вот-вот, — сказал Веснин. — Сорок шесть лет. Не тот возраст пошел, — заволновался Веснин, но сразу взял себя в руки. — Так всё. Больной передан в надежные руки.

И они попрощались.

Глаза больного бессмысленно смотрели в потолок. Да, это тяжелый инфаркт миокарда — землистое лицо, синие губы, липкий холодный пот. Волосы больного свалялись и прилипли ко лбу.

Очень тяжелый инфаркт — низкое давление крови, шестьдесят на сорок, слишком частый пульс — сто двадцать ударов в минуту, пульс нитевидный, слабый. Это будет очень трудная работа.

Каждый делал свое дело. Татьяна Андреевна подключила кислородный баллон, положила к ногам грелку, ввела в вену иглу и наладила капельницу. Волков осматривал больного.

— Введите мезатон и морфий. Кубик морфия введите внутривенно. И четверть кубика строфантина. И кордиамин.

Начало долгой работы сделано. Теперь время от времени вводить сердечные средства, регулировать капельницу, следить за давлением, дыханием, пульсом. Главное — впереди. Было бы очень хорошо, если бы к утру больной пришел в сознание. Это было бы очень хорошо. А потом он два-три месяца будет лечиться в этой клинике. Из них больше месяца лежать неподвижно. Это очень тяжелый инфаркт, и поэтому в любой момент может случиться катастрофа.

Недели через три больному придется объяснить, что это не эпизод в его жизни — это тяжелая болезнь.

Да, инфаркт эпизодом не назовешь. Иногда это итог. Итог жизни.

Все ли Волков сделал? Ничего не забыл? Нет, ничего не забыл. Большего пока сделать нельзя. Все, что можно было сделать, сделали.

Просторный холодный вестибюль был тускло освещен. В углу на стуле сидела женщина. Увидев Волкова, она порывисто встала. Сухощавая, прямая, с тонкими сжатыми губами. Чернели провалы глаз — она сидела всю ночь. Слез не было.

— Вы дежурный терапевт? — спросила женщина. — Как мой муж? Его привезли ночью.

— У него инфаркт миокарда, — ответил Волков. — Он в тяжелом состоянии. Ничего определенного сказать не могу. Будем надеяться на лучшее.

— Я могу к нему пройти?

— Нет. Сейчас ему нужнее я, чем вы. Пройдете утром. Думаю, все будет хорошо, — и Волков быстро пошел по лестнице.

Состояние больного было прежним. Может быть, пульс стал пореже, может быть, землистость начала сходить с лица. Но все это так зыбко, неясно. Все ждать и ждать. Ждать терпеливо, неспешно, без лишней суеты. Ждать и делать свое дело.

Перед Волковым история болезни, и он делает первые записи в нее.

Что же, пора познакомиться. Перед Волковым больной Карелин. Виктор Ильич. Сорока шести лет. Главный инженер строительного управления. И он не знает, что над ним сидит Волков, Юрий Васильевич.

Двадцати восьми лет. Широкоплечий, с мясистым носом, с выступающим высоким лбом и короткой стрижкой. И он не знает также, что Волков очень устал, — кончается суточное дежурство. И почти каждый вечер — библиотека. Он устал, но ничего не поделаешь — его эта жизнь устраивает.

Нет, кажется, Волков не ошибается — Карелину действительно становится лучше. Реже стал пульс, давление крови поднялось, лицо стало розоветь, и тело просохло от липкого пота.

А уже начало светать, засерело за окнами, раздалось вдалеке одинокое сиротливое теньканье трамвая. И зябко вползал уличный свет, еще вспышка, другая, третья — и разольется по палатам новое весеннее утро.

В восемь часов утра Волков еще раз снял электрокардиограмму. И когда ее рассматривал, он взглянул на Карелина. Увидел, что тот смотрит на него. Взгляд Карелина был еще неясным. Но все-таки это уже лицо, а не предсмертная маска. В нем боль и страх, но это уже лицо человека.

— Здравствуйте, — сказал Волков.

Карелин устало закрыл глаза и снова их открыл.

— Здравствуйте, — радостно повторил Волков. — Здравствуйте, Виктор Ильич. Как вы себя чувствуете?

Низко над ним качается потолок, весь он обвит проводами, над ним стоит незнакомый мужчина в белом халате. Мгновение назад ничего этого не было.

Карелин пошевелил губами и, может быть, попытался улыбнуться. Но кто же может улыбаться через

несколько часов после тяжелого инфаркта? Никто не может. Таких сил у человека нет.

После утренней конференции начался обход.

Сначала Волков осмотрел тяжелых больных. Выходя из палаты, встретился с Лидией Ивановной, низкорослой, полнеющей, с мяткими серыми глазами. Они друзья, пять лет работают вместе.

— Как ночь? — спросила Лидия Ивановна.

— Ничего, — ответил Волков. — Как обычно. Ничего особенного. Но совсем не спал.

Волков еще раз подошел к Карелину. Его уже перевели в обычную палату.

Он лежал, устало закрыв глаза. Чернели веки. Короткие упругие волосы, начали серебриться виски. Челюсть несколько тяжеловата. Невысокий лоб рассечен глубокой морщиной. Нос заострился, и по лицу Карелина еще бродит страх смерти.

Возле него сидела жена. Она молчала. Держала руку Карелина. Не гладила ее, а просто держала. Волков не видел ее плачущей. Это хорошо — она не будет мешать.

— Лучше, — сказал Волков. — Давление, пульс на одном уровне. Теперь полный покой. Он молодец. Вы слышите меня, Виктор Ильич? Я говорю, что вы молодец.

Карелин закрыл глаза и снова их открыл — так поблагодарил Волкова.

— До завтра, — сказал Волков и осторожно пожал предплечье Карелина.

Попросил жену пройти в ординаторскую. Усадил в кресло и долго разговаривал с ней.

В три часа Волков вышел с больничного двора. Ослепило нетеплое солнце. С Невы дул сырой ветер. Вялая, анемичная весна. Да когда же она придет, весна настоящая?

Кончилось дежурство. Кончился день. Пора отключиться, забыть о своей работе. Все, он отключился. И вдруг вспомнил сегодняшний разговор с женой Карелина.

Попросил рассказать о муже. Жена рассказывала подробно.

Вот первое ее воспоминание — они только что познакомились. Середина мая, начали пробуждаться белые ночи.

Карелину 18 лет. Закончен второй курс строительного института.

Счастливая интеллигентная семья, молодые друзья, веселые сборища. Впереди вся жизнь. Будем строить, в море плавать, мчаться в неба синеву. Симфонические концерты, театры, ослепительное безоблачное небо над головой.

21 июня ходили на Алису Коонен. Шли вдоль Невы, молча сострадая мадам Бовари. Ленинград был легок, воздушен. Над городом сияла праздничная белая ночь. Счастье их ожидает впереди. Иначе и быть не может — только счастье.

В конце июля провожала его на Дворцовую площадь. Из окна дома на Васильевском острове тонкий женский голос пел: «Ах, зачем мне платочек лиловый и зачем мне мой красный берет?» Митинг ополченцев. В колонну по восемь становись! Левое плечо вперед! Оркестр, играй «Зарю». А потом и марш «Прощание славянки». Ребята, поправьте боевые

ранцы! Не нужны вам маршальские жезлы. Вам нужно одно — не пустить врага. Прощайте! Возвращайтесь! Ты вернешься невредим. Ничто нас не разлучит.

А потом их разбили в первом же бою. Но Карелин выжил. Были Пулковские высоты, и первое ранение, и до прорыва блокады — Ораниенбаумский «пятачок». Голодные, обескровленные, дистрофичные, они удержали город.

Семья Карелина погибла. Отец убит в сорок втором, мать и младший брат умерли в декабре сорок первого. «Четвертку колючего хлеба поделим с тобой пополам». Но не было колючего хлеба, и нечего было делить.

А вот и сорок пятый год — год победный. Его Волков уже помнит — год первого его пробуждения. Вот ранняя южная весна, и мама радостно смеется — утром получила письмо от отца.

Да, писал отец, одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. И одержали победу, и спасли страну, и приезжали на горячих боевых конях. На конях голубых, розовых, фиолетовых. Но приезжали другие. Отец Волкова так и не приехал. Лишь стоял под окном его голубой конь. Стоял и нетерпеливо бил звонким копытом. А седок остался лежать где-то далеко, в полях за Вислой сонной.

Они вернулись в Ленинград в этот победный год. В конце сорок пятого вернулся в Ленинград и Карелин. Да, он победитель, но хоть ему всего 23 года, война уже протопала по его сердцу. И она оставила в сердце свой слой. Этот слой еще вспыхнет на срезе.

А Ленинград черен, разбит. А быт голодный, неустроенный. Карелин работал и учился. Скорее,

скорее кончать учебу, скорее, скорее строить. Лучшие ребята остались лежать, и нужно все успеть сделать.

— Я не знаю, откуда у него брались силы, — удивленно сказала жена Карелина. — У него на все хватало времени. Правда, за счет сна и воскресений.

И работа. Работа и работа! Рук не хватает, времени не хватает — успеть! Надо все успеть! И с утра до позднего вечера. Отдыха не знает. Считает, что он ему не нужен.

— Как же вы допускали, что он так много работал? — спросил Волков.

— А что я могла сделать? Да разве же я не говорила? Но он считает, что не может жить иначе. Я знала, что сил станет меньше, но я не знала, что так скоро.

Да, с Карелиным будет трудно разговаривать: когда человеку сорок шесть лет, он еще думает, что силам его нет предела. Разговаривать будет трудно, но Волков сумеет убедить Карелина. Иначе быть не может.

— Но ведь это только эпизод, — с надеждой в голосе сказала женщина.

— Нет, это не эпизод. Это тяжелый инфаркт, а не эпизод.

В четыре часа Волков пришел домой. Бросил на стул портфель, разогрел обед. На кухне соседи начали готовить ужин.

— Есть хороший кисель, Юра, — сказала Елизавета Тихоновна, тучная, медлительная, с бледным отечным лицом.

— Спасибо, тетя Лиза, я потом, — ответил Волков.

Соседи молчали. Знали, что если человек бледен, если под глазами черные тени, — лучше с ним не разговаривать.

В квартире пять семей. Все живут еще с доблокадных времен. Времени было достаточно, чтобы изучить друг друга и обходиться без ссор. Из пятерых мужчин с войны вернулись только двое. Елизавета Тихоновна всю блокаду прожила здесь. С тех пор она отечна и медлительна.

— Мама ничего не передавала? — спросил Волков.

— Нет, — ответила Елизавета Тихоновна. — Витю заберет Лида.

Волков кивнул и вошел в комнату.

На столе лежали свежие газеты и журналы — мама вчера принесла из библиотеки, где она работает. В квартире стояла тишина. Хорошо, что за сыном зайдет жена, — можно два часа поспать. Хорошо, что у них дружная семья. Это особенно чувствуешь, когда приходишь с дежурства. И на обед приготовлено то, что любит Волков. И все до мелочей, — его ждут с дежурства. И даже диван разобран. Как жить, если при такой работе постоянные ссоры в семье? Жить невозможно. Мама и жена это понимают.

Волков вытянулся на диване, взял в руки журнал, но, даже не открыв его, тяжело, каменно заснул.

Дежурство кончилось.

День переломился.

2

Весна. Распахнуты окна клиники. Сдираются бумаги с оконных переплетов. Пол перед окнами залит водой.

Весна. День рождения ординатора Лидии Ивановны. Два часа дня, основная работа сделана, остается записать истории болезней.

В эти весенние солнечные дни становится лучше тяжелым больным. Лучше становится и Карелину. Двадцатый день — рано говорить что-то определенное. И все-таки дела идут неплохо: установилось ровное давление крови, ровным стал пульс, нормальной стала температура. Уже начал бодриться. Есть ли боли? Есть, но слабые. С ним будет нелегко: когда пройдет первый месяц, трудно будет удержать в постели. Но не нужно забегать вперед.

Как всегда перед уходом, Волков осмотрел тяжелых больных. В коридоре встретил двух посетителей Карелина — постарше и помоложе. Тот, что постарше, низкорослый, тучный, короткошеий, осторожно взял Волкова за рукав. Посетитель помладше был рослым, широкогрудым, с длинными слабыми руками.

— Скажите, Юрий Васильевич, как Карелин? — неожиданно высоким пронзительным голосом спросил посетитель постарше.

— Сейчас ему лучше, — ответил Волков. — Но он долго был в тяжелом состоянии.

— Вы так считаете? — тревожно спросил посетитель.

— Да. Был очень тяжелый инфаркт.

Долго молчали.

— Юрий Васильевич, — вдруг не сдержался посетитель постарше, и дернулось его тяжелое веко, задрожала щека, — да что же это такое, Юрий Васильевич? Ведь с кем угодно это могло случиться, но только не с Витей Карелиным. Он всегда был таким здоровым. И как же это так? Такой человек. Сделайте, прошу вас, сделайте все, что можно. Он нам нужен.

Он нам необходим. Лучшего специалиста я не знаю. И какой это товарищ, Юрий Васильевич, — стараясь успокоиться, посетитель замолчал.

— Мы сделаем все, что в наших силах, — сказал Волков. — Можете не сомневаться, — он пожал руки посетителям.

Волков еще раз осмотрел Карелина — выслушал сердце, легкие, измерил давление.

— Вы действительно так много работаете? — спросил в упор.

— Нет, — улыбнулся Карелин и наморщил лоб, — слухи значительно преувеличены. Их распространяет жена. А женщины, — вы сами знаете: опоздаешь на час, а говорят, что приехал поздно ночью.

— Вы почему три года не были в отпуске? — спросил Волков сухо.

— Так получилось, — тихо и очень серьезно ответил Карелин. — Всякий раз была неотложная работа. Сдавали большую гостиницу. А сроки подпирают. Ну и давай-давай. Выложимся, ребята, потом отдохнем. На следующий год та же история повторилась с новой клиникой. А в прошлом году со спортивным залом. Так что иногда приходится много работать и мало спать. Это моя работа.

— Все это так, — остановил его Волков. — Нельзя так много работать. Нужно себя щадить. Иначе человек выходит из строя раньше времени. А он не имеет на это права.

— Что же вы прикажете нам делать? — насмешливо спросил Карелин.

— Жить!

— Не понимаю вас. Растолкуйте, пожалуйста.

— Да, жить. Да, работать. Но никогда не забывать о своем здоровье. Читать книги, слушать музыку, гулять по лесу. Вовремя отдыхать. Вовремя идти к врачу. Не ждать, пока привезут. Щадить свое здоровье. Беречь этот дар.

— А зачем это?

— Что зачем?

— Да вот так жить?

— Да затем, что человеку положено долго жить. Затем, что он не имеет права болеть инфарктом в сорок шесть лет. Это понятно, что человек пришел на землю не для развлечений, а для дела. И чем дольше он будет это дело делать, тем лучше. Есть учение о правильной, здоровой жизни. Если мы говорим человеку: не кури, не пей водку, каждый день бегай, значит, говорим не зря. Значит, это необходимо.

Волков говорил и вдруг почувствовал — да, все вопрос времени. Вся штука в этом. Не нужно закрывать глаза. Когда-нибудь и он сгорит. И может быть, сгорит раньше времени. Это может быть. И он будет лежать вот так, навзничь, распластанный, и ему будет запрещено шевелить рукой и глубоко дышать. Но Волков сделает все, что от него зависит, чтобы не лечь раньше времени.

— То, что вы говорите, скучно, — твердо сказал Карелин. Лицо его заострилось, глаза кололи из-под надбровий. — Вы уж простите меня, но это очень скучно. Согласитесь, нельзя жить без страсти. Все, что сделано на земле, сделано людьми, у которых была одна страсть. Только одна. И тут уж не станешь рассуждать: вот сделал много, вот мало, а вот в самый раз. Учить, строить, лечить — одна страсть. У меня, например, строить. И поверьте, я не смогу жить по-другому.

— Хорошо, Виктор Ильич, мы еще поговорим, — остановил его Волков.

Двадцатый день — больному нельзя много разговаривать. Ему нельзя волноваться. Это первый их разговор. И его Волков проиграл. Это не так важно. Будет еще разговор, потруднее, и его Волков должен выиграть. Обязательно должен выиграть.

— Вы должны знать, — сказал он, — что мы не разрешим вам так много работать.

— Скажите, Юрий Васильевич, но скажите, прошу вас, прямо: что будет, если я не послушаю вашего совета? — спросил Карелин.

— Я отвечу вам прямо — будет плохо. Будет второй инфаркт. Это правда.

— Скажите, сколько лет я могу протянуть, если не послушаю вас?

— Я точно не скажу. Но думаю, что больше пяти лет вы не выдержите.

— Это приговор, — сказал Карелин.

— Да, — подтвердил Волков.

Он жесток, но это необходимая жестокость. Волков должен уговорить Карелина вести правильную, здоровую жизнь, и он уговорит. Иначе Карелин погибнет. Это точно. Чудес не бывает. Это долг Волкова. Долг врача. И он уговорит.

— А если я сделаю все, как вы говорите, и буду вести тихую, осторожную жизнь, в этом случае сколько я могу протянуть?

— Бывают случаи, когда люди живут и двадцать лет после инфаркта. Такие случаи бывают. Но при правильном режиме, разумеется.

— Пять лет, говорите вы? — задумчиво спросил Карелин и повторил: — Да, пять лет!

3

Середина мая. День свободный. Отгул за прошлые перегрузки — пять дежурств в апреле, пять в мае. Бери отгул, Юра, бери выходной, дойдешь до жизни веселой. А до отпуска два месяца. А мы любим тебя, но живого, а не мумию.

В восемь часов вышел из дому с женой и сыном, — не спать же весь день, единственный выходной, а лето начинается, а солнце, а жара — скорее отдыхать! Проводил жену до метро, — она уехала в Автово, в свой проектный институт. Неспешно отвел сына в детский сад.

А теперь скорее на Петропавловку — нет времени ехать за город, жалко время терять. На Петропавловку! Как в давние студенческие дни. И хоть на день возвратить эти времена.

Расстелил одеяло, бросился на него. Так лежать всегда — неподвижно, распластанно. Дым идет от спины, стелется запах горелого мяса, но не перевернешься, таких сил нет.

Отдых! Он может быть настоящим только после сто́ящей работы.

С визгом, с воплями играют в волейбол, ласточкой падают на песок, ползут на животе, расстреливают мячом мирно распластанные тела.

Лето начинается. Хватай его, глотай каждой клеткой тела — короткое оно, наше северное лето. Не теряй ни минуты. Отдыхай. До завтрашней работы еще так далеко — двадцать четыре часа. Отдыхай!

Двенадцать часов. Удар пушки! Все бросились в воду. Все, все, так положено. Бросились счастливо, восторженно. А нарушителей за руки, за ноги, в воду их, в воду.

Потом Волков снова упал на одеяло. Стучал зубами. Подрагивая, ждал, пока его снова раздавит солнце.

Вдруг рядом упала бадминтоновая ракетка.

Поднял голову — над ним стояла девушка. Худая, смеющаяся, с мокрыми волосами.

— Сыграем! — приказала она.

— Не умею, — сказал Волков.

— Сыграем! — снова приказала девушка.

Да кто же на Петропавловке не умеет играть в бадминтон. Да все умеют. И Волков тоже.

— Шевелись, парень! — кричала девушка. — Быстрее!

Да, быстрее, еще быстрее, еще, еще. Удар слева. А теперь справа удар. И нырнуть. И на колено. И на живот. И еще удар. И еще удар. Волков задыхался. Глаза слепил пот. В правом боку кололо. Но не сдаваться. Работай, задыхайся, но не сдавайся. Да он мужчина или нет, черт побери! Бежал, падал, вскакивал, снова падал. Лицо было уже раскалено солнцем.

И в тот момент, когда Волков почувствовал, что ноги уже не держат, что сердце сейчас разорвется и упадет в Неву, девушка сдалась. Задыхаясь, она бессильно опустилась на песок.

— Ну, ты даешь! — восторженно сказала она.

— Здорово! — сказал Волков. — Ну просто здорово! — И он победно вогнал в песок черенок ракетки.

И побрел к Неве. Перевел дыхание. Сел на мокрый песок. Нет сил смотреть на сожженную Неву. Но все-таки смотришь до боли в глазах. Смотришь, чтобы навсегда задержать в себе эту минуту.

Вернулся на место, достал из портфеля детектив Агаты Кристи. Но читать не смог — буквы рябили

в глазах. Какой там детектив! Какой там «Печальник кипарис»! И бросился на одеяло. И запрокинул голову. И распластался на спине.

Жить бы, жить бы так всегда. Да невозможно это. Потому что не Робинзон ты и не на острове живешь. Потому что время летит, а тебе уже двадцать восемь, и так еще мало сделано. Так мало. А ты хочешь все сделать. И все знать. И все понять. А так невозможно быстро летит время. Так невозможно быстро.

А небо глубоко, недоступно, и солнце раскаляется, и Нева обожжена солнцем.

Никогда не кончится это лето.

Никогда не кончится этот день.

4

Как дни летят! Как летит время! Третье майское дежурство. Кажется, только вчера привезли Карелина, а сегодня уже месяц прошел. Летят дни. Не успеешь раздышаться после дежурства — да когда еще следующее, оно за такими еще синими горами, — а снова дежуришь. И ежедневная работа, и вечерами занятия в библиотеке: у тебя есть научная работа, и сделать ее нужно в срок.

Вчера вечером Волков шел из библиотеки. Было безлюдно, гулок был его шаг. Вошел в Летний сад. Медленно, нехотя покидали его последние посетители. Лица их были расслаблены, сомнамбуличны. Чернели узоры решетки.

Да, летит время, месяц пролетел, и за этот месяц у Карелина было два тяжелых приступа болей. Он переносил эти боли без жалоб, без просьб сделать все, что в силах врача. Это доверие. И это мужество.

— Юрий Васильевич, не уделите ли мне несколько минут? — попросил Карелин, когда Волков вошел в палату.

Восемь часов вечера. В палате тихо. Больные ушли смотреть телевизор. В распахнутых окнах догорает закат.

— Конечно, уделю, — сказал Волков.

Карелин поднялся на локтях. Прошел месяц — давно нет синевы под глазами, лицо отдохнуло от боли.

— Я хочу поговорить о своей будущей жизни, — сказал Карелин. — Я помню наш разговор. Мы остановились на пяти годах. Так вот, исходя из теории о правильном поведении человека, хочу изменить свою жизнь.

Волков сел к нему на кровать.

— Я думаю, вы подержите меня еще месяц-полтора, так?

— Так.

— А потом выпишете на амбулаторное лечение. Через полгода друзья достанут мне путевку в кардиологический санаторий, я еще и там полечусь. А потом на полгода-год мне дадут группу инвалидности, так?

— Все так, — согласился Волков.

— И с прошлой жизнью будет покончено. Прошлое — ошибка, заблуждение. Потом мне найдут спокойную работу. Уже подыскивают. Буду, скажем, заведовать отделом технической информации. Спокойная работа. Неплохой оклад. Никто тебя не торопит. Буду себе переводить статьи. И жить. Спокойно жить, размеренно. И буду сохранять свое здоровье. Все-таки жизнь одна. Правильно я говорю?

— Конечно, правильно, — сказал Волков.

— Так и будет течь моя жизнь. Размеренно, без взрывов, до глубокой старости. А умру я так,

как положено всякому биологическому существу: когда устану от жизни, когда появится инстинкт смерти.

И вдруг Волков заметил в глазах Карелина насмешливость. Мелькнула на мгновение улыбка и сразу погасла, снова взгляд стал жестким.

— Вы правы, — сказал Волков. — Вам нужно жить спокойно. Не волноваться. Соблюдать режим. Гулять по лесу. Отдыхать после работы. Слушать музыку.

— А музыка это что — бром? Или нельзя волноваться, даже слушая музыку?

— Словом, нужно жить без перегрузок. Беречь свое здоровье. Отдыхать. Жить без недосыпов.

— Это значит, что я должен отойти в сторону. Согласен. Уже отошел. Но по этой теории ведь и вы отойдете. И ваш друг. И пятый. И десятый. А я всегда считал, что мы все должны стоять рядом, локоть к локтю. И вот мы все отойдем в сторону. И на наше место попрут все, кому не лень. Любой проходимец растопчет нашу землю. Уж он-то до последнего дыха будет брать свое. Уж он-то не испугается инфаркта.

Вдруг Волков почувствовал — он проигрывает Карелину. Еще немного, и он проиграет окончательно. И тогда все зря: это лечение, работа Волкова, его жизнь — все зря. Вот лицо Карелина — рассеченный морщиной лоб, внимательные серые глаза. Глаза человека, знающего свою силу. А потом этого лица не будет. Его покроют белой простыней. И Марина Владимировна, прозектор клиники, рассечет грудь Карелина и вынет его сердце. Снимет пласт за пластом. Вот слой, и вот слой, и вот. Но не будет этого. Потому что тогда все зря. Этого не будет. Волков не проиграет

Карелину. И он вдруг почувствовал злость. Не имеет права человек болеть инфарктом в сорок шесть лет. Не имеет права работать на износ. Это — преступление. И его необходимо остановить. Только тогда Волков выиграет. Взял себя в руки, подавил злость.

— Все хорошо в меру, — сказал он. — Всю жизнь вы работали без отдыха. А у вас такая же кровь и такое же сердце, как у всех людей. И это сердце может уставать. И если ему кричать «давай-давай», если сначала гостиница, потом спортзал и только потом человек, сердце долго не выдержит. Послушайте меня, Виктор Ильич. Если вы будете продолжать прежнюю жизнь, однажды ваше сердце разорвется. На работе. На улице. Одно мгновение — все. Это правда.

Да, это правда. Волков жесток, но иначе нельзя. Карелин должен знать все. Иначе он погибнет. Тогда — все зря. Тогда все пропало.

— Так не проще ли, Юрий Васильевич, думать о правильной, здоровой жизни с молодых лет? — спросил Карелин. Его брови были сведены к переносью, глаза смотрели напряженно. Они оба понимают серьезность разговора. Если Волков проиграет, он уже никогда не заставит Карелина изменить жизнь. И тогда ни один человек не услышит сердца Карелина. Его будет держать в руках Марина Владимировна.

— Мне уже поздно отходить в сторону. От перегрузок и схваток нужно отходить в молодости. Режим соблюдать. Работать от звонка до звонка. Не волноваться. Это же мудрость какая! А спать сколько положено. И тогда будешь жить вечно. А нам-то какая забота, что будет с нашей землей? А будь что будет. Она все выдержит. Мы-то смертны. Живем только раз.

И мы-то живы. После нас хоть потоп. После нас пусть травы сохнут. Вот ведь как нужно жить!

— Это слова! — перебил его Волков. — Это желание оправдать себя. Вы сказали, что если честные люди отойдут в сторону, то землю растопчут проходимцы. Так, по-вашему, земле будет лучше, если честные люди будут падать в сорок шесть лет? Падать в расцвете сил? Только потому что не берегли себя. Упадет строитель, и садовод, и врач — что тогда будет? Я никогда не смирюсь с тем, что человек себя загоняет. Это преступление. Это эгоизм. Этому нет оправдания.

— Эгоизм — это другое дело. Это когда товарищи ждут от тебя полной отдачи, а ты жалеешь свое драгоценное здоровье.

— Неправда. Эгоизм — это не думать о своих товарищах. Я с ними говорил. Они вас любят. Вы им необходимы. А вы думали о том, что им будет плохо, если вы уйдете? Да, вы им нужны как строитель. Но все-таки в первую очередь вы им необходимы как человек. И вашим друзьям будет плохо, и семье. Вы думали?

Да, он обо всем думал за месяц своей болезни. И думал много раз. И потому-то ярче стали серебриться его виски, и новая морщина рассекла лоб, и морщина залегла у рта.

— Это все сантименты, — усмехнулся Карелин.

— Хорошо. Тогда вот вам трезвый расчет, — сказал Волков. — Вы согласны, что вашим ребятам без вас будет труднее работать?

— Да, пожалуй. Может быть, я все-таки могу строить немного надежней и быстрее, чем другие. Сноровка, знаете, выносливость. И меня, Юрий Васильевич, не покидает чувство, что я немного недодал. Не выложил все, что могу.

— Скажите, а сколько лет вы работаете с самой большой пользой для дела?

— Сколько? — задумался Карелин. — Ну, я воевал. Потом учился. Не было опыта. Вот сейчас я в своей лучшей форме. Ну, лет двенадцать. Даже, пожалуй, десять. Когда у меня есть свои мысли и я могу их выполнить, — лет десять.

— Десять лет, вы говорите? А можно было и двадцать и тридцать лет. И этого не будет только потому, что вы не берегли себя. Человек может уйти только потому, что не думал о себе. Уйти от своего дела в расцвете сил. На пределе мысли. И он незаменим.

— Может быть, вы и правы, — сказал Карелин. — Но все дело в том, что чаще всего я вспоминаю сорок второй год. Вспоминаю своего друга Ваню Разумовского. Он лежал в грязи, под корягами у речки Черной. И я каждый день говорил себе, что если я выживу, то отомщу за погибших друзей. Буду делать не только за себя, но и за них. Я выжил в этой каше. Это случайность. Сотни раз должны были убить меня, но убивали других. А они были лучше меня. Хотя бы потому, что они мертвы, а я жив. Но если бы под корягами полег я, а Ваня Разумовский, обо всем забыв, вел правильную, здоровую жизнь, я бы никогда его не простил.

— Это неправда. Он полег не для того, чтобы у вас в сорок шесть лет был инфаркт. Он спасал страну, и вас, и меня, для того, чтобы вы построили хорошие дома и мстили за него не десять лет, а тридцать и сорок. А вы хотите уйти, не построив всего, что можете построить. Так скажите, Виктор Ильич, если бы ваш друг Ваня Разумовский встал из-под коряг, если бы он увидел вас, он бы простил вас за это?

— Не знаю, — ответил Карелин. — Ваня был физиком. Он тоже не умел взвешивать на весах свое здоровье. Но я не знаю. Может быть, вы и правы.

— Тогда ответьте еще на один вопрос, Виктор Ильич. Предположим, вас лечит врач, которому сорок шесть лет. И вы ему верите. Ему верят другие больные. Он в своей лучшей форме. У него знания и опыт. Он любит свое дело. Он любит людей. И вдруг он раньше времени уходит. Уходит только потому, что относился к своему здоровью так же, как вы. А больные ему верили. Надеялись на него. А он их предал своим уходом. Среди них были тяжелые. Так вы бы простили этого врача, если бы он ушел раньше времени? Вы бы простили меня, если бы этим врачом был я?

Уже начало темнеть — отступают белые ночи. Сумерки забродили по земле, они поднялись на пятый этаж и вползли в палату. Было все тихо. Скоро больным пора спать.

Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Нет, не простил бы, Юрий Васильевич, — твердо ответил Карелин. — Вас бы я не простил.

5

И вот оно, пятое майское дежурство. Это последнее в мае.

Вечерняя пора — в коридорах гаснет свет. Движения становятся медленными, тихими. Сестры накрывают колпаками лампы на постах. Ходят по коридору больные с полотенцами через плечо. В стеклах распахнутых окон задыхается закат. Там, за стеной, медленно падает солнце.

Десять часов. Продолжается вечерняя работа. Уже чувствуешь, что начал уставать: лицо уже бледно и появилась тяжесть под глазами.

Волков еще раз осмотрел тяжелых больных клиники. Потом сидел в ординаторской, делал записи в историях болезней. Над историей болезни Карелина задумался. Плохо. Снова плохо. Сегодня снова поднялось давление крови и появился частый пульс. Причина понятна — два нарушения режима подряд. Позавчера долго разговаривал со своими товарищами по работе. Они долго спорили. Сегодня ночью встал. А вставать еще нельзя. Но ночью больному стало плохо. Все спали. Больной не мог дотянуться до сигнального огня. Тогда Карелин быстро встал, вышел в коридор и позвал сестру. Этого нельзя было делать. И сегодня Карелину снова стало хуже.

Все ли Волков сделал? Да, он сделал все. И он постарался успокоиться. И вытянулся в кресле, подремал. Спокойное дежурство. Оно выпадает редко. Хотел почитать книгу, но раздумал и включил радио.

Пробило двенадцать. Полночь. Давно отпылало солнце. Скоро новое утро. Медленно вплывает в ночь тяжелый корабль, и лишь плещет вода за бортом, и так все спокойно в этом мире. Счастливых снов, пловцы.

И вдруг дверь распахнулась. На пороге стояла постовая сестра Нина. Лицо ее было испугано, глаза метались.

— Больной умер! — вскрикнула она.

Волков вскочил, побежал за ней.

— Где?

— Пятая палата.

— Кто?

— Карелин.

— Кто? — замер Волков.

Этого не может быть. Этого просто не может быть. Вот они, вчерашние нарушения режима. И побежал.

— Карелин, — сказала Нина. — Выбежал больной. Кричит: «Умер!» Я побежала — да.

— Сердечные! — крикнул на бегу Волков. — Адреналин в сердце. Кислород. Быстро!

Карелин был мертв. Синее заостренное лицо. Липкий холодный пот. Сердце молчит — оно мертво.

— Метазон, кордиамин внутривенно! — торопливо сказал Волков Нине.

— Сделала, — сказала она, выпрямляясь.

Пусто в груди. Сердце молчит. Это невозможно.

— Иглу. Адреналин в сердце!

Ввел. Это двадцать секунд. Лег ухом на грудь Карелина. Пусто. Молчит сердце.

— В реанимационную! — сказал отрывисто. — Анестезиолога.

И начал массаж сердца. С силой нажал на грудную клетку Карелина. И отпустил. Нажал и отпустил. Еще раз. Еще раз.

Реанимационная была напротив. Распахнули двери палаты.

— Давайте! — хрипло, одышечно сказал Волков. Сам продолжал делать массаж.

Кровать выкатили в реанимационную. Еще раз нажать на сердце. И еще. И еще. Устал. На мгновение передохнул. Вытер рукавом халата пот со лба. Руки онемели. Еще, еще, еще.

Тихо все. Сердце молчит.

— Дефибриллятор! — сказал Волков сестре Нине.

И включил аппарат. Он даст сердцу мощный электрический разряд — шесть-семь тысяч вольт. Другого выхода нет.

Подвел электроды под левую лопатку и нижний край грудины Карелина.

Посмотрел на сестру. Она нажала кнопку. Тело Карелина судорожно дернулось. Потом сразу обмякло. Снова умерло. На ленте электрокардиографа была видна прямая черта. Нет сокращений сердца — оно мертво.

Прибежал анестезиолог. Он тяжело дышал.

— Вот! — сказал Волков. — Остановка сердца. Все!

Анестезиолог перевел Карелина на управляемое дыхание. Теперь за него дышала машина.

Еще разряд. Снова судорога взорвала сердце Карелина.

Сердце молчит.

Еще разряд. На электрокардиографе прямая линия.

Еще разряд. Сердце мертво.

Что же — можно успокоиться. Большего сделать нельзя. Можно успокоиться. Не все в человеческих силах.

Еще разряд. Судорога. И вдруг прямая линия сломалась — на ней появилось одиночное сокращение. Оно очень слабо, еле заметно, но все-таки это сокращение сердца.

Разряд. Еще одиночное сокращение. И еще одно. И уже энергичное сокращение. Сердце оживает.

— Есть, — сдержанно сказал Волков.

Все переглянулись. С лиц начала сходить каменность ожидания. Лица подобрели, стали мягкими — работали не зря.

— Быстро! — сказал Волков. — Снова сердечные. Капельницу!

Сестра долго не могла найти вену. Нужно срочно вену рассекать. Но все-таки сестра в вену попала. Это же чудо, а не сестра Нина. Волков благодарно кивнул ей головой.

Тоны сердца стали более частыми и ровными.

Вдруг лицо Карелина начало оживать — сходила с него синева. Карелин начал розоветь, просох липкий смертный пот.

Медленно с лица Карелина спадала смертельная маска.

Через десять минут после первого сердцебиения Карелин начал дышать самостоятельно.

Отключили аппарат искусственного дыхания.

Теперь все пойдет привычным порядком. Это уже живой человек. А с живыми людьми Волков знает как себя вести.

Он не отходил от Карелина всю ночь. Считал пульс, измерял давление крови, слушал легкие.

Очень хотелось курить. Но отходить боялся. Отошел только утром и только тогда, когда понял, что в ближайшие десять минут неприятностей не будет, — ровные пульс и давление крови, в легких нет хрипов.

Прошел в ординаторскую, встал у окна. Началось новое зябкое утро. Солнце еще не взошло, но небо начало гореть. Волков закурил. Не было сил радоваться новому утру.

Грудью налег на подоконник, расслабил ноги. Тело избито. Сейчас бы побриться, полчаса полежать в теплой ванне и спать. Долго, долго спать. Да, подумал вдруг, тело избито, но он неплохо поработал. И даже хорошо поработал. Она чего-нибудь да стоит, эта усталость после хорошо сделанной работы.

Вдруг усмехнулся: а ведь выиграл дело. Не отступил. А мог и проиграть. Но выиграл.

Вспомнил, как оживало лицо Карелина. Так всегда — вдруг ломается маска смерти. Из темноты, из мрака медленно выступает лицо живого человека. Вот

выплывает лоб, надбровья, вот подбородок, глаза. И эта минута тоже чего-нибудь стоит.

Погасил сигарету, снова пошел к Карелину. Ему было лучше: ровный пульс, хорошее давление. Добавил в капельницу сердечные средства. Сел возле Карелина на стул.

Вытянул ноги. Они дрожали. Снова почувствовал усталость. Знал: у него нет больше сил. Так всю жизнь. Из месяца в месяц. Изо дня в день. Был молодым врачом. Станешь врачом с опытом. Потом станешь старым врачом. Обязательно должен стать старым врачом. Никак иначе. А потом ты однажды умрешь. Но в этом вся штука. Когда ты умрешь, люди могут сказать, что у них был неплохой доктор. В этом вся штука. А ты был просто врачом. И всю жизнь лечил инфаркты. И твоя жизнь тебе ясна.

Первый период пройден — молодость прошла. Да, он и не заметил, как стал взрослым. Да, молодость прошла. Все ясно. И впервые Волков понял, что он стал взрослым. И понял это без страха. И поэтому за все надо платить. За Карелина, и другого человека, и третьего. За все, что есть на земле. За все надо платить. Своими жилами, животом, жизнью. И так будет всегда. Нет для него другой жизни. Другой жизни просто быть не может.

Наталья Ивасенко

„КАПУТ МОРТУУМ"

Весь август он работал с утра до вечера. И она была рядом. Может быть, ее помощь была чисто внешней — подать ту или иную краску, когда он отрывисто просил: «кобальт», «изумрудку», «кость».

Или даже когда не просил — она сама догадывалась, какую дать ему, какой не хватает на палитре.

Среди красок ей часто попадался тюбик, странное название которого ее поразило:

«капут мортуум». Он ни разу не спросил эту краску, она помнила о ней только потому, что часто натыкалась на нее, тут же откидывала в сторону, но через какое-то время опять натыкалась и опять — в сторону.

Не в этом была ее помощь. Он бы и сам взял нужную краску, — важно, чтобы жена просто была рядом. И она была рядом весь август — осталась в городе, пожертвовала отпуском.

И весь август жгло солнце, и было очень душно — и днем, и особенно ночью. Так что ночью она просыпалась от духоты, шла на кухню, мыла лицо холодной водой, потом снова ложилась и засыпала. Он же не вставал, хотя не спал тоже, — и от духоты, но еще больше от переживаний. Время шло, а картина во многом не нравилась ему. Он боялся наступления утра, мечтал о бесконечной ночи, потому что ночью было легко — стоило закрыть глаза, как тут же он представлял свою картину иной, такой, какой она должна быть, но по утрам видел другую — еще сырую, с недостатками, видел, как еще много нужно сделать, и писал, и к вечеру уставал ужасно и — что самое страшное — понимал: работал плохо и надо все счистить. Это была его первая картина, и, возможно, поэтому давалась она ему трудно, так что за месяц он успел устать и даже потерять в себя веру. Он настолько разочаровался в себе, в своих способностях, что боялся пригласить товарища, тоже живописца, к себе домой. Он считал, что пригласить друга — это лишний раз убедиться в своей беспомощности, другое дело показывать, когда что-то получается.

В минуты особой усталости и растерянности он часами просиживал молча перед картиной, не решаясь сделать ни одного мазка, и тогда жена не знала, как ей быть: сидеть ли с ним рядом так же молча, или

говорить ему о своей вере в него, в его талант, или уйти, оставить одного — она не знала, что делать, и машинально отбирала пустые тюбики — чтобы не мешались, когда он будет писать дальше. Ведь будет же он писать, вот посидит, соберется с силами и будет писать дальше. И когда снова попался ей в руки тюбик «капут мортуум», впервые, именно тогда, в ту минуту, когда муж сидел неподвижно в углу, ей вдруг стало страшно: а вдруг не справится? Она подумала об этом с удивительной серьезной ясностью и испугалась — ведь верно, если только не справится, она тут же представила, как тяжело им будет жить дальше. На долгие годы он — теперь уже не временно, а именно на долгие годы — утратит веру в себя, в свои силы, талант, и ничем она не сможет помочь ему, и любовь ее будет бессильна.

«Капут мортуум» — какое неприятное название. «Капут». При чем здесь капут? «Капут мортуум» — что это значит? Она становилась мнительной и готова была искать причину его неудач во всем, даже в этом тюбике краски с таким неприятным названием.

Тогда она все-таки настояла, чтобы он пригласил друга. И друг пришел. Он понимал, понимал интуитивно, что сейчас не помогут ни долгие рассуждения о живописи, ни ссылки на мастеров, сейчас важно поделиться своим эмоциональным состоянием. Он громко радовался отдельным удачам художника:

— Вот-вот! Так вот и надо! Видишь, видишь, как здесь светится... Ты только посмотри — вот так же все, понимаешь, все должно светиться...

Тут же он брал палитру и писал, густо накладывая краску, сбивая рисунок.

— Жи! Жи! — вот она, вот она и есть, живопись-то!.. А рисунок потом сам подправишь... Жи! Жи!

И он добился своего. Она видела, как муж тоже загорается, как ему уже хочется писать самому, и вот — он уже сам берет палитру и пишет дальше. А его друг рядом и одобрительно восклицает:

— Жи! Жи! Вот она, живопись-то, вот она!

Но на утро все было по-старому. Он с остервенением счищал вчерашнее. Она спросила:

— Зачем же ты?

— А! Все не то! Теперь и рисунка нет... И потом — такой слой — просто работать невозможно...

И теперь, подавая ему краски и наталкиваясь на «капут мортуум», она думала о ней с ненавистью. Недаром такое мрачное название — «капут мортуум», выбросить бы ее куда-нибудь подальше. Но в эту же минуту ей становилось стыдно за себя, за свою мнительность, но про себя все равно продолжала думать:

«И зачем только купил ее? Никогда раньше не было, и главное — совсем ею не пишет, тюбик совершенно полный».

Она видела все неудачи на холсте и воспринимала эти неудачи, глубоко страдая. Не находя гармонии в холсте, переставала замечать гармонию в жизни, как будто жизнь начинала распадаться, и было такое ощущение, что вокруг рушатся дома и по улице опасно ходить — все время исчезает земля под ногами.

И вдруг — когда? Когда наступила первая минута победы? Еще холст тот же, все то же, но что-то изменилось, чуть-чуть, но этого чуть-чуть хватает, чтобы поверить — справится! Напишет!

Они радовались молча. Он видел теперь ясно, что́ нужно еще сделать, и главное — ка́к это сделать, и торопился исправить... И писал теперь спокойно,

стараясь не перегружать холст краской, отыскивая нужные отношения на палитре.

Она смотрела, как он работает, и радостно, почти восторженно думала:

«Господи! У него получается! Кажется, у него что-то получается! Кажется, у него что-то получается!»

Он видел, что ей нравится, как он работает, видел по тому, как она теперь сидела рядом — свободно, не сутулясь, как дышала — ровно и легко, и в глазах ее исчез испуг — не справится!

И он и она забыли все то страшное время поисков, растерянности, неуверенности, когда написанное утром нравится, а к вечеру снимается мастихином. Это время было позади, и — где оно? В чем осталось? В соскобленной краске? В грязных от масла тряпках, которыми торопливо вытирал руки и кисти? Или на холсте — свидетеле неудач и побед?

Да, теперь он справится к сроку. Успеет к выставке. Можно уверенно доводить картину до конца.

Он попросил спокойно:

— Дай мне «Капут мортуум».

Она замерла на секунду, вспомнив, с какой ненавистью совсем недавно относилась к этой краске. Подумала: какая она по цвету? Что он будет писать ею?

Он с силой выдавил из тюбика эластичную жилу.

Фиолетово-коричневая.

Уверенными мазками подправил руки у центральной женской фигуры.

И бросил кисть.

Василий Резник

ПРОЩАНИЕ

Полеты закончились.

Уехали со стоянки бензозаправщики и специальные автомобили, шмелями промчались по металлическим плитам оранжевые «Москвичи» — электростанции на колесах, неторопливо прокатил тягач с воздушными баллонами, и все это означало, что вертолеты заправлены, проверены и подготовлены к завтрашнему дню. Механики уже зачехляли их, то и дело по стоянке разносилось:

— Де-жу-у-рный!

Дежурным по стоянке был ефрейтор Иван Синев, механик с «девятки». Его машина стояла с раскрытыми капотами двигателя — готовилась к дальнему ночному перелету. Готовилась без его участия, потому что вчера Синеву был объявлен приказ о демобилизации. Вчера же он передал инструмент, оборудование и прочее хозяйство солдату-первогодку Сергею Голубеву и заступил в свой последний армейский наряд.

Сегодня он прибыл на стоянку с рассветом, когда вертолеты еще дремали, а сейчас был вечер, и перед Синевым прошел весь летний день, единственный, пожалуй, день, за которым он наблюдал со стороны. «Девятка» летала тоже, он следил за нею издали, придирчиво сверяя время каждого ее вылета и посадки по часам. И одновременно с соприкосновением вертолета с землей, легким и неслышным, к Синеву приходило желание действовать. Рука привычно скользила в карман, а глаза шарили вокруг, разыскивали бензозаправщик. Но вместо отвертки ноющие от ссадин пальцы нащупывали пачку сигарет, и Синев, сдвигая выцветшие брови, закуривал, зло сплевывая табачные крошки с обветренных губ.

После какого-то полета на стоянку приехал Голубев и пулей — к инструментальному ящику.

— Дюритик[1] потек! — радостно сообщил он Синеву так, словно получил награду. — Менять будем! Надо, слышь, управиться до следующего вылета.

— Сам обнаружил? — ревниво спросил Синев, подавшись вперед.

— А кто же! — беленькое, свежее лицо Сергея расплылось в улыбке от уха до уха.

---

[1] Дюрит — резиновая трубка, соединяющая два металлических трубопровода.

— Не суетись. Дюриты вот, в уголочке. Всегда там храню...

— Ага, есть... Ну, я — к вертолету. Дай курнуть.

— Ты следи за ним, Серега. В оба глаза следи, — сказал Синев, подставляя «бычок», и Голубев сделал пару торопливых затяжек.

Автомобиль рванулся с места, и уже на ходу Голубев крикнул:

— Иван, а мы в командировку сегодня летим!

— Да что ты?

— Ага. Вечером.

«Ничего тогда... Это еще ничего, — подумал Синев, поглаживая загорелую шею. — Свидимся, раз вечером».

...Механики почти одновременно зачехлили машины, и Синев едва успевал осматривать пломбы да расписываться в приемной ведомости.

Проводив последний тягач с техническим составом, Синев вытер лоб, снял пилотку, немного постоял на прохладном ветерке и медленно пошел вдоль рядов присмиревших вертолетов, по-хозяйски присматриваясь к имуществу. «Сюрпризы» были: неубранная ветошь, небрежно брошенный баллон со сжатым газом, ведро с грязным бензином, открытый ящик с песком у противопожарного щита и прочее; а какой-то разиня оставил на расчалочном тросе комбинезон. Новенький, — значит, механик из молодых.

«А мой-то глазастый! — подумал о Голубеве Синев. — Но возни еще с ними, ох возни... Если б только комбинезон!.. Что — комбинезон?»

И он припомнил себя в ту пору, когда только осваивал обязанности механика и когда приключилась с ним неприятная история.

Было так. Оборвался красный флажок-вымпел на чехольчике приемника воздушного давления, а проще сказать, на вертолетной ноздре, что, принюхиваясь к воздуху, определяет скорость полета. Пришить красный флажок Синев забыл, и вышло плохо: без яркого вымпела чехольчик стал незаметен, не снял его перед взлетом Синев, и «девятка» вернулась.

— Поздравляю, — мрачно кивнул механику бортовой техник лейтенант Воробьев. — Вынужденная посадка на нашу голову. Попадет нам с тобой на орехи.

И попало.

Инженер, правда, не ругал Синева. Он даже не сделал ему замечания; просто собрал всех механиков и рассказал о трубке приемника давления целую поэму. Синев узнал, что десятки ученых долгие годы хлопотали над нею, они отполировали ее внутренние каналы до такой гладкости, что в сравнении с их поверхностью зеркало показалось бы плохо вспаханным полем; они вставили в эту — толщиной в палец — трубку мощную электрическую печь со спиралью, которой нет цены; они испытали эту спираль миллион раз, подбирая нужное расстояние между витками, толщину и качество ее тугоплавкой нити — все для того, чтобы в дождь, снег и даже при обледенении датчик скорости работал безотказно, потому что летчик без скорости слеп...

Синев не поднимал головы. Единственно тем утешал себя, что полет был учебным. Случись подобное при вылете на спасение людей — задержка на несколько минут обернулась бы чьей-то гибелью. Связь между кумачовым лоскутком и смертью человека, которой, по счастью, не произошло, потрясла Синева. В тот день он заново открыл для себя старую истину: в авиации мелочей не бывает...

Сочно и басовито зарычал двигатель на «девятке», разминая стальные мышцы, и через минуту-другую несущий винт приподнял над землей тяжело загруженную машину, примеряясь — донесет ли? Вертолет висел на двухметровой высоте. Синев, расставив длинные ноги, глядел на него, сощурясь от упругой воздушной струи, пахнущей бензиновым дымком.

На «девятке» Синев работал с самого начала, и только два месяца назад вертолет почувствовал мягкие, как заячьи лапки, еще не выдубленные бензином руки Сергея Голубева. Синев знакомил новичка с норовистым характером машины и, по мере того как у паренька проклевывалась мастеровая хватка, все больше наваливал на него забот. Последние недели Синев лишь посматривал, и бортовой техник шутил:

— Ты у нас теперь вроде научного консультанта.

Нередко Голубев задавал «консультанту» хитрые вопросы, и когда ответ его не устраивал, вспыхивал спор — уже не ученика с учителем, а на равных. Воробьев мирил их: оба оказывались в чем-то правы.

— Не все истины рождаются в спорах, петухи, — посмеивался борттехник. — Многие давно записаны вот здесь.

И тыкал сбитым пальцем в нужную строчку инструкции.

Вертолет плавно опустился, рокот стих, и несущий винт, останавливаясь, зашептал, поглаживая лопастями вспугнутый воздух.

Синев круто повернулся и зашагал по ребристым плитам, наступая кирзовыми сапогами на собственную тень.

«Девятка» уходила на сутки или больше, а демобилизованные уезжали завтра, и, значит, через какой-то час он надолго, может быть навсегда, расстанется с экипажем — командиром, штурманом, лейтенантом Воробьевым и с Сережкой Голубевым, которого он все-таки кое-чему научил и к которому успел привязаться. И даже то, что Голубев последние дни ершился и не скрывал досады, когда Синев сам брал в руки инструмент, нравилось Синеву потому, что он же и внушил Сергею: как у семи нянек дитя без глазу, так и вертолету нужен один хозяин.

Завтра он распрощается со всеми друзьями. Одни останутся в полковом строю, а других поезда повезут в разные стороны, и двое суток спустя он, Иван Синев, приедет домой. Он сойдет на небольшой станции, закурит, подождет, пока скроется за поворотом последний вагон, и тогда уж пойдет по знакомому проселку. Пыльным он будет или взмочаленным сентябрьскими дождями, Синев все равно потопает пешком, и хотя на плечах еще будут погоны, — по осенней земле будет идти уже не ефрейтор, а агроном, человек самой мирной и самой важной профессии, как говорил дед, заменивший Ивану отца.

Задолго до демобилизации Синев думал об этом дне: он рисовал его в подробностях: последнее время жил в каком-то непрерывном душевном зуде, представляя свое возвращение домой.

Но вот день почти наступил, Синев и телеграмму дал деду, что завтра выезжает, а настроение было прескверное.

Он медленно шел по металлическим плитам, покрывавшим стоянку; плиты чуть прогибались, и под ними скрежетал гравий. Казалось, то земля царапала снизу железный панцирь, желая сбросить его, чтобы

вдоволь надышаться сентябрем, чтобы открыться ветру, который бросил бы на нее семена ромашки, осота, крестовника, конского щавеля, чертополоха, наконец! — она приютила бы их до весны, а там погнала бы вверх, вверх стрельчатые ростки... Уже три года земля отделена от дождя, воздуха, неба и всего живого железными плитами.

Синев отчетливо помнил тот день, когда они — солдаты, механики, летчики — впервые пришли сюда, на поле, глазевшее на них цветами, разделись до пояса и застучали топорами, ставя палатки. Они содрали бульдозерами уютные холмики, засыпали гравием и песком рыхлую почву, стальными ковшами прорыли глубокие шрамы дренажных канав. Капли их пота падали в обнаженную парующую землю, — и то был последний дождь, который узнала земля, перед тем как ее заковали в железную чешую. Тяжелые плиты соединились друг с дружкой десятками зубьев, зубья плохо заходили в гнезда, и над полем стоял звон и грохот кувалд. Птицы в отчаянии метались над солдатами, а они выпрямляли загоревшие пыльные спины, прислушивались к их голосам и бормотали: «Вот здорово!»

До заморозков механики жили в палатках, и однажды утром Синев выскочил из палатки, стуча зубами от холода, и увидел чудо. Все железное поле было покрыто тончайшей пленкой изморози; белая, гладкая, как стол, широкая полоса чистейшего снега простиралась до ближнего лесочка, горячего от красных и желтых листьев. Справа на черной земле, будто вспаханной под зябь, белели аккуратные квадраты взлетно-посадочных площадок, а слева, за дренажными канавами, зеленела трава. И все вокруг — светлое небо, рыжий лес, веселая трава и сверкающий

на железных плитах снег — было чертовски красиво.

В то утро Синев почувствовал себя хозяином этой преображенной земли. И не потому только, что трудился над ней, а еще и потому, что неподалеку, — казалось, рукой подать, — алела на солнце скалистая вершина хребта, на которой снег не таял и летом; то была чужая сторона, и у подножия хребта пролегала граница...

Синев взглянул на вершину; холодная снеговая шапка, подсиненная предвечерьем, колола небо белым штыком. Синев поправил ремень автомата, вышел на центральную линию и несколько минут постоял там, всматриваясь в вершину. Всякий раз, когда он видел этот приподнятый к небу кусок чужой земли, в душе возникало то особое чувство, которое приходит по сигналу боевой тревоги.

Выходил ли он из столовой, подметал ли стоянку, осматривал ли несущий винт, сидел ли в курилке — стоило взглянуть на вершину, как знакомое чувство сжимало душу и отпускало не скоро. Незаметно он настолько привык к нему, что в дальних командировках даже скучал, не видя горы.

И Синев даже вздрогнул, представив себе, что скоро — завтра — он будет преспокойно смотреть из вагона на мирный лес, на поляны, на кирпичные домики путевых обходчиков, на круговорот полей, уставших от лета, — на все, что будет виднеться за окном, он будет смотреть как обычный пассажир обычного поезда дальнего следования и будет думать не о вертолете, а о том, как скоротать время. Возможно, он даже сыграет в подкидного — когда-то он здорово играл, — а то и выпьет рюмочку-другую в полное

удовольствие, и никто, даже патруль, его за это не осудит, потому что демобилизованный в пути следования — человек особый: к нему снисходительны и военные и гражданские власти... Да, с завтрашнего дня его уже не заденет тревога, дежурный по части не вызовет его ночью на стоянку к срочному вылету, не будет привычной команды «подъем». Будет лишь последнее прощальное построение, после которого начнется иная жизнь.

К «девятке» подкатил штабной «газик», забрал экипаж и подъехал к Синеву.

— Ты ужинал, Иван? — спросил Воробьев, высовываясь из кабины широким плечом.

— Да.

— Не сменишься, пока вернемся?

— Нет.

— Не повезло, понимаешь. Думали тебя завтра проводить по-человечески, а тут вылет. Ленка гуся купила — жи-ирнющего... Чепуха получилась...

В экипаже только Воробьев был женат. Давно — третий месяц пошел. На свадьбу принес им Синев хромированную кочергу с наборной ручкой. Со значением был увесистый подарочек.

— Кто ж знал... Выходит, я вас провожать буду. Машина в порядке?

— Нормально. Погода — тоже. Поужинаем, захватим документацию — летим.

Воробьев пожевал губами, собираясь еще что-то сказать, но промолчал, а только кивнул.

«Газик» уехал.

Синев остался один.

Это был тот момент, которого он ждал и ради которого он, собственно, и пошел в наряд дежурным по стоянке.

Синев торопливо, почти бегом приблизился к «девятке».

— Здравствуй, лягушонок, — сказал он, и вертолет подмигнул ему выпуклыми иллюминаторами. Из боковых створок маслорадиатора, напоминающих жабры, выходил нагретый воздух, казалось — вертолет дышал. Синев приник лбом к теплому алюминиевому капоту двигателя и немного постоял так, прислушиваясь к легким потрескиваниям и шорохам. Это остывал после пробы мотор: каждая из двух тысяч лошадиных сил сейчас устраивалась на короткий отдых перед длинной дорогой.

Синев открыл глаза и увидел царапину. Она была хорошо закрашена, так хорошо, что даже сам Синев не различал ее с метрового расстояния. Появилась она давным-давно, эта первая отметина и первый грех Синева.

...В то утро, когда он увидел снег в зеленой траве и почувствовал себя хозяином земли, на станцию прибыл эшелон с вертолетами. Теперь сутки разделились на две части: бо́льшую отдавали вертолетам, меньшую — строительству землянок. Трава пожухла, ее скоро засы́пало снегом, потом южный ветер принес колючие дожди; на сапоги налипали пуды грязи; одежда не просыхала; ржавая вода стекала в ямы, вырытые в центре каждой землянки. Под технические помещения, склады и учебные классы приспособили фанерные ящики из-под вертолетов. Сизые от холода, в чирьях, офицеры и солдаты смотрели на доску, где инженер рисовал силы, действующие на лопасти несущего винта. Гибкая, сделанная из стали и дерева, оклеенная полотном и тонкой фанерой лопасть, прогибавшаяся почти до земли от собственного веса, выдерживала в полете стотонную центробежную силу —

считай, добрая дюжина тракторов вырывала ее из шарниров!

Разрушение лопасти означало катастрофу.

Спасти вертолет мог только Синев. Это казалось просто: надо смазывать шарниры, ухаживать за лопастями...

После теоретической подготовки наступил великий день — первый лётный день в полку...

Поглаживая пальцами царапину, Синев оглянулся на вышку командно-диспетчерского пункта, сверкающую стеклянным верхним этажом, а нижние окна скрывались деревьями садика. Тогда не было ни вышки, ни садика, ни гравийной дорожки, обсаженной топольками, а командир полка руководил полетами из наспех застекленного вертолетного ящика. На наружной фанерной стенке был приколот лист ватмана с надписью: «Даешь полеты!»

Ни кумача, ни красочных плакатов, ни пламенных речей. Сырая, противная выдалась погода, бензозаправщики буксовали, переезжая от одной посадочной площадки к другой, с натужным воем вползали на металлические плиты, разбрасывая жирные комья. Летчики шли к вертолетам по размокшему сытому чернозему, перед входом старательно очищали обувь, но все же грязь попадала и в кабины. Она была всюду — на шлангах заправщиков, на колесах, на подножках шасси, на лицах, светившихся праздником. Чтобы случайная песчинка не попала в бензиновый бак, Синев протирал рыльце заправочного пистолета носовым платком — полагавшиеся для этой цели салфетки еще не поступили на склад.

После полетов Синев начал осмотр.

Широкая десятиметровая лопасть чутко вздрагивала от малейшего прикосновения, дразня Синева,

растерявшегося перед необъятностью задачи: на одной лишь узенькой передней кромке лопасти насчитывались сотни деталей и отверстий антиобледенительной системы, которые механику следовало осмотреть или прочистить. А обшивка? А нервюры? А шарниры?

Стемнело, когда Синев, наконец, спустился вниз на твердую землю. Тут и поскользнулся — отверткой царапнул обшивку.

Лейтенант Воробьев помог ему подняться.

— Устал?

— Никак нет, — соврал Синев.

— А я, брат, натягался. В голове шумит... Ничего, царапина — даже отлично! Память останется. Все-таки день сегодня...

Пожевал губами и не договорил. Стоял лицом к аэродрому, но ничего уже не просматривалось в ноябрьской ночи. Молчал и Синев. И на короткую, запомнившуюся минутку застыли офицер и солдат, техник и механик, — оба взъерошенные, проголодавшиеся, в одинаковых брезентовых куртках, а над ними дрожала, дрожала, дрожала гибкая лопасть, и вдруг обрызгала дождевыми каплями, напомнила: пора зачехлять.

В день, когда полк начал летать, Синев понял: большие дела начинаются просто...

Синев постучал по капотам, проверяя, надежно ли закрыты, и затем поднялся наверх, к втулке несущего винта.

Главнейшими деталями втулки были полторы тысячи невесомых крохотных иголочек подшипников в суставах тех самых шарниров. Однажды Синеву приснилось, что его подушка набита не сеном, а этими вот иголочками; он проснулся и подумал: к чему бы?

В землянке было тихо. Фиолетовая ночная лампа мерцала в спертом воздухе, отражаясь в крупных каплях на потолке. Одна сорвалась вниз, как звезда, прошив фиолетовую ночь искристой иголкой. Комсомолец Синев не верил ни в черта, ни в бога, но авиационный механик и агроном Синев был чуточку, самую малость, суеверен, и оба Синевых решили, что сон не зря. Утром он обнаружил, что за ночь масло из одного шарнира вытекло. Лейтенант Воробьев объявил Синеву благодарность. То было первое спасибо, которое передал Синеву вертолет.

Синев встал на верхушке вертолета в полный рост. Отсюда стоянка была как на ладони — пост лучше не надо. Солнце скатилось за горизонт, прикрывшись розовым одеялом; к стоянке уже подкрадывались прозрачные сумерки. На лицо мягко пристала паутинка бабьего лета, он смахнул ее шершавой ладонью и полной грудью вдохнул чистый, с горчинкой сентябрьский воздух. Все было спокойно кругом, и шорох листьев, перекатываемых по железным плитам несильным ветром, делал царившее вокруг безмолвие по-деревенски уютным. Сухие листья веселыми веснушками усеяли стоянку, но возле «девятки» их не было: при опробовании несущего винта унесло воздушным вихрем.

— Пузатый ветряк!.. — пробормотал Синев, присаживаясь на стальной корпус втулки.

Вихрь был постоянным спутником вертолета.

Он был другом, когда поддерживал машину на посадке воздушной подушкой; благодаря ему вертолет приземлялся даже с выключенным двигателем.

Но порой он становился врагом.

Как-то на долгом маршруте их прижал снежный заряд. Летели над лесом, и командир едва нашел «пятачок» для посадки. Снег заставил ждать несколько часов, и экипаж обедал промороженной колбасой и хлебом. Потом снег перестал; пушистый, нетронутый, он лежал на поляне легким ковром. «Как в сказке», — подумал Синев, а командир хмуро промолвил:

— Не было хлопот — купили порося.

Уже с первыми оборотами винта поднялась пелена взвихренного снега. Из молочного колодца, среди грозящих деревьев машина поднималась на ощупь; огонь фары не помогал, и командир ее выключил. Та секунда, когда внезапно исчез внешний успокоительный свет и в иллюминаторы заглянула серая мгла, запомнилась Синеву. Краем глаза он посматривал на рычажок дверного замка: перед вынужденной посадкой он был обязан открыть дверь, чтобы ее не заклинило при ударе и чтобы успели выскочить люди, но мысленно был в кабине летчиков, где командир с помощью ручек и педалей управления вслепую проталкивал по узкому колодцу огромную плоскость, сметаемую несущим винтом...

Через несколько дней Синев преспокойно сидел в кино и в ожидании сеанса высчитал, что площадь их полкового клуба немного меньше той, которую поднимал на своих плечах командир.

Да, зимой они разбогатели. Были построены и теплые казармы, и добротный штаб, и клуб, и было весело смотреть, как бульдозер стесывал их убогие землянки, — на том месте сейчас стадион. А к весне был заложен первый дом для семей офицеров.

Весна принесла много забот.

— Ты помнишь, подлец? — подпрыгнул Синев на

своем стальном стуле, и все лопасти озорно помахали тонкими законцовками.

— Шуточки... — погрозил Синев. — Чуть не скормил меня рыбам. Помнишь?

...Их экипаж дежурил. Синев играл с командиром в шахматы, украдкой поглядывая на свой значок отличника — тяжеленький, с голубой и красной эмалью. Он появился у него недавно. Новый значок с золотым щитом и мечами сиял и на груди командира, и он тоже порой скашивал взгляд, только при этом хмурился.

За окном стоял туман — пора для дежурства благодатная. В такую погоду самое время играть в шахматы, читать книгу, а то и соснуть. Нет видимости — нет полетов...

Зазвонил телефон. Командир, не отпуская ферзя, взял трубку.

— Обед везут?.. Так вроде рано, — поднял сонную голову Воробьев.

Трубка говорила достаточно громко: солдат из какой-то части решил прогуляться по заливу, а льдину унесло. Надо искать.

— Иголку в сене... — протянул Синев.

— Человека в море, — поправил Воробьев.

— Взлет! — подвел итог командир.

Но не туман оказался врагом, а все тот же вихрь. Со скоростью урагана воздушная струя от винта била в небольшую льдину. Солдат упал на нее и не шевельнулся даже тогда, когда веревочная лестница сбила с него шапку. Шапку тотчас отшвырнуло в воду.

— Синев! С гамаком — на льдину, — приказал командир по радио.

Синев спустился на лед, положил мычавшего солдата в гамак. Когда Воробьев поднимал его, спелена-

того, в машину, льдина треснула, и меньший ее кусок, на котором остался Синев, залила волна.

Синев упал в эту пенистую волну и впился ногтями в рыхлый лед. Спину и грудь лизнуло мертвым холодом, а в следующую секунду уже все тело было в воде. Вихрь забавлялся льдиной, как резиновой игрушкой, и она выскальзывала из-под вертолета и из-под пальцев Синева.

Вдруг ветер стих — машина отошла в сторону. Синев осмотрелся. Льдина показалась ему совсем крохотной; все же она держала его, и на том спасибо. Вертолет поднялся метров на тридцать, Воробьев опустил на тросе спасательный пояс, и через минуту Синев был в кабине.

Борттехник и штурман сорвали с него одежду, поделились своей, дали спирту, сунули в спальный мешок.

Когда они вернулись к своим делам, Синев высвободил одно плечо, другое — полюбовался погонами штурмана; на каждом — по две звездочки. «Это тебе не значок», — подумал Синев и подмигнул спасенному солдату. Но солдат еще не очнулся от морского путешествия и смотрел куда-то перед собой, чуть шевеля спекшимися губами...

В ту весну они летали каждый день. Возили грузы в совхозы, отрезанные паводком от города, спасали рыбаков, доставляли врачей и больных.

Синев считал, что эти «гражданские» дела отрывают их от главного; порой машина уходила не в учебно-боевой полет, а куда звала ее беда. Часто поднимались и в нелетный день, и тогда осматривать машину приходилось вечером; не раз чинили ее до поздней ночи, а утром — снова на полеты.

— Да что мы, скорая помощь? — однажды возмутился Синев. — У нас своих забот по горло.

— А те — чьи? — отозвался Воробьев. — О тебе, понимаешь, в газете, командир, понимаешь, благодарности...

— Да при чем тут! — шмыгнул Синев простуженным носом.

— Нет, что говорит солдат, когда начальник его благодарит?

— Служу Советскому Союзу.

— Точно! Вот и мы служим... Союзу — это значит людям. Не пространству же... Главнее заботы нету, Иван.

Сошел снег, растаяли льды, и подсохла грязь вблизи посадочных площадок. Вертолеты взлетали в клубах рыжей пыли. Она оседала на шарниры, вгрызалась в подшипники, опасно забивала чувствительные жиклеры. Однажды после полетов Воробьев снял фильтр гидросистемы и выругался, длинно, громко, забористо. Синев встревоженно выглянул из грузовой кабины.

— А, ты здесь... кхм... — кашлянул борттехник. — Дело неважнец, Иван... Какое, говоришь, кино в клубе?

— «Председатель»... Первая серия.

— Будет нам с тобою кино: гидросистему промывать. Как раз до отбоя.

Не только они задержались допоздна — и на других машинах сердито звенели гаечные ключи. Сладковатый аромат гидромасла пропитал неподвижный воздух. По цвету масло напоминало кровь, и дорогое было, как кровь, и служило оно вертолету кровью: пульсировало в жилах, соединяющих руки летчика с несущим винтом, омывало внутренности точнейших автоматов системы управления — и малая пылинка могла причинить в полете непоправимый вред.

На фильтрах была пыль, вертолетам потребовалось срочное переливание крови.

Инженер, осунувшийся за последние дни, сам руководил сложной операцией. Когда он расписывался в формуляре «девятки», Синев сказал:

— Между площадками травой надо засеять, и пыль пропадет.

— Это, брат, ясно... Теоретически. А практически — нет семян, одни бумаги. Исходящие и входящие. Нет пырея! Сорняк, дрянь! Нету!

— И другую можно: почва богатая.

— Не трави душу, Синев. И вообще... В аэродромном управлении люди с авторитетом... «Богатая!»

Молчавший до этого момента Воробьев набычился и угрюмо бросил:

— Синев — агроном, товарищ капитан.

— Помощник агронома, — уточнил Синев.

— Хм... Запамятовал... Тут мать родную забудешь.

На следующее утро Синева пригласил командир полка. Разговор был недолгий. На вертолете, как какой-нибудь генерал, Синев облетел совхозы, и нигде не встретил отказа; и даже сеялку дали, хотя была весенняя страда.

Скоро вокруг площадок зазеленело, зацвело разнотравье. Пыль исчезла.

А летом были учения, учения, учения...

Синев взглянул на часы, — экипаж вот-вот должен вернуться.

Часы были старенькие, с разбитым стеклом, истертым поцарапанным корпусом. Он похлопал рукой по широкой лопасти и, удерживаясь за скобы, ловко соскользнул с вертолета.

— Измордовал ты нас, головастик.

Вертолет обиженно промолчал.

— А ведь еще целый год был! Осень, зима, весна, лето... — бормотал Синев, обходя вокруг машины. Задняя опорная пята чуть поржавела, и ее следовало подкрасить. У хвостового редуктора натекла черная капля смазки, Синев протер ее ладонью.

И подумалось: есть ли на «девятке» такой кусочек, такой винтик, которого не коснулись бы его пальцы? На который бы он не подышал?

— Ты не забывай меня, железка, — Синев тронул антенный трос, и он басовито загудел.

— А звездочки-то не нам с тобой... Зачем? Тебе самолеты сбивать не придется, а я... домой поеду. Техникум есть, а будет время — закончу сельскохозяйственный. Дед-то у меня, знаешь, старый. Совсем старичок.

Синев взглянул на чужую скалу, что темным ножом упиралась в мирное небо, и после раздумья, добавил:

— Буду ефрейтор запаса. Звучит?

Ветер бросил на стоянку осенние листья, один, резной, еще не высохший, припечатался к куртке. Синев взял его, усмехнулся и спрятал в карман. Потом вынул бумажник и вложил лист в записную книжку.

— Ты длинные концы проволоки оставляешь, — сказал Синев Голубеву. — Гайку контрить надо точка в точку.

— Ладно, — Голубев уже его не слушал. Он торопливо снимал чехольчики с датчика воздушной скорости, относил в сторону колодки-упоры, суетился у ящика.

— Пяту закрась...

К Синеву подошел Воробьев, за ним командир и штурман.

— Закурим, Иван?

Пачка сигарет тонула в большой ручище борттехника.

— Так вылет же.

Отошли в сторону. Давил плечо Синеву ремень автомата, будто стопудовый, горбил спину.

— Ты говорил, к деду поедешь... Не передумал?

— Железно. К деду... К земле.

— Счастливо, Ваня.

— Иван... Подарок тебе. Держи!

— Спасибо... — Синев деревянными руками спрятал коробочку. — Спасибо.

...Рявкнул на весь аэродром мощный динамик, требуя взлета. Засветился огнями вертолет, звонко стрельнули дымом выхлопные патрубки, и пошел, пошел размашистыми кругами несущий винт, сияя ограничительными белыми огнями на лопастях. Голубев, как положено, стоял на земле впереди и слева, у огнетушителя, Синев подбежал к нему, весь нараспашку, обнял.

— Я постою, Сережа. Последний раз... Садись!

И крикнул вдогонку:

— Желаю тебе!..

Несущий винт набирал разгон; вертолет закачался с боку на бок, обдувая разгоряченное лицо Синева ласковым вихрем, а он ловил ноздрями воздух, которым дышал вертолет и, не отрывая глаз, смотрел на его крутые бока, на длинную хвостовую балку, на огни, отраженные иллюминаторами, на открытую кабину, где сидели летчики и стоял борттехник, — и ему казалось, что то не кабина открыта, а душа вертолета распахнулась ему навстречу.

Командир запросил по радио разрешение взлетать и требовательно взглянул на Синева.

Механик привычно посмотрел, убраны ли колодки, не появилась ли течь, сняты ли все чехлы, не открылся ли случайно какой-нибудь лючок, — и приложил руку к головному убору.

Так было всегда. Последнее «добро» на взлет дает не маршал, не инженер, не другой какой чин — его дает механик.

И, получив это последнее благословение земли, вертолет взмыл в вечернее небо...

Синев поставил на место огнетушитель, и пошел в обход стоянки. Рокот вертолета все удалялся, слабел, и теперь его заглушало ворчание земли под плитами.

— Терпи, — шепнул ей Синев. — Ты служишь еще...

Он включил прожекторы — стоянка была пуста и спокойна; от караульного помещения шли часовые с разводящим.

— Ты служишь еще, — повторил Синев, — а мне идет смена.

Он вынул из планшета старую ведомость, чтобы сдать ее в штаб, и ощутил в кармане нечто постороннее. «Подарок!» — вспомнил он.

То были часы. Командирские часы со светящимся циферблатом, календарем и маленькой звездочкой. На крышке было выгравировано:

«Ивану Синеву от друзей и вертолета № 9».

Вячеслав Усов

ДУША МОЯ

Повесть

1

Из колонии сбежали двое: Кирилл Кумков, молодой, но неудачливый фарцовщик, и Санька, мелкий жулик — щипач с периферии.

Сроки у обоих были терпимые, да ребята нетерпеливыми оказались. А тут еще и случай подвернулся: вспыхнула тайга. Все, кто был на лесоповале, бросились без команды тушить, потому что таежный пожар — дело страшное, смертельное, он виноватых и

невиноватых разбирать не станет. А Кирилл, как увидел дым надо всей лесной планетой, так в его мозгу какой-то рычажок стронулся, и он здраво соображать перестал. Невиданное, небывалое заварилось вокруг, безумное, огненное, рисковое, от чего отвык за два года занудной жизни, и почудилось: чему-то конец настал, все стало можно. Санька тоже вовремя подвернулся. Выскочил из-за лесины, нож-самоделка в лапе, глаза пьяные, кричит:

— Случа́й! Другого не предвидится!

— А конвой? — просипел Кирилл, чувствуя уже, что теперь, по такому случаю, его никакой конвой не удержит.

— До нас ли ему! — крикнул Санька громче прежнего и в тальниковых кустах пропал.

Мимо Кирилла молодой солдат пробежал и исчез в дыму.

Кирилл посмотрел Саньке вслед, и показалось ему, будто за ним трава тлеет огненной дорожкой, путь показывает. Посмотрел, папу с мамой вспомнил и побежал.

Папу с мамой он не зря вспомнил: на суде, когда засыпался у Европейской гостиницы, внушали они хором, что он дурному влиянию подвержен: что будто с других, как вода, скатывалось, в том он захлебывался. И адвокат тогда на впечатлительность напирал, стихи Кирилловы зачитывал про жизнь. В колонии Кирилл блатные песни научился сам сочинять — да так похоже... Словом, пластилин: лепи, кого хочешь. Хоть такого, как Саньку, вон он, как заяц, меж елок мечется, торопится перейти на нелегальное положение. Саня, Саня, куда ты! Тебе же всего два года осталось!

— Да мне год, — крикнул Кирилл. — Итого три. Много.

Настолько дым над тайгой рычажок у него сдвинул, что не показалась ему странной и такая арифметика. Вот бы посмеялись ребята, научившие его марки в рубли переводить!..

— Давай! — надавил Санька, прыгая в ручей.

«Собак сбивает», — сообразил Кирилл, хотя какие уж там собаки, — волки, наверное, тронулись со страху.

Чем дальше убегали они от пожара, тем легче дышать становилось и тише на душе. Так тихо, что дважды подумал Кирилл, не вернуться ли... Но Санька вперед убегал, а одному возвращаться в огненную тайгу не хотелось. Лес пошел с прогалинами, со светлыми полянками. Перед каждой прогалиной думалось: вот выскочим сейчас на тракторную дорогу, побегу по ней, прямо в колонию приведет. Но просвет оказывался не дорогой в колонию, а новой полянкой с огненной тропкой по Санькиным следам — неверной тропкой на свободу. Ах, свобода, таежная русалочка! Без конца ты ни за что нас обманываешь, покоя не даешь! Вот и эти двое — бегут за тобой, высунув сухие языки, и тальник хлещет по их печальным от усталости лицам, и сердца стучат от страха громче собачьего лая. Нет, никто не пошлет за ними собак, у начальства свои, пожарные хлопоты.

Бежали и шли они по солнышку часов, наверное, семь. В прежние, городские времена не выдержал бы Кирилл такого марафона, а тут — то ли на лесоповале окреп, то ли со страху — начал Саньку обгонять.

Потише побежали. Санька, задыхаясь, приговаривал:

— Вот еще долинку, да еще долинку, да через сопку переберемся, там отдохнем.

Кирилл на последней усталости еще долинок десять протянул. Наконец, местность на понижение

пошла — впереди большой ручей. Теперь, наверное, и Вилюй близко — значит, далеко ушли. Солнце перевалило на западную часть неба. Санька решил:

— Тут вряд ли догонят. Гляди — речка.

Сквозь заросли засветился широкий перекат. И берег, и русло в звонкой белой щебенке. Ноги не держат, скользят. Белоснежные всплески в русле режут глаза. Ветка ивняка упала в прохладную струю и блаженно шевелит продолговатыми листьями.

Осторожно раздвинув кусты, беглецы перебрались на другой берег и почувствовали себя в безопасности.

Стая мошек танцевала в тяжелом от предвечерней жары воздухе. В прозрачной глубине омута личинки водили хороводы. Мошкара и личинки огненно блестели, добела раскаленные солнцем. Под стеклянное бульканье струй они медленно кружились, крохотные звезды так низко над беспокойной землей.

В кустах заматерился Санька:

— Перестань сверкать башкой, чучело! Может, ты думаешь, тебя плохо видно?

Кирилл спрятался, вздохнул. Тальник качнулся.

— Нам теперь жалеть поздно, Саня.

— Именно поздно. Что дальше делать будем?

— Не знаю... Мы далеко ушли, как думаешь?

— Порядком... Убегали — роса была. Километров пийсят, если не больше.

— Да, далеко...

— Уж не вернешься, сил не хватит, — поддел Санька.

Кирилл промолчал.

Санька тоже подполз к перекату, попил, как лошадь. На языке было горько.

— Чайку бы, — сказал он.

Кирилл спросил:

— Саня, ты который раз бежишь?

— Первый, — неохотно признался Санька.

— Первый? А я думал — у тебя опыт... Когда первый раз сидел, не бегал, значит?

— В первый раз я всего на год сел.

— А я думал — опыт у тебя...

— Дурак ты... Тихо!

Они примолкли. Звенел перекат, тальник шептался. Не слышно было ни шагов, ни голосов человеческих.

— Чего ты?

— Молчи!.. Вот.

Теперь и Кирилл услышал. Сквозь бормотанье струй из глубины тайги шел на них как бы топот страшной толпы, дышащей тяжело, с нечеловеческим всхрапом. Шел не с той стороны, откуда ожидалась погоня, а из зарослей, где они думали укрыться.

— Не могла охра обойти нас, — неуверенно шепнул Санька.

Близился тяжелый топот. Кирилл вдруг заметил, что сидят они прямо на тропе со свежими непонятными следами. Санька проследил за его растерянным взглядом и бесшумно, как змей, скользнул в чащу. Долго петляли они среди лиственниц и елок, пока не наткнулись на каменный останец метра три высотой, похожий на пьедестал к памятнику. Его плоская вершина заметно возвышалась над тайгой. По крутому склону Санька и Кирилл забрались наверх.

Отсюда, как с вышки, открылись им река, голубая пропасть тайги и синие окна болот. Они увидели тропу, ведущую к реке, старую вырубку и дым. Одинокий дым над безлюдной тайгой озадачил, но не испугал их: погоня разводить костры не станет. Дым шел из низкого плоскокрышего строеньица, крытого землей и мхом.

— Хатон! — изумился Санька. — Баня, что ли?

Верно, дымила баня. В другом углу вырубки было жилье, похожий на землянку погреб и множество других следов неторопливого труда человека: подрубленная сосна, груда дров, копна сена, золотая россыпь консервных банок.

— Лошадь! — вскрикнул Кирилл.

Санька с размаху ударил его по шее, придерживая, чтобы не упал:

— Убью, зануда!

Притихший Кирилл смотрел и не верил глазам. По тропе, где они только что отдыхали, неслышно спускалась к реке белая, как облако, лошадь. Это она хрустела в тайге сучьями, а на открытом берегу, усыпанном колючим щебнем, будто по воздуху плыла, аккуратно подымая копыта. Она так захватывала внимание, что стоило труда рассмотреть за ее сверкающим крупом низенького старичка в блеклой, под цвет тайги, телогрейке и выгоревших до белизны штанах. Он подвел лошадь к омуту танцующих звезд и что-то сказал ей. Лошадь послушно вытянула шею, глянула в подвижное кривое зеркало и стала пить. Поднимая голову к солнцу, она роняла в воду кварцевые капли. Старик оглаживал беспокойные бока ее, отгоняя паутов.

— Как пить хочется, — вздохнул Кирилл.

— Врешь, тебе хочется, чтобы погладили, — съязвил Санька.

— И вымыться...

Саньку тоже растрогал вид жилья. Ему больше не хотелось дразниться. Он мирно напомнил:

— Третьего дня в бане были.

— Нет, какая это баня! Я в эту хочу — чтобы одному на просторе помыться, чтобы никто на тебя

не плескал и мочалку не воровал... Как в ванне, а, Саня?

— Я в ванне раз мылся в больнице, мне не понравилось.

— А у нас на Лиговке...

Кирилл замолчал, задумался. Только теперь он окончательно понял, в какую страшную историю втравил его Санька. Вместо того чтобы потерпеть какой-то год, бегай теперь всю жизнь по Союзу, скрывайся и не вздумай домой показаться: там-то тебя и ждут... Не видать ему больше ни Лиговки, ни Обводного, ни распроклятой Европейской гостиницы, где на беду себе научился он переводить любую валюту в рубли.

— Гад ты, Санька! — крикнул Кирилл отчаянно и ударил кулаком по глыбе. Кулак заболел.

Санька продолжительно посмотрел на него и спросил:

— Сосунок. Чего ты раньше думал?

— Если бы я раньше думал! — с тоской протянул Кирилл.

— Ну, заныл. Слушай, а может, нам шлепнуть старичка?

Кирилл отодвинулся к краю останца:

— Ты чего говоришь?

— Жрать мы должны или нет?

— Ну уж... Украсть в крайнем случае.

— Укради, — он милицию из района вызовет, на след наведет. Он тут всю тайгу насквозь знает.

— Нет, Саня, ты, наверное, пошутил насчет этого... А, пошутил, Саня?

— Ладно, пошутил. Еще денек-два так пошутим и копыта отбросим. Разве что друг друга сожрать?

— А?

— Чего ты все вздрагиваешь? А между прочим, раньше урки в побег втроем ходили. Двое бегут, третьего на закуску. И никто не знает, кого точно. Называлось — «побег с теленком».

— Ты откуда это знаешь?

— Слыхал, — буркнул Санька неохотно, как всегда, если приходилось признаваться, что рассказанная страсть не с ним случалась, а с другими. Всегда ему хотелось страшней казаться, чем был он на самом деле, и это временами томило его, как иных томит затяжное безденежье.

— А если просто зайти? — предложил Кирилл. — По-хорошему попросить.

— По-хорошему мне еще никто не давал...

— Саня, а ты посмотри, как он лошадь оглаживает, — сразу видно, добрый. Может, выйти?

— Закройся ты, выходец! Хошь — иди! Но если влипнешь...

— Нет, теперь уж я не хочу влипать.

— Тогда молчи. Дай подумать. Значит, имея еды дня хотя бы на три, мы куда уйдем?

Солнце потянулось к закату. Прощально зардели поднявшиеся навстречу ему протуберанцы дождевых облаков. Ночь обещала быть сырой и холодной. Кирилл вспомнил свои нары в бараке, Санька, косся злым глазом на горячечный закат, мечтал о незаметной краже.

— Пришить старика, и концы в воду, — снова забормотал он. —Избу оставим в порядке, тело в подпол спрячем, люди придут, скажут: сено ушел косить старичок...

— Перестань, — попросил Кирилл.

Санька, устав от мыслимой своей жестокости, охотно замолчал. Сглотнув голодную слюну, решил:

— Айда спать. Может, удастся покимарить, пока тепло. А утром еще подумаем.

Они сползли с останца и стали искать место для ночлега. Ходили тихо, ставя ноги между хрупкими сучьями и боясь шуршать прошлогодним листом. Набрели на полянку, богатую зеленой голубикой.

Наконец на склоне сухого распадка нашли развесистую ель, нарвали мха, устроили постели. Не снимая сапог, забыв о горящих от долгого бега подошвах, упали в мягкое, теплое. Через минуту оба спали, словно провалившись в глубокий шурф.

А где-то далеко догорал лесной пожар и команда из пяти солдат без особой веры и старания искала их тела.

Когда стемнело, закапал дождь. Санька вытеснил Кирилла из-под елки — привычка у него была такая, толкаться во сне. Ворот у Кирилла намок, струйки побежали по позвоночнику. Кирилл проснулся, тоска, раскаянье и злость на Саньку снова поднялись и забродили в нем, — он заворочался и вроде бы нечаянно откатил Саньку в сторону, со своего законного места под елкой. Тот пообещал, не просыпаясь:

— Убью.

Кирилл молча устроился на Санькином месте, прижался к его сухой спине и уснул. Снились ему почему-то ванна и страшный, неожиданный плач отца в день суда.

На рассвете Кирилл проснулся от кашля. Он зажал рот рукой — показалось ему, будто кашель гремит на всю тайгу. Его бил озноб. Он все крепче прижимался к Санькиной жесткой и почему-то шершавой спине. Ненадолго ему удавалось согреться, он задремывал, и тогда ему ясно представлялось, как солдаты с собаками ищут их, как верещат где-то в районе и области

служебные телефоны, как объявляется всесоюзный розыск. Всесоюзный розыск во сне имел вид тонкой капроновой сетки, покрывшей всю землю. Ячеи у сетки холодные и тугие, как мокрый воротник.

Когда Кирилл замерз и проснулся окончательно, он понял, почему у Саньки такая жесткая спина: все утро он прижимался к стволу елки. Над елкой висела тяжелая, как ком сырого теста, дождевая туча. Сквозная крыша над головой исходила слезами.

Санька исчез.

2

В налаженном хозяйстве деда Санька разобрался сразу, но не потому, что был опытным вором, а потому, что примерно о таком мечталось ему в минуты тоски или усталости от сложных и недобрых отношений с людьми. Родом Санька был коренной сибиряк.

В ближнем углу вырубки стоял жилой хатон. Он был немного задвинут в глубь леса, и оттого даже в пасмурную погоду на нем лежали сетчатые легкие тени. Стоячие бревна наклонных стен его за долгие годы приобрели мягкий блеск дорогой светлой полировки. Санька положил ладонь на теплое бревно, и она перестала дрожать. Он подержал так руку, расслабился, подумал ни о чем... Потом встряхнулся и стал пробираться к погребу.

Над погребом тоже был старый сруб. Стены его были так же наклонены, отчего дверь захлопывалась сама, будто у звериной ловушки. Подумав, Санька в погреб не полез, боясь напакостить в темноте, набить банок-склянок, оставить след. Если уж в доме нет ничего, тогда... Он вытер ноги о траву и вошел в хатон.

Полчаса назад он проследил, как старик с собакой спозаранку отправился вверх по речке со снастями на рыбалку. Однако полной уверенности в том, что дед живет один, не было. Санька постоял в дверях, задержав дыхание вместе с избяным, хлебным запахом, послушал, от напряжения вздрагивая ушами, и только тогда тронул внутреннюю дверь. Она растворилась тихо на кожаных мягких петлях и так же тихо закрылась за Санькой. Впервые за два года он оказался в отдельном человеческом жилье.

В первую минуту Санька даже не знал, на что глядеть. Поглядел на тусклые доски икон в зеленоватых медных окладах, отвернулся. Осмотрел стол из горбыля, скамейки, полки с посудой. Узрел в другом, противоположном иконам, углу самогонный аппарат. Покачал головой: ай-ай-ай!.. На нары с лохматым одеялом и медвежьей подстилкой даже смотреть не стал. Соскучился.

Соскучился — и на самом видном месте усмотрел хлеб.

Круглый хлеб лежал посреди стола, усыпанного крошками, рядом с солонкой и тарелкой из-под щей. В ней остались два листика сушеной капусты. Санька потрогал хлеб, и хлеб прогнулся под его грубым черным пальцем. Ему ни с того ни с сего стало стыдно трогать чужой хлеб немытой рукой. Он смел со стола крошки и слизнул их с ладони. Потом съел оба коричневых, горьковатых капустных листика. И лишь когда разбуженный голод его разыгрался отчаянно, он выхватил нож и тонко, как бритвой, откромсал от буханки первый ломтик. Затем еще и еще раз откромсал, стараясь, чтобы хоть с виду кусок не убывал, сохранял прежние пропорции. Попутно он соображал, что в погреб все равно придется лезть.

На пятом куске он остановился, удержал себя, попятился к двери. Дверь так же бесшумно выпустила его. В сенях он поднял голову и заметил под потолком связку сушеной рыбы.

Сухих как щепка, крупных засоленных хариусов было штук тридцать. Они висели, цепляясь верхними губами за крючки, — в таком виде дед их, наверное, и вялил на солнце, а теперь спрятал от дождя. Санька снял десяток — связка не убавилась. Он добавил еще двух и вылез из хатона совсем.

Пока Санька ковырялся в избе, с запада приползла новая туча и потекла, как дырявый сапог. В такую погоду даже в колонии, случалось, актировали день. И задумался Санька о тепле, о крыше, о стариковском хатоне: как тихо, без суеты и злобы, живет здесь старик с лошадью и собакой, и никто не трогает его, и он не цепляется ни к кому, и даже украсть нечего у него, а ему на это наплевать. Он другим чем-то, а не барахлом живет, только непонятно чем. Вот — иконы у него, может, он боговерующий? Не просто боговерующий, а как следует, вроде сектантов...

«Дак лазить мне в погреб?» — спросил сам себя Санька и решил, что слазить придется, на десяти рыбах далеко не уйдешь. В погребе консервы могут быть, крупа. Каши с тушенкой Санька съел бы сейчас мисок пять.

Он бросил на траву рыбу — хариусы упали с костяным стуком — и полез в погреб.

Ступеньки лестницы обледенели от подземной мерзлоты, а на стенках нащупывался лед. Санька нашел ногой свободное место на дне, присел и стал шарить вокруг.

Первым он нашарил круг сухой прессованной капусты. От него дед уже отломил кусок, — наверное,

на те самые щи. Дальше стоял ящик с вермишелью и сухой картошкой. Санька наложил за пазуху сначала вермишели, а когда некуда стало класть, добавил картошки. Вермишель хрустела и кололась.

Он пошарил еще и наткнулся на стеклянную банку. Долго вертел ее, пока не догадался понюхать. Из-под крышки тонко потянуло огуречным рассолом.

Огурцы на севере великая редкость и радость, особенно в Санькином бывшем положении. И хотя овощь эта не слишком витаминная — в кислой капусте, говорят, витаминов больше, — нет для северного человека запаха слаще, чем огуречный. Лучше всего, конечно, свежий огурец, но от соленого тоже голова кружится. Санька как взялся за банку, как понюхал, так больше и не отпускал.

Свободной рукой он, правда, еще вокруг полазил, но больше в погребе ничего не было. Главное — банка оказалась единственной. Санька, забыв осторожность, твердо решил увести ее.

А стояла вокруг ледяная тьма и подземная глухая тишина. В такой тишине слышит человек одного себя: как сердце у него стучит, как урчит в пустом животе, и другое, совсем тихое, тайное про себя самого слышит он. Наверху, на шумной воле многое сбивает его с толку, отвлекает от себя. Беден человек минутами тихого одиночества, зато и приходят ему на ум в такие минуты интересные и неожиданные мысли.

Сейчас почему-то вспомнилось Саньке не идущее к делу — самогонный дедов аппарат. Вот нагонит дед отравы, думал он, припрячет в подпол, к празднику, в праздник вытащит на стол, ухи наварит, рыбы нажарит, хлеба свежего напечет и накромсает толстыми ломтями. Сядет сам с собой, полстакана нальет, зажмурится. Рядом рыжий пес сидит — друг-приятель.

Дед скажет ему что-нибудь подходящее к празднику и выпьет. Потом — шасть-шасть рукой по столу: чем закусить? А вот они, огурчики! Вот они, последняя радость стариковская! И — остатками зубов да задубелыми деснами — хруп-хруп! Пес морду вытянет, поинтересуется, что хозяин ест. Дед даст нюхнуть ему самогону, огурчика отрежет — пес мордой закрутит, обидится...

Санька посидел в темноте, помечтал, потом поставил на место стеклянную банку, отлепил от нее пальцы и полез наверх.

Наверху светло, тепло — даже дождик после ледяных стен горячим кажется. Придерживая рубаху с вермишелью, нагнулся Санька за рыбой и услышал за спиной:

— Гр-р!

Звериный голос не испугал его — он только человеческого окрика боялся. Разогнувшись медленно, он скосил глаз назад и увидел пса — рыжеватую, не самых чистых кровей, лайку. Гордо подняв остромордую головку и выгнув точеную спину, она тихо рычала на Саньку, словно выговор делала.

— Но! — возразил Санька, улыбаясь. — Разоралась за полкило вермишели. Хошь рыбки, дурочка?

Рыбки лайка не хотела. Пока она отказывалась, Санька оглядел вырубку. Хозяина не было — очевидно, собака прибежала раньше. С хозяином она бы сейчас такой хай подняла...

— Кончай, — сказал он и снова потянулся за рыбой.

— Р-р-р! — заругалась лайка.

— Ладно, я же по-человечески, — Санька медленно пошел за погреб, подтягиваясь к еловым зарослям. — Пошли, пожрем за компанию.

Лайка побежала следом. Очутившись в лесу, она перестала рычать, а когда Санька, присев на пенек, стал рвать зубами хариуса, согласно вильнула хвостом, показывая, что не возражает, хотя рыба и хозяйская.

«Непонятно, — подумал Санька. — Пришел страшный, чужой человек, бродяга, — они на бродяг натасканы не хуже, чем на медведей, — а она не лает. Почему, спрашивается вопрос? У доброго хозяина, говорят, и собаки добрые. Может, толкнуться к старику?»

Чувствуя, как собачий бок греет ногу, облепленную мокрой штаниной, он неторопливо грыз рыбу и глубоко, спокойно дышал сырым лесным воздухом. Хорошо сидеть так, никуда не торопясь, не убегая, отходя душой. Хорошо, что собака все крепче прижимается к озябшей ноге, что дождик молодыми иголками пахнет, что рука не дрожит — с тех пор не дрожит, как Санька ее на полированное бревно хатона положил. «В таком покое да запахе и до ста лет прожить не соскучишься», — подумал Санька, и еще о чем-то подумал — приятном, значительном, но непередаваемом словами. Дождик сыпал мягко, часто, будто детская рука стучала по маленькому кожаному барабану.

— Рыжик! — донеслось с вырубки.

Санька с Рыжиком вскочили.

— Куда тебя занесло? — бушевал посреди вырубки старик.

Рыжик бросился к дому, оглядываясь и приглашая Саньку за собой. У Саньки заныла от холода пригретая нога. Он выплюнул кость, схватил в охапку хариусов и бросился в лес.

— Вот я тебя, блудливая душа! — неслось с поляны.

Замолк детский барабан, и с лиственничных веток посыпались на Саньку тяжелые ледяные капли, промочив его насквозь, до самого, кажется, сердца.

3

Лежа под дождем на вершине останца, Кирилл гадал — совсем бросил его Санька или вернется еще. За годы заключения он отвык от одиночества, и теперь худо ему стало, неприютно. Он мог бы спрятаться от дождя под елкой, но продолжал мокнуть назло неизвестно кому — может, тому же Саньке, как будто чем хуже будет ему, Кириллу, тем и Саньке хуже должно быть. Все еще жил в нем тот избалованный, издерганный мальчишка, который при малейшей обиде или несогласии научился растравлять себя до горчайших слез, представляться несчастным и воображать о себе немыслимые ужасы. Сейчас он воображал, как умрет на вершине останца и птичка-синичка будет выклевывать ему зрачки. Узнают Санька, родители, начальник милиции — спохватятся... Или утопиться можно. Тело на отмель вынесет, замоет. Кololo у Кирилла в глотке, будто ему туда еловую лапу запихали. Горькая еловая лапа дышать мешала.

Кирилл повернулся на спину и, жмурясь от дождя, стал смотреть в небо. Небо походило на застиранный холст с серыми затеками, без голубых прорех. Он представил себя, умирающего, на камне под этим небом, обнимающим бесконечную землю; представил землю — тяжелый шар, опутанный гремящими магистралями железных дорог и потаенными тропами; подумал о том, как легко ему, безвестному и незаметному, затеряться среди этих дорог и тропинок, если бы не предал его друг Санька, а те, кто поставлен людьми

охранять и ловить его, чудесным образом забыли бы о нем. Как о мертвом.

Стучит по иголкам дождь, шныряет по тайге вороватый ветерок. Тонко ноют хилые лиственницы. Тревожно шушукаются приземистые елки. Скулит бурундук. Поет тайга.

«Не меня ли отпевают?» — жалостливо подумал Кирилл, и вдруг услышал быстрые, тяжелые шаги. Бежали они за кем-то, догоняли.

Эх, обернуться бы бурундуком, мышью-каменушкой, еще чем помельче! Совсем пропасть! Кирилл скатился с останца, в кровь изодрав локти, упал в мох, в сырую зеленую кашу, и очутился перед Санькой, таким же мокрым, испуганным, запаленным.

Санька, отдышавшись первым, сказал:

— Я тебе пожрать принес. Живем!

— Живем, — согласился Кирилл, с облегчением и легким разочарованием вспоминая воображаемую свою, художественную смерть.

Санька высыпал вермишель на камень, рыбу сложил рядом. Кирилл схватил горсть вермишели, захрустел, зажевал.

— Рыбу поделим поровну, а лапши жри, сколь хочешь, — рассудил Санька.

— Да, лапшу надо сейчас всю съесть, а то раскиснет, — понял по-своему Кирилл и загреб вторую горсть.

— Какого лешего сейчас? Нам еще идти и идти!

— В какую сторону?

Санька задумался.

Окрестной географии они, конечно, не знали. Вилюйская тайга тянулась на север — до Полярного круга, на юг — до китайской границы. Городишки и поселки раскиданы редко, добираться до них даже

с картой нелегко, да и люди в городишках все на виду: их, пожалуй, вообще лучше обходить стороной.

— Про нас уже везде сообщили, наверное, — тоскливо сказал Кирилл.

— Это дураку ясно.

— Саня, а что будет, если поймают?

— Не знаешь, что ли? — Санька, наевшись рыбы, снова чувствовал себя бывалым и страшным. — Добавят на всю катушку.

— Значит — сколько?

— Лет восемнадцать.

— Саня, что ты, это же вся жизнь пройдет!

— А не бегай, — наставительно заметил Санька.

Кирилл положил обратно недоеденную вермишель. Дождь поливал ее, превращая в вязкую кашу.

— Жуй, добро пропадет! — прикрикнул Санька. — Подыхать будешь, вспомнишь эту вермишель.

— Подыхать? — задумчиво переспросил Кирилл.

Он вдруг улыбнулся. Санька пристально взглянул ему в глаза. Он не любил чокнутых, непонятных людей, от которых неизвестно чего ждать, а Кирилл был явно из таких. Конечно, товарища в бега надо заранее выбирать, да ведь тут случай...

— Саня, ты вот эту песню помнишь:

«Сегодня решил я покончить с собой...»

— Не вой, зануда. Я и так знаю, что ты тронутый.

— Нет, ты мне скажи, ее кто написал?

— Откуда я знаю?

— А как ты думаешь, он жив?

Санька помолчал. Лицо у Кирилла снова было серьезное, нормальное.

— Саня, а ведь он живой!

— Мало ли гадов на свете.

— А поверить трудно.

— Ну, я не больно и верю... А что?

— А то, что я не хуже могу сочинить.

Санька терпеливо вздохнул. Он, конечно, видел в своей жизни всяких субчиков и привык к тому, что у каждого своя блажь. Люди, обиженные на жизнь, любят потрепаться о своих загубленных талантах. Это даже интересно иногда. Но всему свое время. Сегодня, например, не обязательно говорить об этом. Сегодня надо спасаться и сухой ночлег искать. А этот хилый, словно не понимая положения, нацелился на долгий душевный разговор.

Кирилл удобно уселся, вытер губы и с эдаким застенчивым видом, словно через силу, спросил:

— Помнишь, у меня тетрадь отобрали?

— Нашел время...

— Стой. Я еще не хотел говорить вам, что в ней.

— Больно надо. Ты все стишки писал.

— Нет, это мой дневник был, Саня.

— Ну и что?

— Я психанул тогда и говорю: дневник я все равно вести буду, у меня с детства привычка такая. А потом — не стал: лень, обстановка неподходящая, да и на кой черт? Сколько меня потом обыскивали, помнишь?

— У меня из-за тебя, дурака, карты отобрали и три пачки чаю. Якобы не положено.

— Карты? Новые купим, Саня, атласные! И чаю — индийского, высший сорт!

— Цейлонский лучше, — намекнул Санька.

— Ладно... И вот — слушай: они до сих пор думают, что я дневник куда-то затырил. А я заведу его по новой! Начну как бы за неделю до побега, потом про побег (это все с пожаром, точно), про нашу голодовку, а в конце напишу, как, помирая с голоду, решили плыть по Вилюю на плоту — он тут действи-

тельно недалеко где-то проходит. Речка вот эта в него, наверное, впадает. А главное, говорят, там страшные пороги — через них еще никто не переплывал. Улахан-Хаан называется, «Большая кровь». И на всякий случай, мол, — прощайте, которые товарищи и которые граждане, если не увидите нас, считайте, что расплевались мы со своей собачьей жизнью. А если живы останемся, выйдем в первом поселке и сдадимся. А?

— Дураков нынче нет, — неуверенно заметил Санька.

— Слушай, но ведь по Вилюю мы бы в самом деле не проплыли! А другого выхода у нас нет. Пусть они станут в наше положение! И потом я так напишу! — Кирилл сморщился как бы от боли в сердце. — Я так напишу, что кто угодно поверит! Саня, я смогу — судьба же на карте! Точно смогу.

Санька подумал.

— Ладно, а дальше?

— Дальше — подкинем, по течению пустим, я не знаю...

— Сомнительное дело. И долго ты это будешь... сочинять?

— Неделю-две...

— А жрать кого будем? И на чем писать?

— Ну, Саня, это детали, я не знаю.

— Детали... Гляди, размокла лапша-то.

Дождь полил сильнее, смывая с камня остатки белой каши.

— Ешь рыбу, писатель, — неожиданно разрешил Санька. — Сейчас ее намочит, соль вымоет, она тухнуть начнет. Надо было мне еще банок пошарить, — не может быть, чтобы он без банок жил...

Кирилл рыбы не тронул. Мысли его далеко убежали — Саньке не догнать.

Холод все глубже пробирал Саньку, все тошнее, все обиднее на кого-то становилось ему. Вдруг вспомнилось, как в детстве отец его барсучонком звал: чуть что не по нем, забирался Санька на чердак и сидел там, пока обида сама не отойдет... Залезть бы сейчас на тот чердак да отсидеться... Ладно, нету давно того чердака, и отца нету, нечего и слюни распускать.

— Кирилл! — тихо позвал Санька.

— А?

— Как думаешь, уломаем деда?

— Ой, Саня, что ты! За это же...

— Дурак, я говорю — уломаем!.. Выйдем, и в открытую. Понимаешь, у него пес Рыжик, такая ласковая лаечка, вся в него.

— Я не знаю...

— Ладно, я знаю. Иначе пропадем. Без деда и план твой — коту под хвост. Дурацкий план.

Кирилл отвернулся.

— Придумай лучше.

— Ты не ершись. Нам теперь ершиться нечего, нам рисковать надо и ждать, как дело обернется. Повезет с дедом — живем, не повезет — получай свои срока и не икай.

— Я согласен, — сказал Кирилл, ежась и убирая голову в воротник.

— К такой матери эту рыбу, — решился Санька, подымаясь. — Сейчас щей пожрем горячих, хлеба... Считай меня сукой, если дед продаст. Не такой он дурак, чтобы ради благодарности остаток жизни дрожать. Пошли.

Кирилл, не подымаясь, смотрел на Саньку бессмысленным взглядом.

— Ты чего?

— Знаешь что... Напомни-ка мне, что за неделю до побега у нас в бараке случилось. Какое-то важное происшествие, а я забыл... Правда, странно — как я быстро забыл?

— И я не помню. Да зачем тебе?

— Как же — дневник-то...

— Ладно, сочинишь что-нибудь. Пошли, говорю.

— Придется сочинить, — озабоченно пробормотал Кирилл и поднялся с кряхтеньем, разом став похожим на печального старичка.

4

— Что же ты, Рыжик, собачка глупая, не лаешь? Человек чужой, страшный, а ты не лаешь. Или не такой он страшный, как мне показалось? Тебе виднее, конечно...

Дед говорил, как пел, а сам поглядывал на Саньку глубокими глазами и — со страху, так думалось Саньке, — елозил босыми пятками под лавкой. Чтобы не пугать его обилием едоков, Кирилл остался пока снаружи. Для начала Санька предупредил деда:

— Ты, батя, соображаешь, кто я такой?

— По кепочке видать, — тонко отвечал дед.

— Ну, гляди тогда...

— Гляжу. Тебе чего от меня надо?

Санька вздохнул, ему для этого даже притворяться не пришлось. Хлеб лежал на столе такой же круглой краюхой, как оставил его Санька. Тарелку дед убрал.

Дед закашлял — опять со страху или от жадности, решил Санька.

— Да ты не бойся...

— Я не боюсь — в моих летах кого бояться? А поесть я дам, отчего не дать?

— Ну, спасибо. А то третьи сутки — как волки. Вот и рыбы у тебя украли часть...

Опять закашлял дед — потише. Тогда Санька решился:

— Я ведь не один. — Он толкнул пяткой дверь. — Кирилл!

Когда вошел Кирилл — тощий, бледный, тонконосый парень чужого, городского облика, — дед недовольно закрутил головой:

— Эк, урожай на вас ныне, голодающих.

— Он много не съест, — оправдывался Санька. — Он и... там мало жрал.

— Ладно, чего с вами делать. Ешьте да идите с богом. Я вам дорогу укажу.

Санька тронулся к столу, Кирилл — за ним.

Дед выставил на стол кастрюльку с тушеной картошкой, навалил малосольной рыбы, добавил хлеба. Кирилл торопливо и неумело стал обдирать рыбину, высасывая самый сок из-под хребтины, а Санька, очистив, медленно обгладывал ее всю, от хвоста до глаз. Кости с чешуей он сложил на край стола.

— Вон ведро, — указал дед.

— Ничего, — неразборчиво ответил Санька, набив рот картошкой. — Пусть полежит. Добро выкинуть всегда успеем.

— Икономный ты, — одобрил дед, примиряясь со сплющенной Санькиной рожей.

Когда они поели, дед спросил:

— Небось под крышей отдохнуть охота?

— Это — как разрешишь, — замялся Санька.

— Я не против. Можно в бане, можно в сене.

— А не боишься?

— Кого?

— Ну — что воры мы. Уведем чего-нибудь.

— У меня тянуть нечего. Ты, например, чего на воле воровал?

— Фотоаппараты. Я специалист по ним. А он...

— Ладно, я про него не спрашиваю. Мне лишнее знать вредно. Дак это — аппараты. Аппарат — дело пустяковое. Ты стяни у человека сапоги в бане, ему выйти будет не в чем, а стяни аппарат — он проживет.

— Точно ты, как я, рассуждаешь...

— Ничего я не рассуждаю. Ты оставь меня, не тронь, и я тебя не трону. Идите спать, а на дорогу я вам дам. Как вы доберетесь...

— Ладно, и на том спасибо. Пошли, Кирилл.

Они хотели забраться в копну, но дед молча толкнул Саньку к бане:

— Вчера топил, там теплынь...

Санька забрался на сыроватый полок и быстро уснул.

Кирилл не спал. Из того, что говорил дед, он понимал, что приюта здесь ждать не приходится. Правда, старик оказался действительно добрым, приветливым, и даже теперь, когда они легли спать, пошел вдоль вырубки дозором, пустив вперед Рыжика. Что-то в голосе его, в сумрачном внимательном взгляде, оценившем беглецов как бы по качеству шкурки, убеждало Кирилла, что не все потеряно. Он бессонными глазами следил за дедом из оконца и прикидывал, о чем тот может сейчас думать. Казалось ему, что мысли старика можно угадать, потому что они у него простые, незатейливые.

Конечно, на душе у него неспокойно, и за себя страшно, и этих проходимцев жаль. Кириллу на его месте обязательно было бы жаль. Но, с другой стороны, не хотелось и нарушать свою тихую, никакими терзаньями совести не омраченную жизнь,

а совесть у деда — соображал Кирилл, — вероятно, чиста.

Вот он идет и думает: дам им сухарей, рыбы, банок — пускай бегут. Дело не мое. Вот, проходя мимо бани, представил, как поволокутся они, раздетые и непривычные к лесу, через всю великую матушку-тайгу, и зажалел, закручинился дед, даже головой замотал. Добрался до поленницы дров, и к жалости непонятным образом примешалась другая, трезвая мысль, что два здоровых парня в хозяйстве не помеха. Решил спросить Рыжика:

— Пес, у тебя голова свежее. Пригреем их для разводу?

— Р-ральф! — сказал Рыжик и покачал головой.

— Страшно, — согласился дед. — Пусть живут сами по себе.

Но на этом раздумья дедовы не кончились, — долго еще стояли они с Рыжиком посреди вырубки, размышляя о страшных пришельцах и своей одинокой жизни. Для деда жизнь с каждой зимой становилась труднее.

Кирилл скрипнул дверью баньки и вышел наружу. Беспокойными глазами шныряя по сторонам, он приблизился к деду. Рыжик заворчал — он пока одного Саньку признал.

— Что быстро выспался? — спросил дед.

— Не спится...

Дед внимательно взглянул на городского парня. Несмотря на три года тюрьмы, был он щенок щенком. Как такие решаются бегать — непонятно. Небось теперь страшно, а храбрится.

И Кирилл чувствовал себя малолетним рядом с дедом. Странное дело: только что он дедовы мысли угадывал, видел, можно сказать, его насквозь, а стоило оказаться ему с глазу на глаз, потерялся и в глаза

смотреть не мог. Он и спросил как-то по-щенячьи, не как задумал:

— Дедушка, ты добрый?

— Эк, на какие тебя проблемы потянуло. Ну, добрый, а что?

— Да мы тут с Санькой думали, думали...

— Ну?

Кирилл тоскливо посмотрел на Рыжика. Сейчас откажет дед. Рыжик отвернулся безразлично, не хотел вмешиваться.

— Видишь ли, просьба у меня странная... Если нельзя — ты сразу скажи. Наше дело... (Кирилл хотел сказать, как в прежние времена клиенту: наше дело предложить, ваше дело отказаться, дело чистое, без булды, — но сообразил вовремя, что с дедом так нельзя, с ним прямо и просто надо.) В общем, разреши нам, дедушка, землянку поблизости построить. Мы бы до зимы пожили, покамест все уляжется. Все-таки жилье рядом, и насчет продуктов... Мы бы тебе по хозяйству все делали, что надо. Дрова, еще что. А едим мы мало, ты на сегодня не смотри.

— Землянку. А что же не в доме?

— Не хотим тебя подводить. В случае чего — я знать их не знаю, мало ли в тайге народу, может, они туристы. Да и нам спокойнее.

Дед обрадовался землянке, но виду не подал. Кирилл стал заглядывать в его глаза, снова пытаясь сквозь густые ресницы прочесть дедовы мысли. Мысли были темны, как ночной омут.

«А вдруг откажет? — боялся он. — Или продаст...»

— Живите, — сказал дед. — Отсиживайтесь пока. Бог вам судья, от своей кары никто не уйдет... А насчет еды — здесь дичи много. Олень, коза. Голубица поспеет — время глухарей бить. И прочая мелочь.

— Спасибо тебе, дедушка... Не знаю, как зовут тебя.

— Павел Лексеич. Ладно.

— Спасибо, Павел Алексеич. Да, вот еще что: может, найдется у тебя бумага или тетради чистые.

— Письма писать?

— Какие уж тут письма...

— Жили у меня год назад геодезисты, после них какое-то хламье осталось. Пошли, покажу. А зачем тебе?

Кирилл не ответил. Требовались усилия, чтобы после всего поверить в такую удачу. А пробудившийся Санька, из окошка увидев его веселую походку и глупое выражение лица, сказал себе:

— Живем еще.

5

Землянку рыли так: на сухом пригорке, поросшем ягельником и сосной, выбили широкую канаву. Фашинами из тальника застелили пол и укрепили стенки. Из лиственничных стволов нарастили шалаш, укрыли его лапником и корой, засыпали песком. Дерном замаскировали крышу и узкий, как лисья нора, вход. Внутрь втащили железную бочку, топором выбили в ней дверку, приладили трубу — получилась печка. Нары сколотили из тонких лиственниц — они пружинили как панцирная сетка. Навалили чурбаков, получились стулья.

У подножья пригорка, подо мхом, где близко лежала мерзлота, устроили ледник для хранения дичи. На стол дед отпустил досок. Потом расщедрился и для новоселья поставил ведро бражки — самогонку варить было недосуг.

Бражка была дурная, на табаке. Санька, напившись, плакал. Дед свалился рано, сказав: идите к себе, от греха. Санька, вылупив глаза, спросил:

— Боишься, рожа?

Дед закивал, засыпая.

— Продашь? — еще страшнее крикнул Санька.

Дед замотал головой. Кирилл, почти не пивший бражки из-за ее противного вкуса, потащил Саньку из хатона. Но Санька не ушел, пока не заставил Кирилла выпить еще две кружки гадости.

А наутро Кирилл, страдая головой, выполз из своей землянки, да так и остался лежать на животе, пораженный вольной прелестью солнечной тайги.

Не подымаясь с четверенек, он медленно и радостно слушал, ослепленный блеском росинок на ворсистом ягельнике и концах сосновых игл. Росой омытые, покачивались от тяжести сизые кусты голубики — она поспела за одну холодную ночь. Живой туман поднимался над ручьем и болотом. Живые птичьи голоса разливались над светлой тайгой. «Куплю, куплю!» — кричала кукушка. «Украл, украл!» — отвечала ворона. А как понять, кто кричит, плачет и щебечет в густом ельнике? Кому весело, кому страшно жить на свете? Но и тем, кому страшно, и тем, кому весело, — все равно хорошо!

Кирилл вскочил и побежал к реке. Раздевшись, он упал прямо в перекат. Упругие, щекочущие, жгучие струи смыли тяжесть, сама ушла куда-то похмельная боль. Он выстирал портянки, обсох и побежал проведать деда.

Дед спал на полу около лавки, завернув голову в полушубок и поджав босые ноги.

«Как он жил здесь? — подумал Кирилл. — Без людей, без семьи, с одной лошадью и собакой... А как я жил?»

«Как плохо я жил, — думал Кирилл, возвращаясь в землянку, — как все мы жили... И как давно это было. Не написать об этом. Не написать... И о нарах в два ряда, и о страшном грохоте мисок в столовке, и о соседях, с которыми жить не хотелось, а приходилось жить, — не написать». Будто не Кирилл жил там, а другой человек, и мысли, и желания того человека уже не понять нынешнему Кириллу. Что три дня лесной свободы с человеком делают... Шел Кирилл по солнечной августовской тайге и видел перед собой вольную землю без края, ни за что доставшуюся ему вольную землю, и вспоминал высокий забор да скупо урезанную пайку неба над ним...

— Пайка неба, по закону положенная мне пайка неба, — бормотал Кирилл, — двести грамм голубизны. На лесоделянке, конечно, добавку получали — то с ветром, то с солнышком, но она только голод разжигала. Ага, вот так и начинай, — сказал он себе, останавливаясь у входа в землянку.

Тут его словно кто в спину толкнул — упал на четвереньки Кирилл и пополз внутрь, раскидал ветки на нарах, достал тетрадь и обломок карандаша. Санька храпел. Кирилл отполз к выходу, скорчился, чтобы свет падал на бумагу, и написал:

«1 августа. Сегодня пайка неба голубая, теплая. Осталось мне их получить штук...»

Он подумал и зачеркнул последнюю фразу извилистой чертой, похожей на след человека, впервые блуждающего в незнакомом лесу.

Через полчаса очнулся Санька. Он увидел, что Кирилл пишет, не обращая внимания на него, больного, и жалостно застонал. Кирилл не обернулся. Санька, постонав, поднялся, перешагнул через него и отправился на поиски лужи — напиться и рожу умыть. До

реки идти сил не хватило. Вернувшись, он стал звать Кирилла к деду опохмеляться, но тот ответил по-хамски:

— Не загораживай солнце, алкоголик.

Санька ушел, ворча:

— Образованные все стали, не подступись.

Вдвоем с дедом они допили бражку. Санька грустно пожевал гущу. Запарили чаек.

Разговаривая о том, что хорошо бы завтра сходить на охоту, просидели они у костра до полудня. Кирилл не показывался. Санька сходил за ним, когда дед сготовил кашу. Потом сходил, когда заделали борщ из банок. Культурный Кирилл оба раза изматерил его. Больше к нему не подступались. На закате, бледный и отощавший, он явился.

Глаза его психически блестели, руки дрожали, как у Саньки в былые времена, а косточка среднего пальца была стерта до красноты.

— Дурак, — сказал Санька. — Подохнешь.

Дед одобрительно кивал.

— Саня, пойми! — воскликнул Кирилл. — Я же хочу написать! Я так хочу написать, чтобы поверили! Все поверили: и в охране, и те, наверху. Ты думаешь, это так просто — жить в свое удовольствие, жрать, спать, бражку пить, а на бумаге лепить, будто в тайге пропадаешь с голоду? Ты попробуй! Ты напиши хоть вон того бурундука, как он шишку потрошит. Кажется, просто, а начнешь...

— А скажи на милость, зачем тебе бурундук?

— Ну, надо! Ну, пишу я, как ему завидую, с голоду подыхая... Да не в этом дело — все натурально, как в жизни, надо написать, а то что же? Они скажут — на пушку берет нас Кумков!

— Ну, садись, ешь. А чего не обедал?

— Да легче как-то пишется, когда голодный. Я пишу, — дед, слышь, — я пишу, как мы с голоду умираем, а этот приходит и орет: пошли жрать! Какое у меня после этого настроение?

Дед спросил:

— Ты что же, малый, каждый день так будешь баловаться или когда ни на то поохотиться сходишь?

— Как накатит...

— Не тронь его, — вмешался Санька. — Он нужное для нас дело делает. Тебе не понять. А на промысел ходить, дрова заготовлять и прочее по хозяйству я один буду.

— Ешь, работяга...

— Что же, если надо. Я, дед, ко всему приспособлюсь, если надо.

— Почему же ты раньше к человеческой жизни не приспособился? — спросил дед и испугался.

Но Санька не обиделся.

— Не вышло, значит. В первый-то раз я сдуру подсел, а во второй — судьба. Когда освободился, пошел ремонтником на дорогу работать, на дальний один околоток. Там нас трое таких было. Вот раз в получку всю водку выпили, те двое в магазин побежали за семь километров, а продавщица уже дрыхла. Они ее будить, она их... Ага. Один кричит: сейчас магазин подпалю! И прикурил для страху. Та в милицию позвонила, их в охапку и — суд. После мастер мне толкует: гляди, двоих загребли, третьему не миновать. Это точно, это закон такой есть. Правда, я до этого ничего не совершил, хоть и можно было совершить — держался. Как он мне это сказал, думаю: теперь все равно. Вот раз машина остановилась около нас, промтоварная развозка. Я и совершил — двадцать аппаратов «Зенит-3М». И — готов. Мастер точно сказал.

Помолчал. Дед опять спросил:

— А ты, малый, кого совершил?

— Я уже не помню, — ответил Кирилл.

— Врешь, скрываешь... Да мне все равно, я для разговору.

— Нет, я не то что не помню, — объяснил Кирилл, — а отвлекся как-то. Мысли не тем заняты. Вот ты спросил сейчас, а мне странно: почему я этой мурой занимался? Я не оправдываюсь, я правда так подумал...

— Вроде как бывает с бабой, — подсказал дед. — Пока уговариваешь, ну, думаешь, в лепешку расшибусь, а после вспоминаешь — удивляешься...

— Наверное, — неловко улыбнулся Кирилл.

— Ох, несчастье! — вздохнул дед. — И ребята-то молодые, здоровые... Душа у вас не на месте — так скажем.

— Почему — душа?

Дед разбил головешку в костре, поежился. Закат серым пеплом засыпало, серым прахом.

— Это мне так дед говорил, его колдуном считали у нас. Попы, говорит, считают, что человек с душой рождается, а я не согласен. Он рождается, чтобы искать ее, душу...

— Где искать?

Дед посмотрел на ребят. Санька пасмурный сидел, будто и не слушал, а у Кирилла глаза горели — как у кота. Сейчас он любую мышь проглотит.

— По земле, по жизни — где еще... Если найдет — счастлив человек. Что хошь делай с ним, а он — счастлив. А не найдет — станет мыкаться, жить не будет. И себе несчастье, и людям. Вроде вас вот...

— Интересно, — сказал Кирилл и потупил глаза.

— Ну, вали спать, ребятки. Голубица, гляди, поспела. Завтра в дальний распадок пойдем, там глухари должны быть. Лакомятся, прохвосты.

— Что же, по-твоему, душа вроде собаки? — сердито спросил Санька. — То уйдет, то приблужится...

— Ага, вроде вот Рыжика. Гляди, как он пригрелся у тебя. Ты гони его, ему греться вредно! Давай, давай спать — а уж завтра постреляем!

...Так и побежала их жизнь. Кирилл с утра усаживался на пенек у входа в землянку и, сколько замечал Санька, зачеркивал все, что успел написать накануне. Санька с дедом шли на охоту или готовить на зиму дрова. Они искали пологие, обогретые солнцем склоны, синие от терпкой ягоды, и из-за кустов стреляли глухарей и копалух — тяжелых, как бараны. Сизые перья птиц сверкали на солнце, как ножи хорошей, старой стали. Выстрелы тозовок были почти беззвучны. Оставшиеся в живых только перелетали метров на десять, любопытно косясь на убитых и радужно сияя хвостами. Жар-птицами казались они Саньке — жар-птицами, тяжело набитыми драгоценным мясом. Дед поругивал его за азарт, за жадность, грозя предстоящей зимой, когда может не хватить припасов на белку и соболя. Санька усмирял себя, как мог, но по ночам ему все снились дремучие распадки, горловой говор птиц, не нарушающий, но оттеняющий предсмертную тишину, и страстный шепот деда: здеся. А сердце колотилось, колотилось...

Полюбил Санька и работу с топором. Теперь ему не приходило в голову отлынивать от рубки, как на деляне в колонии, — для себя старался. Ранним утром уходили они с дедом в горелые завалы, выбирая самые сухие стволы, и от гулкого звона радостно играла Санькина кровь.

Дед сидел на ветерке и не мешал. Редко-редко предлагал: «Давай сменю», заранее зная ответ: «Погодь. Еще чуть-чуть». Зато и за обедом, поддразнивая Саньку: «Ишо чуть-чуть», он наливал ему самую полную миску ухи.

Уха — прозрачный бульон из одной рыбы и лука — была их общей страстью. По вечерам одинаково радовались они жирным бокам тайменей и смешным мордам налимов. Ночью с карбидкой Санька колол вертких линей и хариусов, очарованно застывших посреди черной струи. Иной раз приходилось добивать тайменя из тозовки — иначе не вытащишь из переката.

Смолистая кровь лиственниц, багряные капли на птичьих клювах, разбавленная водой тусклая рыбья кровь — вот чем теперь жил Санька. И не то чтобы умер в нем совсем прежний периферийный жулик — просто он подзабыл, кем был недавно, как в школе забывал нетвердо выученный урок. А может, потому подзабыл, что за него теперь Кирилл страдал?

Кирилл намертво застрял в колонии в тех семи днях, что должны были предшествовать побегу. В первый день он как будто все написал, и даже плот связать сумел на берегу дикого Вилюя, повыше страшных порогов Улахан-Хаан — «Большая кровь». А утром, после ухода Саньки, перечитал — и все пропало. Не поверил себе Кирилл. Но если он себе не поверил, как же другие поверят, особенно те, недоверчивые, из охраны и уголовного розыска?

Он вырвал из тетради испорченные листы. Писал больше о себе, о Саньке, не очень понимая пока, зачем это нужно. Ну, назвал бы Саньку по имени — и хорош, начальству только в дело заглянуть останется. И только к третьему дню почувствовал он, для чего ему эти семь дней нужны: чтобы показать, какие они

с Санькой ребята отчаянные. Подготовить надо было людей к тому, что два мелких жулика, набравшись смелости, в Улахан-Хаан полезли. И одновременно с отчаянностью души физическую хилость их подчеркнуть — пусть и в то поверят люди, что утонули, не могли выбраться два мелких жулика из страшного переката.

Так стал Кирилл лепить Саньку по собственному проекту, а сам уже подделывался под него, показывая, что Санька — всему голова. Оно и в самом деле так было, и от этого писать казалось легче.

Мало-помалу Санька получился. Получился он не совсем таким, каким знало его начальство, и даже немного непохожим на живого Саньку — страшнее, злее получился он, — но Кирилл, уверовав в свое изображение, теперь склонен был считать живого Саньку как бы несуществующим, а своего — единственно истинным.

На этот раз он даже не подумал, что ему могут не поверить, потому что незаметно, к двадцатой примерно странице, его опасливое «чтобы поверили» перешло в требовательное «мне не нравится».

В таком настроении описал он побег, тайгу, омут танцующих звезд. До сердечной боли захотелось изобразить, как белая лошадь спускалась к ручью, но, боясь навести на дедов след, он удержался. Однако когда дело дошло до плота и смертельного порога, снова ничего не вышло у Кирилла: противно стало ему перечитывать свои слезные рассуждения на берегу реки, пока Санька последние бревна увязывал, — наружу перло притворство. Разве о таком люди перед смертью думают?

«А о чем они перед смертью думают?» — спросил себя Кирилл.

Был полдень. Дед с Санькой шарились где-то по распадкам, гоняли куропачей. Кирилл в одиночестве и тишине сидел на своем пеньке прямо, как настороженный колонок, слушая только себя да полуденный прозрачный звон. Одни лохматые елки, похожие на дотошных старичков, обступали Кирилла. Они заглядывали ему под руки и ждали, что он напишет.

Кирилл сидел без мыслей, без счастливых догадок — пустой, бессильный. Рукам хотелось без работы лежать на коленях, глазам — бессмысленно смотреть перед собой. Устал Кирилл. Так устал — умереть и то было не жалко. Или уснуть — надолго, лет на пять. Умирать навсегда все-таки было страшно, вернее — тоскливо.

Он стал думать о смертной тоске, — наверное, впервые в жизни по-настоящему стал думать, не для липового дневника, и смертная тоска на мгновение ошеломила его неизбежностью и безысходной глубиной. Но он был слишком здоров и молод, чтобы долго думать о настоящей смерти, и вместо тоски пришла к нему одна простая мысль, какая может прийти только к живому, ни разу не умиравшему человеку: будто люди перед смертью всегда думают о главном в жизни, а если они о чем-то другом думают, написать все равно надо, будто о главном. Потому, во-первых, что в масштабе рассказа-дневника больше некогда подумать о главном двум загнанным беглецам, а во-вторых — люди уже по книжкам усвоили себе, какие мысли приличны умирающему человеку, и в другое могут не поверить.

Почудилось Кириллу, будто елка сбоку согласно кивнула кудлатой головой, и улыбнулся в ответ, и дальше с новыми силами задумался Кирилл. «А что главное в моей жизни, — спросил он себя. — О чем бы я думал?»

Опять тихо стояли елки, ждали. Теплое августовское время катилось мимо — Кирилл не замечал его. Он думал о словах деда про блуждающие души тех, кто не нашел своего счастья. И про себя думал: «Я со своей душой уж, верно, никогда не встречусь...»

— Вот оно, худшее и главное в моей теперешней жизни, — прошептал он во внезапном озарении. — Не то, что временами я несчастлив, или голоден, или одинок буду, а то, что я счастлив в принципе быть не могу, проскочим мы этот Улахан-Хаан или нет. Невозможность счастья в моем положении — вот оно...

Теперь уже не заметил Кирилл, кивнула ему согласно елка или нет, — не видя больше ни елок, ни полуденного звенящего неба, склонился, скорчился он на пеньке, как бы для горького и долгого плача, и застрочил обломком карандаша по истерзанной, исчирканной тетрадке. Еще быстрее побежало время, но неосязаемы были его толчки. Казалось, не сам Кирилл писал, а кто-то более мудрый и старый, чем он, водил его тонкой мальчишеской рукой, едва загрубевшей на таежной жестокой работе. Вдруг всплыло все, что слышал он хорошего и плохого о жизни, о горьких и счастливых узлах ее, и что, казалось, забыл намертво, хотя оно незаметно перегорало все эти годы в сердце его, и вот теперь, как россыпь чистейшего пепла, ложилось ровными полосками на теплую бумагу. Почему-то легче ему писать было, пока он думал о белой лошади, вытягивающей губы к струям переката, и он не удержался и все-таки написал о ней. Когда же о невозможности счастья для себя и Саньки написал Кирилл, он почувствовал, что все уже, до дна высказал и больше пока о жизни ничего сказать не может. Наверное, есть еще одна, более глубокая правда о жизни, но он не знает о ней.

В той же глубочайшей тишине осторожно, будто нежданную гостью-птичку боясь спугнуть, оглянулся Кирилл на прошедшее теплое время и увидел себя счастливым. Один этот полуденный час был счастлив Кирилл, будто на тихую поляну на шестьдесят летучих минут заглянула к нему в гости родная душа...

Но тут в глубине леса захрустели сучья, звонко стукнул приклад о сосновый ствол. Прямо на обомлевшего Кирилла выкатился из чащи веселый Санька с Рыжиком, а за ними дед.

— Писатель! — заорал Санька. — Кашу сготовил?

Кирилл взглянул на Рыжика, будто привязанного к Санькиному поясу невидимым прочнейшим поводком, и улыбнулся бессмысленно, догадавшись еще о чем-то, новое что-то про Саньку уяснив для себя. Раздумывая о маленькой лжи про Саньку, которую завтра непременно вычеркнуть надо будет, он тихо закрыл измученную тетрадь.

— Дед, — сказал Санька. — Ты его завтра с собой возьми: чокнулся парень один в лесу.

— Возьму, — пообещал неохотно дед.

Меж тем пришла в тайгу горячая осенняя страда. Санька с дедом десятками били рябчиков и глухарей, а ближе к холоду — гусей и уток. Всю эту гору мяса складывали в ледник за землянкой, выбитой в вечной мерзлоте. Однажды подстрелили сокжоя — дикого оленя. Дед, словно забыв, кто такой Санька, строго велел ему не трепаться, потому что по новому закону сокжоев в их местах губить не велено. Санька отвечал, что он — не прокурор.

Незаметно кончился август. В водянистое золото оделись лиственницы. Лимонно-желтым зацвели березки. Фиолетовыми пятнами по склонам распадков расползлись заросли иван-чая. Ударил первый мороз,

и голубика в хрупкой кожуре стала мягкой, как кисель. Дед, доверив Саньке заготовку дров, стал ходить по бруснику. Он съездил в поселок (сто километров от их жилья) и привез на кобыле вьючно мешок сахару. На предложение снова поставить бормотуху, заявил: «Только для варенья». Наварили варенья и две бочки моченой брусники спустили в подвал.

6

Почему переписывать и править Кириллу больше нравилось, чем заново писать? Не потому ли, что с тех пор, как он последнюю запись у смертельных порогов сочинил, появился во всей его писанине некий узелок, вокруг которого все остальное уже само вязалось и росло, а вместе с тем страх пропал, что ничего у него не выйдет? Уверенность, что выйдет, появилась у него на следующий день, когда он все заново прочел и понял, где и как надо исправлять, где — не трогать. Работал он после этого без сомнений и, вот именно, без страха. Дело шло.

Временами он совсем забывал, что все это только для обману пишется, и иначе работу свою не называл, как — дело.

— Что-то много дел у тебя, — укорил его однажды за ужином дед. — Ты не кляузу ли для начальства готовишь, на случай, если поймают вас? Себя выгородишь, Саньку утопишь.

Кирилл от обиды не нашел что ответить. Вступился Санька, впервые подняв голос на деда:

— Ты, дядя Павел, не заговаривайся! Он не обязан тебе объяснять что к чему! Я мало по хозяйству делаю? Мало тебе, да?

— Не-не, я ничего, — закряхтел дед. — Вы, ребята,

живите, как хотите. И по хозяйству я ничего не говорю. Прямо ты, Саня, так трудишься, будто это родное все тебе.

— Нечего меня хвалить, я не маленький.

— Я не хвалю. Я говорю — маленького тебя драли мало, а то бы...

— Драли достаточно, можешь не сомневаться.

— Ну... А тебя, Кирилл, когда в последний раз драли?

— Никогда! — забледнел Кирилл.

— Ох, дела! — завздыхал притворно дед. — Одного драли, другого не драли, а толку? Что же с вами делать надо было, ребятки, чтобы толк вышел? А может, вы не совсем еще пропащие?

— Наша вагонетка в тупик зашла, — мрачно отвечал Санька.

— Ой, беда! Ой, грехи! — вскрикивал дед, вылезая из-за стола и заваливаясь под тулуп на лавку. — Саня, топи печку, чегой-то замерзли мы сегодня с тобой.

Санька вышел за дровами. Дед тихонько спросил Кирилла:

— Ты хоть скажи мне, чего пишешь. Санька толковал глупость какую-то, я не понял. Может, я дело подскажу.

— Не подскажешь, — отвернулся Кирилл, испытывая внезапное смущение, будто дед его о чем-то тайном и стыдном спрашивал.

— Ну, как знаешь... Только ты там про меня ничего не пиши.

— Я и не собираюсь.

— Ага, не пиши...

— Я не пишу. Беспокойство... А скажи, Павел Алексеич, если б предложили тебе... — Кирилл помол-

чал. — Проживи вот на этой вырубке вечную жизнь... Но не выходить никуда. Ты бы согласился?

— Вечно никто не живет.

— Ну, ну — если бы...

— Чего же не согласиться? Жизнь хорошая...

— А я бы... Не знаю.

— Ну, твое дело молодое, тебе бабу надо. С бабой согласился бы?

— Ишь, потянуло старого козла на интересный разговор, — заворчал Санька, входя с поленницей дров. — Не смущай его, дед, а то сбежит.

— Санька, Санька! — запрыгал дед на лавке. — А ты вечную жизнь согласился бы на нашей деляне прожить? Чтобы подписку дать безвыездную.

Санька подумал.

— Если бы я точно знал, что сюда оперы не заглянут...

— Ну-ну?

— Согласен.

— Во как надо, парень, — заключил дед. — А ты все брыкаешься.

— Я пойду, — поднялся Кирилл.

— Куда — из тепла?

— Дело у меня...

— Иди, непонятный.

В землянке от керосиновой лампы скоро стало тепло. Кирилл раскрыл тетрадь, медленно заточил карандаш Санькиным самодельным ножом — тем самым, с которым он выскочил на горящую деляну, чтобы сманить Кирилла. Грифель шуршал сухо, неторопливо. Последние страницы перебелялись легко. Ясная печаль расставания наполняла Кирилла, как теплым молоком наполняется прозрачный стакан. Он думал, что это — горечь расставания с жизнью на диком

каменном берегу Вилюя, у страшных порогов Большая Кровь, а было это только прощание с последними листами дневника, которые жаль стало отдавать в чужие руки, не оставив себе ничего, кроме воспоминаний о счастливых часах. О часах, когда в тишине сухо и неторопливо шуршит острый карандаш и ни на минуту не возникает у тебя мысль, будто ты делаешь не то, что надо, даже если за много часов у тебя ничего не получилось. Вот это и есть мое единственное счастье, мог бы подумать Кирилл, но ему некогда было думать — строки звали его за собой, заставляли думать о другом. Последние строки, отточенные, как карандаш, самым острым самодельным ножом...

А наутро, двадцатого сентября, когда выпал первый снег и на белой земле листки голубики вспыхнули в последний раз одиноко и изумленно, Кирилл по мокрым кустам пробрался в хатон к деду с тощей тетрадкой в руке. Санька тушил сухую капусту, дед разделывал рябчика, и, пока они занимались такими делами, он прочел им свой дневник.

Чем дальше он читал, тем сильнее дрожали у него руки и челюсть, словно взамен тепла, уходящего вместе со словами, наполнял его холод цепенеющей под снегом тайги. Дед плеснул ему теплой водички. Кирилл глотнул и тихо дочитал последнюю страницу.

— И это все? — удивился Санька. — И над этой ксивой ты сидел два месяца?

— Разве дело в количестве?

Санька помыслил и согласился:

— Конечно, натурально описано. Может, и поверят.

Дед во время чтения порезался, а когда Кирилл кончил, от избытка чувств отрубил рябчику голову и закричал:

— Кирилка, стой, это же про вас с Санькой!

— Про нас. А что?

— Дак как же... Вы и впрямь через Улахан-Хаан плыть надумали?

— Может быть, — вставил Санька, скорчив постную рожу.

Дед заговорил быстро, убежденно:

— Ребята, это ни к чему. Это очень глупо даже. Вы перезимуйте у меня, а к весне подадитесь. С голоду — это ты, Кирилка, врешь, — с голоду вы у меня не подохнете. Опять — погоня: какая к лешему погоня, об вас давно забыли! А через Улахан плыть — смерть.

Кирилл победно взглянул на изумленного Саньку. Тот захохотал, довольный, и изложил деду их план. Дед облегченно вздохнул:

— Давай пожрем тогда, ребята. Чайку запарим со свежим вареньем... Ах, прохвост! Санька, это точно не ты придумал, это только городские такие жулики.

— Теперь — вопрос, — задумчиво произнес Санька. — Как мы эту липу туда доставим? Не ждать же в самом деле, когда ее в тайге найдут.

Кирилл молча поглаживал тетрадку.

— А если я? — спросил дед и испугался.

Кирилл, словно теперь на все наплевать, не ответил. Зато Санька, размахавшись ложкой, закричал, как это было бы в жилу, если бы старый промысловик Чижиков Павел Алексеич принес в отделение милиции найденную в лесу тетрадь и сгнившую санькину шапку и сдал их по акту. Дескать, нашел на речной косе, где Вилюй к поселку заворачивает. Дед, стесняясь сразу идти на попятный и из любви к Саньке, обещал подумать. На следующее утро, постреливая белых куропаток, Санька окончательно уговорил его.

Через неделю дед снова поехал в поселок за мукой и огневым припасом. Там он заглянул мимоходом в отделение милиции и передал хорошо вымазанную глиной шапку и тетрадь, сильно попорченную водой.

7

Бугристой наледью застыл перекат. Осыпались лиственницы, выставив в ледяную синь голые кости. Начались морозы. Кирилл и Санька в своих подбитых ветром телогрейках все дни просиживали в землянке у гудящей печки или, выгнав на улицу Рыжика, чтобы сторожил, играли с дедом в сто одно.

Раз в неделю дед выдавал кому-нибудь (чаще — Саньке) свой старый полушубок и брал с собой промышлять соболя и белку.

Началась жестокая якутская зима. Дед редко бывал в поселке — делать там ему было нечего, — но уж если собирался, привозил оттуда кучу новостей и старые газеты.

Санька читать не привык, дед давно разучился. Газеты забирал Кирилл и по вечерам шуршал ими, как мышь, прилаживаясь к красноватым отблескам печурки. Только зря он читал их — ничего, кроме тоски да напрасных желаний, не будили в нем вести из далекого, навсегда покинутого мира.

И все же хороши были иные вечера, исполненные покоя, особенно если дед зазывал их в хатон. В огне потрескивали смолистые сучья, за дверью скулил Рыжик, над тайгой висела легкая морозная тишь. Редко-редко мела поземка или срывалась пурга. После снегопадов лаз в землянку раскапывали снаружи.

Все больше привыкал Кирилл к тихой жизни, все больше она нравилась ему. Медленно забывалась, как

детская забава, возня с дневником, немножко смешной казалась эта одержимость писаниной, душа больше не просила ничего такого, отдыхала душа. Иногда во сне Кирилл еще писал и, наверное, от сердечной спазмы или иных телесных неудобств испытывал то тоску по единственному слову, то нечаянную радость. Но наступало ясное утро, дед снова звал с собою на охоту, и все подергивалось мутным ледком. В последнее время замечал Кирилл, что стала его сильно радовать каждая похвала деда за удачный выстрел, за ловко снятую шкурку, будто расположение старого промысловика открывало перед ним какие-то новые возможности. Иногда в открытую думалось, что неплохо бы остаться у деда еще на зиму, но для этого требовалось капитально переоборудовать землянку. Кирилл присматривал подходящий лес, неторопливо соображал...

Но однажды дед принес из поселка странную весть.

Будто бы на прошлой неделе, под вечер, приехал туда какой-то краевой газеты корреспондент и, не заходя в райсовет, — шасть прямо к начальнику милиции. Расскажите, говорит, о каких-нибудь происшествиях в районе, чтобы можно было написать для молодежи. Начальник — он положительный человек — говорит: у нас в милиции деяния преступные, вряд ли они для вашей газеты подойдут. Корреспондент, настырный такой, отвечает: ничего. Нам виднее. Ладно. Начинает начальник говорить.

Прежде всего, говорит, на фоне общего выполнения плана по пушнине и выхода района на третье место по качеству белки у нас в отдельных случаях, извините, водку жрут. И на этой почве ходят по улицам, оря песни. Мы пресекаем.

Корреспондент плечами пожимает — подумаешь, мол.

Потом, говорит начальник, ввиду недостатков работы с молодежью в клубе случаются легкие драки. Мы это тоже пресекаем.

Корреспондент говорит: наплевать.

Еще, говорит, рассердившись, начальник, у нас вчера в семнадцать тридцать приемщика пушнины Косова один промысловик зарезать обещался. За неправильное определение сорта соболя. Можете фамилию записать.

— Зарезал? — спрашивает корреспондент.

— Не дали.

— Так чего же записывать? Вы бы подкинули что посмешнее. Чтобы поучительно было и было с кого пример брать. Хорошо бы, например, покушение на безопасность дружинника. Вот в соседнем районе...

— Черт с вами, — говорит начальник. — Пейте мою кровь. Вот человеческий документ. Старый промысловик Павел Алексеич Чижиков осенью в глухой тайге нашел эту тетрадь и шапку... Шапку вам показать?

Но корреспондент, глянув на первую страницу, от шапки отказался и попросил только рассказать, что к чему. Начальник вызвал оперуполномоченного, который занимался этим делом, а сам сбежал, соврав, будто на происшествие незначительной пьянки. И будто бы — так говорят люди и приемщик пушнины Косов — оперуполномоченный твердо заверил корреспондента, что автор тетрадки помер с концами, а с ним и его товарищ, и этот документ можно принять как подлинный, не поддельный, потому что даже он, оперуполномоченный, ему доверяет.

И корреспондент увез тетрадь с собой, а потом приезжал еще какой-то тип, поважнее, тоже наводил справки о беглецах, ходил даже в тайгу (но недалеко, с километр) и все качал головой.

Больше ничего неизвестно.

— Чтоб они все передохли, — со слезой сказал Санька. — Теперь устроют шмон на всю область. Если ты газетный корреспондент, то и пиши про живых, а мертвых не тронь! Помереть спокойно не дадут.

Кирилл возразил:

— Саня, ты зря, они искать не будут. Если уж районный опер... Саня, это им, наверное, понравилось, как я написал. А?

— Понимаешь ты много, писатель! Да они теперь всю тайгу...

— Ну ладно, ладно, посмотрим, что дальше будет.

С неделю Кирилл плохо спал по ночам — все чудилось ему, как читают его дневник, удивляются, хвалят, а то и смеются над ним. Главное — не вернуть уже написанного, не переделать заново, хоть есть там, наверное, и смешные, и глупые места. Как в суде — сказал последнее слово, и больше тебя не слушают, только где-то за дверями дерматиновыми судьбу твою решают. Но через неделю все прошло.

А еще недели через три случилось совсем непонятное. Является из поселка дед в дым пьяный (лошадь умная сама дорогу нашла, не то — хана деду по сорокаградусному морозу) и сует Кириллу бутылку спирта и толстый журнал.

— Получай, Кирилка, талантливый ты человек! Вот — книга. Печатается в городе, называется... альманах. Раз в три месяца. Я все узнал. И твоя фамилия на видном месте, как передовика промысла, и человеческий документ! А я замерз, ух — замерз.

Дед убежал в хатон, оставив ошалевшего Кирилла посреди вырубки с бутылкой в одной и журналом в другой руке.

Подошел Санька, выхватил журнал, раскрыл на замусоленной странице. Глаза его страшно блестели, как у зайца, прижатого гончими. Вздрагивая губами, стал читать. Кирилл заглянул через его плечо.

Заглавие было — «Волки». Полстраницы занимал мелкий шрифт вступления — судя по всему, старался тот самый тип, что раскопал тетрадь в отделении милиции. А ниже — крупно, разборчиво, до рези в глазах: «Сегодня пайка неба голубая, теплая...» — и прочее, все, о чем писал Кирилл. А чтобы ясно было, кто писал, выше мелкого шрифта и выше заголовка стояло, как в протоколе допроса: К. Кумков.

«Он дал свои последние показания», — прочел Кирилл, и только тогда дошло до него, что его липовый дневник напечатан в толстом альманахе и все, что он придумал, над чем мучился, отчего был счастлив, может прочесть теперь каждый. Ему стало страшно.

— Влипли, — установил Санька.

Он сунул журнал Кириллу, отнял бутылку и, съежившись, побежал по хрустящему снежку в темную землянку.

Не чуя мороза, Кирилл внимательно прочел предисловие. В нем описывался пожар, побег и — на основе географии — доказывалась невозможность в подобной ситуации остаться в живых. Потом яркими словами излагалась судьба фарцовщика Кумкова, талантливого человека, затянутого гнилой средой. В том, что в лице Кумкова человечество потеряло многообещающего писателя, который, будучи поставлен на правильный путь, мог бы обогатить и прочее, читатели убедятся, ознакомившись с его предсмертным дневником. Это — человеческий документ необычайной убедительности и силы, хотя и не лишенный отдельных стилевых и идейных шероховатостей. Странной мистикой

отдает, например, рассуждение автора о бродячих душах.

Не сходя с места, Кирилл прочел свое сочинение. Теперь, отпечатанное строгим шрифтом, разбитое на абзацы, отредактированное, оно выглядело, как настоящий рассказ. Рассказ захватывал трагической стремительностью событий и яркостью зарисовок. Он нравился. Он очень нравился Кириллу, и Кирилл шептал:

— Способный писатель. Такой способный, что всех обманул. Все читают и, наверное, жалеют. А меня не жалеть, мне завидовать надо, чудаки-люди! Вот он я — живой. Я уже не стишки в блокнотиках пишу, чтобы мама не заметила и папа не засмеял, — я в журналах печатаюсь! Эх, показать бы кому, хоть в Ленинграде!... Нет, не покажешь. Сиди, не рыпайся. Но все равно хорошо!

Он свернул журнал и побежал за Санькой. В землянке, подпрыгивая на пружинистых нарах, выпил за первый день своей славы. Санька угрюмо молчал. Пьяным голосом Кирилл утешал его:

— Саня, ты не бойся! Нас теперь не тронут — мы теперь официально и всесоюзно мертвые! А хорошо бы гонорар оттуда получить — хоть на похороны... Прийти и...

— Ты это брось! — испугался Санька. — Нам теперь тихо сидеть надо! И без того оперы засуетятся — не может быть такого случая, чтобы тела пропали. И потом... Знаешь, я с дедом говорил. Он разрешает — живи, дескать, у меня, покуда не надоест. Я уж думал, думал... А тут ты, талант. Не надо было талантливо писать — про бурундуков там и прочую мелочь! Сгнила бы твоя тетрадка в отделении — как хорошо...

— Нет, Саня, что ты! Я же хотел как лучше. Саня,

ты меня прости, но мне знаешь как приятно! Ну... Нет... не объяснить мне тебе это.

— Понятно, чего там. Все вы, городские, с придурью.

Однако больше Санька не скулил. Назавтра проспался дед, целый день они гонялись за белками, а когда вернулись, никто слова не сказал о журнале. Кирилл спрятал его под нары, завернув в чистую портянку.

Санька под разными предлогами долго не пускал деда в поселок — боялся, что тот снова принесет дурные вести. У них накопилось уже порядочно шкурок и кончилась мука. Наконец, деду стало невтерпеж — он собрал в куль добычу и ушел.

Через день он вернулся злой как черт. Не говоря ни слова, достал из валенка мятую газету и сунул ее под нос Кириллу. Санька глянул и только плюнул. Речь снова шла о рассказе «Волки».

Редакция альманаха получила много писем. Читатели интересовались всем: кто были родители Кирилла, где он учился, куда смотрели учителя и комсомольская организация, и нашли ли тела утопленников.

Ввиду того что альманах выходил редко, настырный корреспондент — крестный Кирилла — ответил через газету. Ответы были невразумительны: вся Кириллова биография осталась в Ленинграде, тела утопленников, наверное, песком замыло, а выудить что-нибудь новое из начальства корреспонденту не удалось. Пришлось ему от себя добавить, что люди бывают хорошие и плохие, и лучше быть хорошим. Примерно в этом роде он закончил свою статью.

В общем, зря боялся Санька: статья была нестрашная. Хотя правильнее было бы сказать, что Санька не просто боялся, а боялся принципиально, считая, что лучше пять раз испугаться, чем один раз погореть.

Кирилл спрятал газету в ту же портянку, что и журнал. Он до сумерек бродил по тайге, залезал в задумчивости в сугробы, останавливался у замерзших березок и тихо гладил их глянцевую кору. Дед следил за ним из окна и тоже о чем-то думал. Под вечер надумал: достал сахар, дрожжи, поставил бражку и привел в готовность аппарат.

Через три дня готовы были три бутыли дрожжевого зелья.

Дед подмел избу, вымыл окна изнутри, только тозовку через форточку выкинул: мол, настреляй куропачей. Когда Санька вернулся с добычей, в жилье было чисто, а баня накалилась так, что жар чувствовался снаружи сквозь бревна.

Попарились, помылись. Дед, страшно крича, валялся в снегу. Когда стемнело, все трое сидели за столом, заставленным банками, бутылками и гранеными стаканчиками.

— Ну! — сказал дед.

Выпили, закусили. Санька с Кириллом молча ждали — ясно было, что дед затеял праздник неспроста. Наконец он заговорил:

— Думать надо о весне, ребятки. Пойдет вода, зальет землянку. Я с Санькой говорил насчет того, чтобы перебраться ко мне. Он — всей душой. Теперь — как ты, Кирилл?

Кирилл молчал.

— Скажу прямо, птичка ты не нашего лесу, — продолжал дед тише. — Ловить тебе здесь некого. И в хатоне втроем будет тесно. Конечно, если согласишься, сделаем пристройку, я тебя с товарищем разлучать не хочу, друзья в жизни — дело редкое, ими пробросаешься... И от писанины ты вроде отстал, хозяйством интересуешься. Словом, думай сам.

— А куда ему податься — в случае чего? — спросил Санька.

— Земля большая. Есть такой способ: весной иди в экспедицию, там люди позарез нужны, скажи — документы украли. Отдел кадров тебе на скоростях трудовую выпишет, отработаешь сезон — один документ на руках. А там тихим манером и паспорт получишь — сперва временный, после...

— Я скажу, когда уйду, — оборвал Кирилл деда.

— Да я не гоню. До весны далеко. Ребята вы хорошие, зла я от вас не видел, так что ежели пристройку делать...

— Я подумаю.

— Давай, думай, не торопись. Ну, держи, Саня. Держи и ты, Кирилл. С весной вас. У меня на родине сейчас весна...

Санька выпил и спросил:

— А где твоя родина, дядя Павел?

— Ой, далеко! — завздыхал дед. — Ой, отсюдова не видно. Туда только утки дорогу знают. А я уже вабыл. Я все-о забыл, ребятки!

Смеялся дед, качался на лавке, подливал в стаканы. Кирилл навалился на стол, спросил:

— Что же мне делать, дедушка? Ты посоветуй.

— Я — плохой советчик. Ты другого спроси.

— Дед, а слава нужна человеку? Известность — а?

— Эк куда тебя... Тебе теперь тихо сидеть надо, уши прижал — и сиди. Слава. Без нее теплее.

— А чтобы писателем стать настоящим — можно уши высунуть?

— Твое дело. Человек человеку не указчик, ты это запомни. Я тебе посоветую, ты после изматеришь меня за неправильный совет. Ты спроси...

Дед замолчал. Кирилл, подождав, напомнил:

— Кого?

— Душу свою, больше некого, — невнятно ответил дед.

— Душу? Ты же сам говорил, что душа у меня — сама по себе гуляет, а я...

— Ничего, спроси, теперь можно. — Дед вдруг поднял нос и понюхал: — Куропачи твои белые запеклись, Саня. Загляни-ка в печку, у меня сил нет. Люблю зимнюю куропатку — нежирная, в самую меру.

Кирилл отбросил табуретку и вышел.

Дед верно сказал — за один день случился перелом погоды с зимы на весну. Исчезла морозная сухость, потянуло свежей влагой. Скоро запоют последние предвесенние вьюги — предвестницы воскресения деревьев и рек. Только постояв на ветру, Кирилл почувствовал, что в тайге еще очень холодно — не тело, душа одна чувствовала весну. В тихом свете из окна хатона сверкали, как железные, гладкие сугробы и ломкие прутья молодой березки. По ту сторону стекла осталось тепло, безопасность, привычный покой. По эту — только неясные предчувствия весны да сверкающий холод.

Остаться здесь или уйти, затеряться среди людей, как среди деревьев, чтобы они многочисленностью своей, поступками, голосами, работой скрыли в чащах городов его, беглого спекулянта; притвориться мертвым, забыть свое имя, жизнь протянуть в осторожной тишине, в безвестности дождаться тихой смерти; писать и жечь написанное, боясь словом выдать себя, или совсем не писать, держать в себе, озлобляться, маяться. Это ли жизнь, ради которой стоило бегать от охраны, бояться, мучиться над липовым дневником? Не испытать, ни разу больше не испытать того ясного,

уверенного счастья, когда знаешь, что не для себя одного пишешь, что делаешь единственное твое, главнейшее в жизни дело...

Можно иначе — выйти и сказать: ребята, я тот самый, помните? Товарищ мой действительно погиб, нет больше Саньки, а я вот — жив. Делайте теперь со мной что хотите, только дайте тетрадь и карандаш — дешевую тетрадь и карандаш за три копейки. Больше мне ничего не надо.

Что ответят они?

Что ответят они — никто не знает. Не дав Кириллу додумать, на крыльцо вышел Санька, задымил дедовой махрой, сказал ненормальным голосом:

— Кирилл! Ты не думай, я тебя не брошу. Мы до самой весны будем в землянке жить.

— Саня, а ты что скажешь — мне уходить?

— Оставайся. Дед обещал пристройку...

— Нет, не понимаешь ты меня, Саня!

Санька молча покурил. Влажный ветер поволок наискосок в темное небо струйку дыма.

— Гляди тогда сам, — сказал Санька и вернулся в теплый хатон.

Кирилл ушел в землянку, лег, но хмельной сон его был беспокоен и временами — страшен. Всю ночь он разговаривал то с собой, то с дедом, то со многими людьми. И люди были, как старые деревья, и кивали, и качали пушистыми вершинами, и он не знал, что хотят они ответить ему.

8

На исходе третьего дня пути Кирилл подходил к поселку. Дед с Санькой два дня провожали его, по очереди садясь на кобылу. Без них Кирилл давно сбился бы с дедовой непонятной тропы. Последнюю

ночь вместе спали в шалаше, оборудованном дедом для отдыха по пути в поселок. Утром расстались.

На прощанье дед дал Кириллу денег, хлеба, жареную куропатку и объяснил:

— В поселке уже экспедиция стоит. Народ временный съезжается со всех концов, никого не знает, сам начальник милиции разбираться перестал. Им срочно люди нужны — вертолеты простаивают, надо людей скорей в тайгу загонять. Иди прямо к начальнику без страху. Да не сбейся: перед самым райсоветом тропа кончается, а в обход домов дорога идет. Это дорога в город.

— А в городе, — вставил Санька, — милиции больше, чем в целом районе. Небось в редакцию свою не побежишь прятаться — они не спрячут.

— Хе-хе-хе, — засмеялся дед и потянул кобылу за веревочный повод.

Тропа пошла под уклон. Открылась широкая пойма реки. На другом берегу — каменистом, обрывистом, недоступном для паводков — жили люди. Кирилл спустился на лед и побежал, обходя трещины и мокрые места, торопясь пересечь открытое пространство.

Под обрывом он остановился, прижался к каменной стенке. Медное солнце лежало уже на ледяном горбе русла, плавя красный лед и снег. Кирилл так долго смотрел на него, что в глазах заиграли алые дуги. Он закрыл глаза — на душе от тишины и закатной непередаваемой красы стало покойно и печально. Откуда-то всплывали слова, пытавшиеся передать всю эту красу, и тут же забывались. Так бы всю жизнь смотреть и говорить, что видишь, а больше ничего не надо...

За спиной Кирилла кто-то прыгнул с обрыва в обмерзший сугроб. Он вздрогнул, будто его ударило

высоким током. Но это был только бездомный пес — бездомный настолько, что не захотел даже лаять на пришельца, как сделала бы любая собака поселка. Он не предъявлял своих прав на эти дома, заборы и помойки, а только спросил коричневыми глазами, не дадут ли поесть.

Кирилл развернул остатки куропаткиного крылышка и кинул в снег. Пес два раза хрустнул косточками, и крылышко исчезло. Дальше они пошли вместе. Когда же у крайнего дома, где пропадала тропа, на Кирилла бросились две местные шавки, пес мигом загнал обеих в подворотню. Они замолчали, потому что боялись бездомных.

— Заступился, — пробормотал Кирилл и бросил псу кусок хлеба. — Поправляйся, бродяжка.

Он ощутил непонятную растроганность, душевную размягченность, и отметил, что ему сегодня с утра все как-то не по себе: всякая случайная горькая мысль колом становилась в горле, а радостная вызывала ненормальный смех. Вот и пес этот... Никто так не заступался за Кирилла, даже дорогой адвокат. Ему вдруг показалось, что у него сегодня праздник не праздник, а так — перемена какая-то радостная. А может быть, просто близость людей...

— Побежали, — позвал он пса, устремляясь на главную улицу поселка, к экспедиционной конторе. Ее он узнал по длинному складу, возле которого толпился народ, — наверное, сегодня выдавали спецодежду.

Пробежав шагов десять, Кирилл оглянулся и обнаружил, что рядом нет пса. Тот стоял у забора и печальными глазами смотрел ему вслед. Свалявшаяся шерсть на острой спине шевелилась от холодного ветра.

— Ты чего? — спросил Кирилл.

Пес тихонько гавкнул. Наверное, кто-нибудь из экспедиции отучил его бегать к конторе.

— Пошли, — сказал Кирилл. — Нас тут никто не знает. Приживемся, укроемся.

Пес нерешительно поднялся, сделал несколько шагов, но тут из соседних ворот вышла толстая старуха. Ей, видно, некуда было торопиться. Увидев Кирилла, она остановилась и расставила тяжелые ноги в обрезанных валенках с галошами. Кирилл непослушной рукой надвинул на глаза мохнатую дедову шапку. Пес зарычал. Толстуха обернулась к нему и вдруг, затопав ногой, крикнула тонко:

— Пошла прочь, пропащая душа!

Пес в ужасе сиганул в сторону и скрылся за домом. Довольная старуха пошла дальше. Кирилл постоял, передохнул страх. Пес не возвращался. Кажется, невелика потеря, но Кирилл почувствовал внезапное неодолимое беспокойство при мысли, что пес пропал совсем. Он обошел старухин дом и снова очутился за поселком, на дороге, размолотой вездеходами. На той самой, которая, если верить деду, уходила в город.

Пес мялся у обочины. Когда Кирилл вышел на дорогу, он подбежал и прижался боком к сапогу. Кирилл присел, взял его за загривок, поднял мордой кверху. Собачьи глаза сузились — то ли ласково, то ли настороженно. Кирилл вздохнул. От острого воздуха тихонько разламывало грудь. Пес закрыл глаза, будто решив, что теперь ему не сделают ничего плохого.

Кирилл вскочил:

— Пошли! Не до утра же сидеть тут!

Он снова посмотрел в сторону барака. Народ рассасывался, получив положенное — брезентуху,

телогрейку, сапоги. Солнце напоследок наливалось угольным жаром, готовое провалиться в расплавленный лед, в полынью.

— Ну! — крикнул Кирилл нетерпеливо. — Куда идем?

Пес прыжком вылетел на середину дороги, закувыркался, заиграл, взметывая вверх сияющий снег. Кирилл, напряженно улыбаясь, смотрел ему вслед. Пса будто сильным ветром относило в сторону города.

— Чудак! — позвал Кирилл. — Кто там нас ждет?

Пес не слышал.

— А может, и ждут, — тихо сказал себе Кирилл.

Он все смотрел на дорогу. Ему казалось, будто он видит ее дальний конец. Там, в конце пути, кто-то давно и терпеливо ждет его, зная, что он придет.

Думать о тех, кто ждет его, было и радостно, и страшно. Но новый страх этот был как комок льда, тающий на ладони, а в тишине сердца, в тайном средоточии сил, то плохо, то хорошо управлявших жизнью Кирилла, жило теперь только уверенное ожидание встречи.

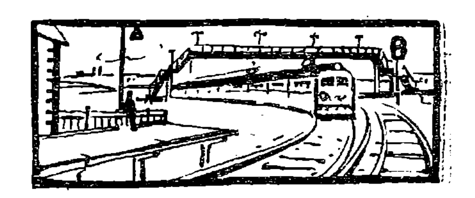
Как он жил до сих пор без этого ожидания?

— Идем, — еще тише сказал он подбежавшему псу. — Не бойся.

Сберегая силы для дальнего пути, он ровным шагом двинулся по дороге в город. Небо темнело стремительно. Осторожно шипели под ветром кусты.

И глаза его, раскрытые изумленно, как в первый день жизни, уже видели сквозь чащу и мглу горящие призывно беспощадные и добрые огни.

Виктор Каторгин



„ЧЕТВЕРКА" ДЛЯ БАТИ

Он рассчитывал, что на завод в эти дни его не затянут.

Всю термодинамику он поделил на три равные части, чтобы потом, на четвертый день, повторить самое трудное, и тогда — порядок. Тогда «четверка» обеспечена. Если не «пятерка».

Так планировать было рискованно — конец месяца, но он считал, что у него особые обстоятельства и начальство это учтет.

На год положено тридцать свободных дней, а он использовал двадцать. Четыре дня уйдут на термодинамику, а остальные пропадают — ведь их нельзя, как отгулы, прибавить к отпуску — вот он и предупредил Володю-мастера, чтобы тот хоть в эти дни его не трогал.

— Ладно, Толик, постараюсь, — пообещал Володя.

— Во! Постарается! Ты не думай, я серьезно. Последний экзамен. Мне «четверку» позарез надо, сам знаешь, зачем.

— Знаю, — грустно подтвердил Володя.

В мастерах Володя ходил уже год, но все еще не втянулся и чуть что — грозился уйти в конструкторы. За глаза его так и звали — Володя Уйду в КБ. Он был мягковат, и Толик надеялся, что после их разговора у него к телефону рука не поднимется.

Он одолел двенадцать лекций и улыбался, воображая, какая роскошь учиться на дневном: вот так весь год почитывай себе лекции — ни забот, ни хлопот. Мог бы и больше, но из кожи не лез, возился с гирями — целый набор, гордость их сто третьей комнаты, один раз сгонял на Мишкином велосипеде до самого красноглинского спуска, а вечером позвонил Ленке, и они сходили на последний сеанс в «Космос».

Еще сидели в скверике за стадионом.

Он похвалился, что живет сейчас один: Миша Копылов, коллега-сварщик, улетел на доработку их изделий, а хозяин третьей кровати полтора года как женат, но не выписывается, ждет квартиру. Ленка сказала, что хорошо — все условия, должен сдать на «пятерку», но потом вдруг взглянула на него подозрительно и отодвинулась. Он как будто ни о чем та-

ком не думал, когда говорил, что один, но вообще-то что-то мелькало, мелькало... И когда она отодвинулась, он сразу заболтал о другом.

В общежитие он вернулся в отличном настроении. Комната с распахнутой на балкон в теплую ночь дверью была затоплена густым лунным светом; не включая лампы, он разделся и стал кувыркаться по всем трем кроватям, и под его восьмьюдесятью килограммами панцирные сетки ныряли чуть не до самого пола.

С утра ему дали возможность проштудировать еще пару лекций и позвонили.

Так он уверился, что все обойдется, что даже и тут подумал: «Мало ли кто?» Но тетя Зина, вахтерша, кивнув на тумбочку с черной коробкой, больше надеяться не дала: «С цеху!»

— Толик! Толик! — взывал Володя Уйду в КБ. — Толик? Але!

— Але-о! — негромко отозвался он.

— Толик, у нас завал! Завал! — жалобно кричал Володя — не дипломат, совсем не дипломат, непригодный для такой тонкой деятельности человек.

— Але? — крикнул Толик.

«Может, ерунда еще? Может, обойдутся?»

— Толик, опять тебе придется...

— Але?

— Толик? Толик?

— Але?

Уйду в КБ замолчал. Слышно было, как он дышит в трубку — соображает. Толик старался дышать мимо.

— Толик, — позвал Володя поуверенней. — Как хочешь, но у нас завал настоящий. Мосягин один

остался, по две смены работает. Нам техника безопасности грозит, кроме того, просто вредно ему...

Толик молчал.

— Ты не думай, я помню, что у тебя дни пропадают. Антипа сказал, что оформим отгулы, сколько надо оформим...

«Нужны мне эти отгулы!» — чуть не сказал Толик.

— Мы уже Витальку Юшина поставили на автомат. Мосягин за ним смотрит, но — сам понимаешь.

«С ума сошли! — подумал Толик. — Напорет Юшин брака — прощай план, тогда уж точно — прощай!»

Он забылся, задышал в трубку, и Володя оживился:

— Толик, а Толик? Я сейчас машину пришлю?

— Серьезно, Юшина поставил? — спросил Толик.

— Поставил. А что делать? Мосягин смотрит. Как-нибудь. Толик, приедешь? С отгулами все будет нормально.

— Нужны мне отгулы! — разозлился Толик. — «Четверку» мне надо по термодинамике! Я к бате лечу.

— Я знаю, Толик. Но что делать?

Лучше б он был настырным, как Антипов, с тем хоть поцапаться можно!

— Иду! — сказал Толик.

— Я машину пришлю. Антипа машину велел...

— Тут ногами десять минут, — сердито сказал Толик. — Не надо мне машины.

— Ну давай, Толик, давай! — радовался Володька.

— Но только на сегодня! — предупредил он.

— Давай, Толик! Сколько сможешь. Завал — сам увидишь.

Цех был небольшой: два механических участка и один сварочный. Механические участки еще так себе, средние, а у них вся сила: семь слесарей, пять сварщиков и три ученика.

У зеленых кабинок со сварочными автоматами серыми башнями стояли детали с механических участков. Рядом ни человечка. Над одной из кабин метались сиреневатые всплески света, а в его кабине кто-то стучал. Он открыл дверь в ту, где варили. Двое, Володя и Антипов, обернулись, а Мосягин и Виталька Юшин, в брезентовых робах и с железными масками, не отрываясь следили за медленно вращающимся громоздким узлом.

Антипов и Володя пожали Толику руку и все вместе вышли.

— Ну что у Юшина, получается? — спросил Толик.

Володя махнул рукой.

Антипов нахмурился:

— Не надеешься — отстрани. С тебя же голову сниму.

— А что делать?

— Вот Круглов выручит.

— Это сегодня, а дальше?

— Сегодня это сегодня, а дальше жить надо, — туманно, но, конечно, ясно к чему завернул фразу Антипа.

— Андрей Иванович, ничего не выйдет, — предупредил Толик.

— Ладно, ладно, там видно будет, — уклонился Антипа и направился куда-то вдоль кабинок.

— Слесаря приличного дашь? — попросил Толик Володю.

— Борю Чистякова? — предложил тот.

— Нормально, — согласился Толик.

Чистяков уже стучал у него в кабине. Он был проворный паренек, и они сразу взяли хороший темп. В четвертом часу вместе с Мосягиным и совершенно замученным Виталькой Юшиным они сходили в столовую, покурили и опять разошлись по кабинам.

В девять решили — хватит. Володька остался: ему еще надо было уговорить рентгенлабораторию на ночную работу. О завтрашнем дне Володька не заговорил, но Толик сам видел — завал.

К общежитию он шел вместе с Чистяковым. Борька был веселым и свеженьким, как будто только проснулся. Он советовался, не податься ли ему в сварщики. Толик сказал: «Давай, подавайся». Боря посоветовался про институт, Толик посоветовал и это. Сам он все-таки устал.

— Нет, — сказал он на следующий день, когда что-то около двух часов опять позвонил Володька.

— Толик, я все понимаю, ты, конечно, обижаешься на меня, но ведь план. И никакая не штурмовщина, ну, может, три дня за весь месяц стояли. Там где-то сборщики напортачили и все наши заделы съели, Толик!

«Ни за что, — подумал он. — Главное, спокойно».

— Володя, повторяю. У меня билет на самолет. Я не был дома два года. В прошлое лето на Байкал таскался, а мать вот пишет — батя плох стал, плох, понимаешь? Я его раньше не радовал, так хоть сейчас... Мне надо, чтобы в зачетке «троек» не было, чтобы батя корешам-пенсионерам похвастаться мог, что вот у него и младший за ум взялся: в авиационном учится и чуть не отличник. Все тебе ясно?

— Ясно, — грустно сказал Володя, но трубку не опустил — ждал еще чего-то.

Толик подождал немного, бросил трубку и пошел учить.

«Обойдутся, — думал он. — Обойдутся. Антипа выкрутится. Не бывало еще, чтобы Антипов чего-нибудь не придумал».

Но через пятнадцать минут его снова позвали к телефону. Звонил Антипов, значит, других вариантов не было.

— Ну что? — сказал Антипов. — Все байками Володьку кормишь?

— Какими байками? — обиделся Толик. — Вы что, за мной такое замечали?

— Чего нет — не скажу. Но вот чтобы даже начальнику цеха тебя уговаривать приходилось, это за тобой впервые.

— Андрей Иванович, у меня исключительный случай, — упрямо сказал он.

— А на заводе? — возразил Антипов. — Конечно, это не первый раз, но сейчас, я тебе скажу, исключительное положение. И виноваты только мы: брачок поставили знаешь куда? Что можно — сидят там, на местах исправляют, а чего нельзя — надо сделать заново. Да чего мне тебе объяснять, у тебя отец-то кто?

— Шахтер.

— Ну вот. Я и сам знал. Ты думаешь, я зачем спрашиваю? Напоминаю. Давай на выход, там тебя машина ждет, 38-21.

— А я вас не просил, — огрызнулся Толик.

— А это и не для тебя. Хоть ты и шахтерский сын и лично я тебя уважаю, но машину — в производственных интересах.

— О производстве раньше надо было думать, — ляпнул Толик, и тут уж Антипа, конечно, вспыхнул.

— А уж вот это — окончишь институт, тогда посмотрим, как у тебя, как у вас с Володькой дело пойдет!

Толик молчал. Про производство он глупо ляпнул. И на Антипу — без вины: брачок-то в сборочном цехе, и тактически глупо — покричишь, он тебя на этом разобьет, а вроде и во всем прав. Антипов тоже молчал — докипал, наверное. А может, просто ждал, как Толик сейчас скажет: «Ну ладно». Он-то знал, что Толик никуда не денется, что он готов, что еще слово, и он скажет свое «ладно».

Толик вдруг представил, увидел в своей зачетке «тройку» по термодинамике: никто не пишет полностью «удовлетворительно», пишут просто «удов» или даже «уд»; и дневники зовут ее «удавка» — им за «тройку» могут не дать стипендию, бедняги эти дневники.

— Андрей Иванович, — не выдержал он. — Честное слово, у меня первый раз в жизни такая необходимость. Ну, что я не могу. Конечно, может смешно, смешно, конечно, но вот нужна мне «четверка», позарез нужна.

Антипов молчал.

У Толика появилась надежда, и он вдруг чужим, неожиданно для себя каким-то противным голоском пролепетал в трубку:

— Батя у меня, знаете, всю жизнь уголек рубал...

И замер. Съежился от стыда.

Антипов еще помолчал. Выдохнул: эх-ха-ха!

— Ладно, — наконец сказал Антипов. — Ладно. Я бы мог тебя, конечно, еще поуговаривать, уговорил бы, может быть, но — неохота стало. Мне важно, чтоб

не только дело шло — я не погонщик — мне важно, чтобы все почувствовали: если я обращаюсь, то значит надо. А уж вы-то, такие, как вы, вы без меня сами должны чувствовать, когда бывает вот так, как сегодня, надо. Я тебя больше не уговариваю, сам решай.

Антипов как будто собрался повесить трубку, но еще что-то вспомнил:

— Але! В общем, понял меня, да? Как решишь, так и поступай, но у меня такое предложение: бате своему, как «пятерку» покажешь, потом, при случае, расскажи, каких трудов она тебе стоила, договорились? Все!

Толик подпрыгнул от возмущения, но в трубке уже гудело.

«Вот — загнал все-таки в угол! — подумал Толик с отчаянием. — Загнал!»

Внизу сигналила машина. Он побежал к себе за пропуском. Поколебавшись, прихватил конспекты: пусть дают двух слесарей, и они без него натягивают узлы на манипулятор, и подгоняют, и выверяют, а будет готово — он только проверит. Может, так он еще хоть кое-что прочитает.

Володя его встретил с виноватым лицом и сразу начал жаловаться, что ему вот тоже жена звонит, почему домой не появляется, а он вторую ночь спит в общежитии у своих парней. Володя жил в городе, в самом центре, рядом с Толькиным авиационным институтом, — почти двенадцать километров отсюда на электричке и там еще на двух трамваях. Домой ему, конечно, ездить было некогда.

— Все, уйду в КБ, — грустно сказал Володя.

Толик улыбнулся, хлопнул его по острому плечу, пригласил ночевать к себе и потребовал двух слесарей.

Но их тоже лишних не было. Лучших забрал начальник производства в сборочный цех, а оставшиеся еле успевали с подгонкой, калибровкой, зачисткой — в общем, со своей слесарной работой. Помянув Антипу, Толик бросил конспекты в угол, на серую коробку трансформатора и начал настраивать режим. Веселый Боря Чистяков, в неизменной тельняшке и здоровенных рукавицах, втащил узел, поздоровался и сообщил, что сегодня утром он принял окончательное решение: тоже будет поступать в институт и тоже в авиационный.

— Давай, давай, — не отрываясь, сердито одобрил Толик, как будто Боря тоже был в чем-нибудь виноват.

Боря, конечно, ничего не заметил и доложил, что одновременно он решил проситься в сварщики, и Толик сказал: «Давай, да побыстрей».

Он подумал, что ему-то, скоро или не очень, но придется уходить из сварщиков, если не на старших курсах, то после диплома.

Иногда ему казалось, что жалко будет расставаться — такая у него здесь слава и вообще, но сейчас он, как Володя Уйду в КБ, подумал: «И скорей бы...»

Он включил мотор манипулятора — узел поплыл у него из-под руки. Место под шов было подогнано Борисом идеально, ослепительный факелок потрескивая плясал под электродом, требовал внимания, сосредоточенности, все лишнее отодвинулось.

Когда он прошел весь шов, Борис сказал ему:

— А ты, если можешь в такой обстановке, учи. Я один — запросто.

— Ох, ухарь, — отмахнулся Толик, подводя электрод к следующей разделке.

— Запросто! — заверил его Борька.

Толик снова отмахнулся, но, когда Борис стаскивал готовый узел, отошел, примостился на железной табуретке, полистал конспекты. Борис подогнал следующий узел отлично, но тельняшка на нем взмокла и по лицу катился пот.

— Так тебя надолго не хватит, — улыбнулся Толик.

— Посмотрим!

Толик оставил его одного еще раз, но так они теряли время, и больше он конспекты не брал.

Потом уже, когда все шло, как на конвейере: раз! два! три! раз! два! три! — и неизвестно сколько времени — без начала и когда же конец? — пришел Антипов:

— Перекур!

Вышли покурить.

— Ну, молодцы! — сказал Антипов. — Благодарю. Мы с Володей прикинули, ты можешь идти. Мосягин завтра часов до трех один управится. Так что — от имени коллектива и лично.

Времени было восьмой час.

— Мосягина в гроб загоните, — сказал Толик.

— Ничего. Он сам просится, — сказал Антипов. — Ему сейчас такой рубль идет! Ты о себе теперь думай. Боишься за экзамен-то?

— Чего бояться? Завтра позубрю, — может, все-таки вылезу, — не принял он сочувствия.

— Ну давай, давай! А то на мне грех будет! — вздохнул Антипов. — Найди Володьку — забери с собой: пусть к жене съездит, я здесь без него попрыгаю, у нас сегодня вроде перелом.

Заработать «четверку» теперь, конечно, надежды почти не оставалось.

Экзамен был назначен на пять часов. Толик решил поехать электричкой в 19.09 — в восемь с минутами он должен добраться до института.

На этот, на последний день у него оставалось тринадцать лекций. С одной стороны, надо было прочитать их все, хотя бы бегло, с другой — бесполезно. В таком темпе все перепутается: в конце лекции самые трудные — химическая термодинамика. Сквозь них галопом не продерешься. Он решил, что прочитает семь, а последние, которые с химией, не будет, лучше повторить кое-что.

Из намеченных семи он прочитал четыре: на пятой забуксовал, и тут тетя Зина тихонечко постучала в дверь:

— Телефон, Толенька.

— С завода?

— С цеху.

— Тетя Зина, меня нет!

Тетя Зина отступила.

Он бросил тетрадку и забегал по комнате. Что же у них там опять? Елки-палки, ведь после всего они просто так звонить не будут. Не будут. Что же у них там?

А! Чего бы ни было! Ну, сколько в конце концов можно? Все это болтовня: такое производство, такой цех, узкое место! В научно организованном производстве узких мест не должно быть. Не должно! А раз узкое — должен быть резерв. Без всякой науки ясно — резерв!

Кто же все-таки звонил? Наверное, опять сам Антипа? Что же случилось?

— Толенька? — открыла дверь тетя Зина. — Начальник какой-то. Очень просит.

— Кричит? — спросил Толька.

— Громко говорит, но не кричит. Слышно — просит.

— Скажите, что иду, — сказал он.

И хорошо сделал: оказалось такое, что не пойди — потом стыда бы не расхлебать. В рентгенлаборатории забраковали семнадцать узлов из сваренных Юшиным, и почти на всех дефектов было не по одному — по нескольку.

Антипов подал Толику темную рентгеновскую пленку в карандашных пометках. Толик поднял ее на свет — по белой полоске шва были рассыпаны мелкие черные точки.

— Всё к одному, Толя, — развел руками Антипов.

Рядом два слесаря осторожно разделывали под доработку аккуратные, на вид не хуже мастерских швы.

— Юшин даже заплакал, — тихо сказал Володя, и вид у него был такой, как будто тоже только что наревелся.

Уже почти в девять вечера, в кабине старого, с расхлябанным кузовом «газона», стараясь не стеснить, не мешать шоферу, они с Володькой летели в город.

На коленях у Тольки прыгала пухлая тетрадка лекций.

У института Володя вылез вместе с ним, они кинулись в дверь и — вахтерша ахнуть не успела — наверх, на третий этаж.

В коридоре было пусто, только у 314-й комнаты на подоконниках валялись разодранные конспекты и чей-то целый, на радостях или в расстройстве забытый учебник...

Толик присвистнул.

— Пойдем в деканат! Пойдем! — возбудился вдруг Володя. — Он еще там, точно там! Я ему все объясню, он у тебя примет!

— Да ладно, брось ты! — засмеялся Толик.

Он даже как будто обрадовался такому повороту, колебания — сдавать или не сдавать — были теперь позади, и неожиданная Володькина вспышка его рассмешила.

— Я говорю — пойдем! — упрямо за руку тянул его Володька. — Томилин у вас принимает? Я его знаю, он человек, я у него на кафедре работал, холодильниками занимался, он — человек.

Толик, улыбаясь, шел за ним.

В приемной у декана еще горел свет. Володька храбро распахнул дверь — секретарша, с ключами и сумочкой в руках, вскрикнула.

— Здравствуйте! А Томилин здесь? — устремился на нее Володька.

— Да никого нет! Что такое? Что случилось? — приходила в себя секретарша.

— А экзамена не было? Термодинамики? — выпалил Володька.

— Почему не было? Экзамен был, — пожала та плечами.

Володька взглянул на Толика и сморщился. Толик снова рассмеялся. Девушка-секретарша строго посмотрела на него: наверное, жалела Володьку.

— Ну пойдем, старик, — развел руками Володька. — Ничего не поделаешь — невезуха.

Секретарша застучала за ними по лестнице каблучками.

— Опоздали? — посочувствовала она, догоняя.

— Опоздали.

— А вы не очень расстраивайтесь: сегодня так

плохо сдавали, просто удивительно. Многие вообще не стали сдавать — не решились.

— Ну, спасибо, утешили! — засмеялся Толик.

— Пошли ко мне, — сказал на улице Володя.

— Ну что ты? — сказал Толик. — Такое время.

Но Володька, все еще не остывший от недавней неожиданной решительности, через квартал затянул его в парадную, в лифт, и они поехали на последний этаж.

Володину жену Толик знал: раза три или четыре Володька привозил ее на заводские вечера и знакомил со всеми своими ребятами. Галей, кажется, звали. Галя тогда показалась Толику простой и веселой, и он сейчас шел без особого стеснения.

Она открыла дверь и заулыбалась.

— Мать, с голоду дохнем, — с порога заявил Володька.

— Надо думать, — сказала она. — Проходите, проходите, работнички. Ну, выполнили, наконец, свой план?

— Почему, наконец? — сказал Володя. — Выполнили досрочно — за три часа до срока. А сейчас там уже перевыполняют.

— Как же это без вас-то, — смеялась Галя.

Они расположились в кухне: в комнатке спала их дочка. Галя протестовала, убеждала, что дочка спит крепко, но Володька сказал: «Ладно, мать, не мельтеши, мы по-домашнему», и она не стала больше спорить, а Толик, в знак восхищения, покачал для Володьки головой — ничего у тебя в семье, порядок.

От водки Толик отказался принципиально: с горя не пью, но, накормив их, Галя уговорила попробовать кофе с коньяком, и то ли оттого, что очень устал, то

ли коньяка ему влили больше, чем кофе, он слегка захмелел — разболтался.

Ударился в воспоминания. Сначала, конечно, о бате — обидно вот: хотел старику подарок сделать, батя у него знаменитый в Кадиевке старик, — дальше незаметно вообще о своей Кадиевке — школа, штанга, волейбол, а потом все вперемежку до самой армии — граница в Карелии, лоси и медведи, гауптвахта в Петрозаводске. Впрочем, гауптвахта — ни за что, по недоразумению.

А Володька в сотый раз разъяснял жене, какое у них было отчаянное положение: за всю его работу первый раз такое, — и если бы не Толик...

Толик его прерывал, смеялся, что он-то дома ночует и не собирается уходить в КБ.

— А я уйду, — говорил Володька. — Увидишь — уйду.

Толик наконец спохватился, стал прощаться. Володька увязался провожать, он согласился — до остановки.

Трамвая не было долго.

— Ладно, старик, — говорил Володька. — Не расстраивайся. Знаешь, если бы ты плюнул и не пришел, я бы о тебе мнения не изменил. Веришь — не изменил бы. И Антипа — тоже. Даю слово. Ведь все-таки у каждого есть еще и личные интересы. В общем ты мог бы и не приходить, так? Но вот я уверен, что в таком случае у самого тебя червячок такой, как Антипа говорит, — червячок в душе, — остался бы. И ты бы к бате своему с ним поехал. Вот поэтому ты и не мог отказаться. И сейчас вот — плохо, то есть жалко, что термодинамику мы не свалили, но все равно лучше так, правда? А то бы был червячок этот. Был бы?

— Был бы, — улыбнулся Толик.

На электричку в 0.12 он опоздал.

Как выскочил из трамвая, сразу побежал, и уже скатывался с моста по последним ступенькам, а она закрыла двери и — угу!

Следующая в расписании в 0.57.

Он засунул конспекты за ремень, привалился спиной к граненому бетонному столбу и вдруг почувствовал такую усталость, такую тяжесть в расслабленном после бега теле, что, кажется, лег бы сейчас где стоит и проспал неизвестно сколько.

Так он и простоял, пока из тупика не подползла следующая электричка. Двери открыли, но света не зажгли, и он чувствовал, что если сядет в темный вагон, то уснет, уедет на конечную. Но войти, сесть, уснуть очень хотелось. От соблазна он побрел на вокзальную площадь, минут десять послонялся там — вернулся.

Электричка все еще стояла черная.

Он побрел по платформе вперед. За одним окном, в слабом, с высокого фонарного столба, свете, он уловил какое-то движение и вошел. На фоне светлого изнутри стекла чернела чья-то голова, а когда он подошел и сел напротив, то рассмотрел, что человек, мужчина, не один: положив ему на плечо голову, спала или пыталась заснуть девушка.

Он сел к ним, чтобы попросить, если далеко едут, разбудить его на Заводской, но мужчина сидел не шевелясь, может, тоже спал. Конспекты за поясом давили под ребра, он осторожно вытянул их и положил рядом. Его сразу начало клонить в сон, он повздрагивал, повздрагивал и уже решил выйти, подождать еще, но мужчина вдруг спросил коротко и с долгого молчания хрипловато:

— Вечерник, что ли?

— Вечерник, — с готовностью ответил Толик.

— Достается?

— Достается, — с той же поспешной готовностью поговорить отозвался Толик.

В голосе соседа ему почудилось участие: горечь сегодняшней неудачи еще не перегорела в нем, он еще нуждался в утешении, в подтверждении, что все правильно, что не бегал бы в цех, сдал свою термодинамику — хуже было бы, червячок бы грыз.

— Сессия, — добавил Толик.

Но мужчина не собирался его выслушивать, он заговорил сам, быстро и визгливо:

— Да! Учимся, учимся, лучшие годы — на буквоедство! Другим — жизнь, а нам формулы, мы — мимо! А что потом? Ну что будет у тебя потом, ты думал?

Толик смотрел на него ошеломленно.

— Ты кем сейчас вкалываешь?

— Ну, сварщиком, — пробормотал он.

— Сто пятьдесят? Больше? А кончишь, сколько будешь иметь? Меньше. Я сам, я знаешь кто? Я нефтяник по образованию. Поишачил в разведке—э, брат! Подался в НИИ. Благодать, но — младший научный, сто десять рэ. И за это я уродовался пять лет? И ты карабкаешься за этим?

Толик молчал. Поворот был такой неожиданный, что его как будто парализовало.

— Я, конечно, устроился, — разглагольствовал тот. — Я устроился. Но ведь годы потеряны! Го-ды! Интеграл Фурье, формула Стокса! А другие с одной таблицей умножения вот как живут! Я сейчас в мебельном, там простая арифметика: десятка в день — две с половиной сотни в месяц. А директор — ффа!

Вообще, уж если где зубриться, так это в торговом, и то!.. — видно чувствуя, что это как раз нелогично, махнул он рукой.

Толик молчал.

— А вечерники? Вы вообще еле живые! — передохнув, опять подал голос сосед. — Ты женат?

— Нет.

— И не женись, — уже без возбуждения, обмякнув, посоветовал тот. — Успеешь. Не женись лет до тридцати пяти, а то еще хуже будет.

— Почему еще хуже? — недобро нажимая на «еще хуже», наконец начал приходить в себя Толик.

— Женишься — узнаешь.

— Почему еще хуже, разве я тебе жаловался? — повторил Толик.

Сосед как будто почувствовал опасность.

— Да ладно, — миролюбиво сказал он. — Так же видно.

— Что тебе видно? — скандально повышая голос, наступал Толик. — Что ты можешь увидеть, такой, такой... — не находил он слова. Тут проснулась девушка и, ничего, конечно, не понимая, просто выставила руки вперед — защищала.

Это сдержало Толика, он замолчал. Сосед и девушка тоже молчали, но совсем проглотить все Толик не мог — очень его обидели, и, откинувшись на спинку скамьи, он тихо, как бы подводя черту, договорил:

— Тоже мне, увидел: еле живые... вякнешь еще — в окно выкину.

Тихий его голос, наверное, только подчеркнул серьезность угрозы, девушка вскочила и молча потянула за собой мужчину из вагона. Тот, не споря, удалялся за ней и пробормотал что-то только у самой двери.

Толик расслышал: напьются, — подскочил и быстро пошел за ними.

На платформе он попал прямо на милиционера, от которого мужчина оттаскивал свою девушку. Она не шла и, увидев Толика, обрадовалась:

— Это он, товарищ милиционер, он!

— В чем дело, товарищ? — строго спросил Толика милиционер.

— Ольга, что за фокусы, кто тебя просит? — тянул свою девушку мужчина.

— Нет, нет, а почему мы все должны терпеть? — возмущалась та.

— Предъявите документы, — потребовал у Толика милиционер.

Он достал свой студенческий — милиционер отвернулся под фонарь.

— А они? — сказал Толик. — А его документы? Я ведь не пьяный.

Милиционер, старшина, был старый и спокойный.

— И ваши документы, — потребовал он.

— Но я к нему ничего не имею, — сказал мужчина.

— А я имею! — возразил Толик.

— Безобразие! — возмущалась девушка.

— Предъявите документы, гражданин, — терпеливо повторил старшина.

Мужчина достал паспорт, и пока старшина листал его, Толик через голову старшины смотрел тоже. Он прочитал фамилию — Лептаев или Лентаев, Виктор Борисович, — а там, где прописка и отметки о работе, ничего не разобрал, но сказал: «Понятно», и мужчина покосился на него.

— Что же вы не поделили? — укоризненно спросил старшина. — Интеллигентные, кажется, люди.

— Я уже заявлял, — я к нему ничего не имею, — смирно повторил мужчина.

Старшина повернулся к Толику:

— А вы чего это взялись ночью отношения выяснять?

— Нельзя? — сказал Толик. — Ну, ладно, отложим. До первой встречи.

Старшина посмотрел на него внимательно, но не придрался, не стал уточнять, что это еще такое — угроза?

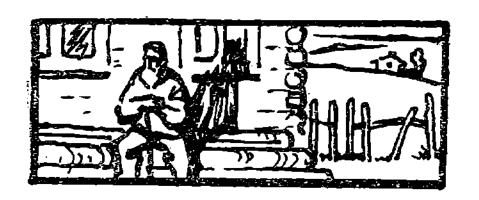
— Интеллигентные люди, — вздохнул он, отдавая им документы. — Прошу в вагоны, а то останетесь. Советую в разные.

— Можно и в разные, — согласился Толик. — Ну, привет, краснодеревщик!

Он вернулся в тот же вагон. В вагоне горел свет и от включенных моторов мелко дрожали скамейки. Он уселся на свое старое место, вытянул ноги, прислонился затылком к раме окна и улыбнулся удовлетворенно, вспомнив испуганную физиономию того типа, и особенно когда он через голову милиционера рассматривал его паспорт.

Спать ему расхотелось, всю дорогу он планировал: с термодинамикой, с отпуском, с обучением сварке Бориса Чистякова — и чуть не проскочил свою Заводскую.

Александр Севостьянов



БУДЕТ ЗИМА

Сегодня ему снилось, будто тешет он бревно под матку: ровно надо тесать, но топор словно сам в сторону забирает. Пытается он выровнять протес, но топор еще глубже в бревно врубается. Ничего он не может сделать, а кругом мужики стоят — лица вроде знакомые, а где их видел, не помнит. Смотрят мужики, смеются: «Ты что, Артамоныч, пропеллер делаешь?»

Проснулся Артамоныч, подумал: «Умру я, видать, сегодня. Пойду хоть на солнышке последний разок погреюсь».

Вот уже месяц, как старуха его домой умирать забрала. Как сказали ей доктора, что не жилец Артамоныч на белом свете больше, раскричалась старуха:

— Выписывайте его скорей. Он и так всю жизнь в семье не жил, кобель беспутный, так пусть хоть помрет-то дома...

И правда, повидал Артамоныч белый свет.

Последний раз, когда ему уже под семьдесят было, в Сибирь с младшим сыном подались. На стройку. Сын по договору поехал, а Артамоныча не взяли. «Ты, — говорят, — старик, еще комсомольскую путевку попроси. Жил бы себе пенсионером, фрукты-овощи выращивал...»

И пришлось Артамонычу за свои деньги билет купить.

Старуха ругалась: «Куда же тебя несет, черта старого? Ведь у тебя же внуки до седых волос дожили, а тебе, дураку, на месте не сидится!»

«Не рыпи, старуха, — сказал Артамоныч, — мы тебе оттуда денег много присылать будем». — Это он для успокоения жены так говорил, на самом деле он не для денег ехал туда, а по привычке: на месте не сиделось.

Проработали они два года плотниками на стройке, пока договор у сына не окончился, а потом пошли по сибирским деревням строить дома частным образом. Еще два года скитались.

Старухе Артамоныч посылал каждый месяц по тридцать рублей на жизнь, а когда вернулся домой, то ничего с собой не привез, кроме странных

протяжных песен, какие поют не для слушателей, а чтоб самому ничего не слышать и душой забыться.

И теперь, придет в гости младший сын, сядут они за стол, выпьют, тогда говорит Артамоныч:

— А ну, Алешка, давай-ка споем ту песню, что от старателей в Лебедянке слышали.

Сын пьет мало и потому просит:

— Не надо, батя. Ну зачем это?

— Алешка! — прикрикивает Артамоныч. — Родному отцу, может, и жить-то один месяц осталось, а ты с ним и песню петь не хочешь.

— Ну ладно, — ворчит Алешка, — ты еще меня переживешь... — И они поют тогда о матери, которая каждый день выходит на проселок и ждет сына, но никогда ей его не дождаться — убит ее сын-старатель в глухой сибирской тайге.

Поют они — песня такая душевная, жалостная, — а старуха плачет и расспрашивает Артамоныча, кто убил сына да зачем убил.

Выходит Артамоныч на улицу, садится на завалинку: жизнь деревенскую наблюдает. Жарынь страшная, воздух густой и неподвижный, будто накрыл кто большой деревню колпаком стеклянным и ни звука, ни ветерка сюда не проникает. Только по соседству с Артамонычем плотники тюкают топорами, словно глупые мухи в стеклянный колпак тычутся.

Разбирают плотники крышу старого дома, жарко им — разделись до пояса, мускулами на солнце играют. Плотников трое, старший кричит:

— Артамоныч, иди помогать!

— Я строить приду, а ты рубаху одень, дурень, — Артамоныч отвечает. — Сгоришь ведь.

Смеются плотники, смотрит Артамоныч на их блестящие спины, завидует: умом жару чувствует, а согреться никак на самом припеке не может — трудно прогреть ему умирающее тело.

Доктор зашел к Артамонычу. Для порядку зашел, знает, что нечем помочь Артамонычу, сам позавчера говорил старухе, что недолго жить ее мужу осталось. Пожаловался Артамоныч, что в груди стало больше болеть, сны нехорошие снятся, — доктор выслушал молча, не удивился и ушел, вежливо попрощавшись.

Хороший человек этот доктор, умный и дело знающий.

Молодайка подошла, поздоровалась.

Глядит Артамоныч — вроде невестка, жена одного из восемнадцати его внуков. Слаб стал глазами и памятью, пытает:

— Ты чья ж будешь-то, Мишкина, что ли?

— Ну да, Мишкина, а то чья же еще, — отвечает молодайка. — Опять с получки ни копейки не принес Мишка-то. Ты бы с ним, деда, поговорил, ведь никого, кроме тебя, не слушает...

— Это как же так, не слушает? — довольно спрашивает Артамоныч.

— А вот так, — сморкается молодуха, — батька с ним попробовал говорить, а он ему в ответ: «Я, папаша, женился не для того, чтобы себя удовольствия лишать, а для того, чтобы было кому похмелять». Поговори с ним, деда, он ведь хороший, Мишка-то, только непутевый такой.

— Ладно, поговорю, — соглашается Артамоныч. — Ты передай ему: дед, мол, по вопросу большой важности велел зайти.

Молодайка уходит, а Артамоныч обдумывает свой будущий разговор с внуком. Выпить Артамоныч и сам любит, потому нелегким будет разговор, а говорить надо. Покуда не умер.

«Мишка, — скажет он внуку, — Мишка, чертов ты сын. Опять ты аванс пропил?»

«Пропил, дед», — повинится Мишка.

«Мало я тебя бил, щенка. А почто ты с тестем так разговариваешь?»

«Для профилактики, — загогочет Мишка, — чтоб зятя больше себя и остального мира, уважал».

Потом пообещает: «Ладно, дед, это в предпоследний раз было».

«Ну, смотри, чтоб в последний».

«В предпоследний, дед», — поправит Мишка и уйдет по своим делам.

«Я тебе дам „в предпоследний!..“» — закричит ему вслед Артамоныч и подумает: «Ишь ты, придумал ведь что — в предпоследний. А ведь хорошо, чертяка, придумал. Что по-пустому-то обещать...»

Сидит Артамоныч на солнышке, старые кости греет и всякие важные дела обдумывает.

Воздух тягучий, липкий: пальцем пошевелишь — вязнет, а звук хорошо идет — свободно и мягко.

— Братцы! — кричит один из плотников.

В такую погоду громко кричать, что топором сливочное масло рубить.

— Ну, кто там тебя укусил? — ворчит старшой. А тот кричит — молодой, силу девать некуда.

— Гляньте-ка, что я нашел! — и какой-то темный предмет поднимает, с виду на ящик похожий.

Идут к нему, ящик разглядывают, потом на землю спускаются, показывают Артамонычу.

Не ящик — икона старая: какой-то святой, худой и черный, — то ли нарисован таким, то ли от времени почернел.

— Дурак, — презирает Артамоныч, — люди работали, миру пользу несли, а он от безделья своего проповедовал и муки терпел.

Люди стали вокруг собираться, все больше дачники — местные-то в поле все.

Подошел старик в трусах — в шортах по-городскому. Стоит: без рубахи, волосатую грудь почесывает, конфетку сосет — курить бросил.

— Константинопольская школа. Копия... — и другие умные слова говорит.

Мальчишка на велосипеде подъехал, в серединку протиснулся и смотрит, больше не на икону, а на взрослых людей — опасается: вдруг прогонят.

Молодая женщина подошла с дочерью, лет четырех от роду, тоже стоят, смотрят. У девочки рыжий котенок на руках, она гладит его, сама на икону смотрит и котенку старается показать. Сморщилась, заплакала.

— Ну что ты, глупенькая,—успокаивает ее мать,— это же икона. Картинка. Нарисовано. Ну успокойся, моя маленькая, это же нарисовано, просто нарисовано.

— Нарисовано, — перестала плакать девочка, котенка на землю спустила, что-то показывает ему на земле, говорит о чем-то.

Да и все остальные начали расходиться, старик икону с собой унес, плотники обедать садятся. Старшой пьет молоко из бутылки. Молоко тоненькой струйкой течет по его подбородку и падает на блестящую

сосновую щепку. Котенок подбегает, громко урчит и, вздрагивая худым телом, слизывает молоко со щепки. Плотник замечает это и плещет молоко прямо из бутылки.

«Должно быть, не умру я сегодня», — думает Артамоныч; согрелся он от солнца и близкого присутствия людей и приятную силу в теле почувствовал, — нет, не умру, рано мне умирать, когда кругом благодать такая». Жалко, не умеет он с учеными людьми разговаривать, а то бы сказал доктору: «Это все ерунда, доктор. Это все нарисовано. Просто нарисовано, это по-вашему, по-ученому, может, я и умереть должен. По-латыни. А я в латыни не разбираюсь. Я лучше зимой помирать буду: холодно и дел в хозяйстве мало будет. А сейчас никак нельзя».

Обедают плотники, котенок слизывает молоко с сосновой щепки, девочка чему-то своему смеется, солнце светит все жарче. Сидит Артамоныч на завалинке своего дома, щурится на солнце и о жизни размышляет.

Александр Осин

А ЧТО, ЕСЛИ...

В коричневых шерстяных шапочках, таких же свитерах и трико, в пристегнутых за пояс мягких меховых чулках-шубенках они сидели на раскладных стульчиках и ждали команды одеваться. Анатолий курил. Виктор берег легкие и мурлыкал «Чертово колесо».

Вдруг Анатолий тихо произнес:

— А что, если...

Виктор быстро окинул взглядом своего неразлучного «второго» и сразу все понял. У него и у самого такая мысль вертелась в голове. А что, если попробовать? Конечно, с разрешения командира спусков и если выполнят свою работу и останется время...

И вот они в скафандрах, уже спущенные за борт, сидят на платформе водолазного колокола. Зацепились за предохранительные стопоры.

— Первый, взялся за стопор. К спуску готов!

— Второй, взялся за стопор. К спуску готов!

— Начали спуск! — Лейтенант махнул рукой лебедчику. Лебедка глухо взвизгнула, и туго натянутые тросы поползли, потрескивая на блоках спуско-подъемного устройства: выдавливалась густая смазка.

Тросы спешат в воду. И так же быстро уходят в глубину водолазы, сидящие на платформе водолазного колокола..

Быстрее, быстрее. Надо торопиться. Для работы на грунте отводится всего тридцать минут. И ни минуты больше. Так говорят водолазные правила. Тридцать минут... Сюда же включается время спуска до грунта.

— Первый, как самочувствие? — доносится до Виктора по телефону голос оператора.

Самочувствие? Какое же оно может быть? Конечно, отличное! Как и у «второго», Анатолия, который придерживает пенал — герметический сосуд с медикаментами и пищей. Для подводников, для тех, кто потерпел аварию.

Виктор следит за приближением объекта — затонувшей подводной лодки. Пока не видно. Светом фонаря выхватываются из тьмы, испуганно разбегаются в стороны стайки рыбной мелюзги. Но вот далеко внизу показались смутные очертания лодки. Ближе, ближе.

«Скорее бы, скорее, — не терпится Виктору. А когда до лодки осталось совсем мало, крикнул в телефон:

— Стоп! До лодки — один метр!

Платформа остановилась. Виктор быстро снялся со стопора, сошел на палубу. Сейчас главное — быстрей найти конец воздушного шланга, спущенного со спасательного судна, и присоединить его к соответствующему штуцеру лодки. Присоединить, и все. А «второй» — Анатолий — оставит на палубе пенал с медикаментами и пищей для подводников, а сам будет внимательно следить за шланг-кабелем «первого» — чтобы не запутался, не зацепился. Как только воздушный шланг будет присоединен, водолазы должны сразу же подниматься. А пенал будет подавать другая пара водолазов.

Но пока поднимутся одни, пока спустятся другие, пройдет уйма времени. А там, в лодке, ждут... Ждут третьи сутки...

Да, Анатолий прав: можно бы и им самим справиться с пеналом.

Виктор увидел перед собой толстую кишку шланга — и обо всем забыл. Теперь за дело. Подтянул к себе поближе шланг, слегка закрепил его и начал отдавать заглушку штуцера, выходящего на палубу лодки.

Для работы на такой большой глубине отводятся считанные минуты. «Скорее, скорее», — подгоняет себя Виктор, энергично работая ключом. Ключ срывается с гайки, Виктор, потеряв равновесие, валится на бок.

— Э, черт! — рычит он и снова яростно налегает на ключ.

А минуты бегут, бегут минуты.

Наконец заглушка трогается с места. Дело пошло веселее.

— Первый. Заглушку отдал. Присоединяю шланг. Самочувствие хорошее, — раздается в пульте через пятнадцать минут от начала спуска. Но телефон кроме этих слов принес снизу еще и тяжелое дыхание водолаза. И врач-физиолог, и командир спусков, и все находящиеся на спасателе водолазы знают, как тяжело сейчас Виктору. Здесь, наверху, — дождь и ветер. Холод пронизывает до костей. А там, под громадной толщей воды, ему сейчас жарко. Виктор весь взмок, по щекам — пот ручьями. Щиплет глаза. Но платочка из кармана не вынешь. Не вытрешься. В ушах — тонкий, еле уловимый звон. В висках застучали молоточки. Тяжестью наливается затылок. Жарко...

Но водолаз продолжает завертывать соединительную гайку. Из тьмы на свет выскакивают маленькие рыбки, уставясь, смотрят на невиданное чудовище. Глазастое. Зеленое. Плавниками машет, а ни с места. Издает какие-то цокающие звуки. Страшно отфыркивается огромными пузырями, выходящими откуда-то из-за спины. Осмелев, рыбки подбираются ближе. Но Виктору не до них. Он делает последнее усилие — и гайка завернута до отказа.

Готово! От радости Виктор резко бросает ключ на палубу. Напуганная камбала изгибается и, сильно оттолкнувшись широким хвостом, исчезает из зеленоватого круга, уходит во тьму.

— До подъема пять минут! Как самочувствие? — слышит Виктор голос врача-физиолога.

— Готово! Шланг присоединил. Самочувствие хорошее.

— Возвращайтесь на платформу.

Как приятно встать, выпрямиться, разогнуть отекшие от сидения на корточках ноги, свободно опустить

руки. А главное — сознавать, что задание выполнено в срок. Фантазия Виктора разыгрывается. Он видит себя не на учении, а в настоящем деле. Он ясно видит, как там, в отсеках аварийной лодки, уже несколько суток ждут его помощи. Всплыть не могут. Нечем продуть цистерны. Да и в отсеках накопилась углекислота. Люди задыхаются. И вот он, Виктор, довернул гайку шланга. Можно начинать вентиляцию. В отсеки врывается струя воздуха. Ура! Свежий!.. Да, но ведь нужны еще медикаменты...

— Товарищ лейтенант! — кричит Виктор в телефон. — Разрешите мне подать пенал в лодку.

— Нет, ты устал и не успеешь...

— Успеем. Пусть подаст «второй».

Наступила небольшая пауза. Наверху, как видно, совещались.

— Ну, добро, — услышал Виктор голос командира. — Пусть подает «второй». Только быстрее.

— Есть! — обрадованно выкрикнул Виктор и кивнул Анатолию.

Тот, намотав на руку несколько витков шланг-кабеля, взял пенал и пошел к носу лодки. Спустился к торпедному аппарату.

Все шло хорошо. Перестукиваясь с подводниками, Анатолий попросил их открыть крышку аппарата. Так. Хорошо. Осторожно. Так-так.

Но пенал вдруг перекосило, и он застрял в трубе торпедного аппарата. Немножко на себя. А теперь вперед. Пошел! Пошел! Анатолий дает знак в лодку: пенал передан, закрывайте аппарат. Крышка закрылась. Анатолий стал взбираться наверх, на палубу лодки. Но вдруг он оступился, и его потащило вниз. И вот он на грунте. Снаряжение на нем слишком тяжелое, ему одному, без помощи Виктора, не подняться

на лодку. А Виктор сейчас сильно устал. Анатолий упрямо карабкается вверх, используя неровности корпуса лодки... Но каждый раз его постигает неудача, и он снова и снова оказывается внизу, под корпусом лодки.

На запросы сверху Анатолий отвечает, что самочувствие хорошее. От бесплодных усилий выбраться стало душно, жарко. Перед глазами поплыли темные круги. Поташнивало. Силы уже оставляли Анатолия, когда он почувствовал, что его кто-то подтягивает вверх за шланг-кабель.

Он запрокинул голову, насколько позволил скафандр, и увидел над собой вверху зеленое чудовище — это Виктор его тащит наверх. Первый-то торопится. Время истекает. А наверху врач-физиолог нервно посматривает на часы: в распоряжении водолазов осталось три, две, одна... полминуты.

— Время кончилось, — вконец расстроенный, докладывает врач командиру спуска.

Но что тут докладывать! И без того всем ясно, что время кончилось. Часы имеет каждый.

— Первый, что делаешь? — спокойно, но требовательно спрашивает командир спусков.

Виктор чувствует, что время истекло, хотя сверху об этом не сообщают, чтобы не расстраивать водолазов, не вносить лишнего беспокойства. И он докладывает:

— Первый. Нахожусь на лодке. Второй упал на грунт.

Врач побледнел. Командир спусков зашагал по юту. Стало тихо. Всем ясно, что ситуация сложная. Поднимать водолазов придется по аварийному режиму. Поднимать... Но это еще когда-то будет. А сейчас...

— Первый, отдохни. Второй, отдохни. Спокойно.

И сразу же на душе у Виктора стало легче. Их в беде не оставят. Помогут. Посоветуют. Выручат. Виктор отдыхает. Анатолий — тоже.

Минута, другая, третья...

— Второй, набери больше воздуха.

Анатолий набирает в гидрокомбинезон как можно больше воздуха. Гидрокомбинезон раздувается. Так будет легче взбираться на лодку.

— Первый, помогай второму. Тяни за шланг.

Виктор тянет изо всех сил шланг Анатолия. Второй опять начинает «восхождение».

Врач, прильнув к телефону, ловит каждый шорох, каждый звук, доносящийся от водолазов. Ихэ, ихэ... Идут к платформе. Ихэ, ихэ. И вот оба водолаза сидят на платформе, медленно ползущей вверх. Приятное тепло окутывает Анатолия. Хочется спать. Закрыть глаза. Вот так. И ни о чем не думать. Ничего не видеть. Прилечь бы... Вдруг перед глазами Анатолия выросли зеленые обои комнаты. Он лежит на диване, лицом к стенке. Рядом — Люся. Наклонившись, она целует его. Нежно-нежно. Как тогда, в госпитале. Она и теперь старается ободрить его. Треплет волосы. И вот Люся куда-то уплывает. Вместо нее — черное пятно. Темнота сгущается. Анатолий засыпает. Кто-то его настойчиво тормошит за руку. И поспать не дадут! Кто же это?

Анатолий открывает глаза. Это Виктор дергает его за рукав.

— Заходи в колокол, — доходит, наконец, до его сознания.

Он лезет в колокол, медленно берется за подвес. Вот теперь совсем хорошо стало. Слегка клонит голову и... снова куда-то проваливается.

Теперь очередь Виктора заходить в колокол. Просунувшись в люк, Виктор стукнулся шлемом о свинцовые галоши Анатолия, висящего на подвесе. Чуть в сторону. Так. Выше, выше.

— Второй, как самочувствие?

Молчание.

— Второй, как самочувствие?

Молчание.

— Второй, как самочувствие?

Молчание.

Врач смотрит на командира спусков. Командир — на врача.

— Первый, где второй?

— На подвесе.

— А ты?

— Сейчас и я возьмусь.

— Второй, как самочувствие?

Молчание.

— Анатолий, Анатолий, — тормошит Виктор друга. Анатолий молчит. Глаза закрыты.

— Анатолий, Анатолий, — не отстает Виктор.

Наконец Анатолий открывает глаза.

— А?.. Что?.. — шевелит он спросонок губами и в конце концов понимает, чего от него требуют. Набрав побольше воздуха, слабо выдавил в телефон:

— Второй. Самочувствие хорошее. Нахожусь на подвесе.

Врач и командир снова смотрят друг на друга. Но теперь в их глазах нет и тени тревоги, что минуту назад пряталась еще там: страшная опасность потерять человека миновала...

Правда, Анатолию и Виктору будет очень тяжело. Их подстерегает кессонное заболевание — это бич водолаза. Но об этом позаботится врач.

Он уже засел за таблицы, ломая голову над режимом декомпрессии. Шутка ли, целый час провести на грунте. Шестьдесят минут вместо тридцати допустимых. Придется посидеть ребяткам в барокамере часов тридцать. А то и больше... Ну, ничего, зато полная гарантия от «кессонки».

...Анатолий и Виктор, освобожденные от гидрокомбинезонов, укрывшись шубами, лежали в барокамере, когда она вдруг вздрогнула и затряслась мелкой, частой дрожью. Спасательное судно, выполнив задание, возвращалось в базу.

Александр Морев

БЕГОМ, БЕГОМ, ВНИЗ, К РЕКЕ

Сначала шла сухим фиолетовым вереском. Густой и жесткий, он сухо царапал загорелые щиколотки ног, оставляя на загаре белые полоски царапин, особенно на косточках.

И вдруг сосны бора стали редеть, мельчать, спускаться вниз. Началось болотце с чахлым сосняком, с кочками, с запахом дурмана. Шла по кочкам, наступая на теплые брусничники у старых сухих пеньков,

видела кусты гоноболя с крупными матовыми ягодами и внимательно смотрела под ноги — боялась наступить на змею. Один раз встретила змею и боялась. Под ногами, во мху, вода холодком просачивалась между пальцами. Она шла и аукала. Он отозвался в стороне, уже в лесу.

Болотце кончилось, вошла в лес на солнечную плотную полянку и бросилась в теплую траву. Очень счастливая, что миновала болото. Кругом пузатились молодые сосенки с длинными светло-зелеными свечками. И снова захотелось в тень. Опустила лицо в траву, затаила дыхание — прислушалась.

Он шел параллельно, и она знала, что он не заблудится и тоже выйдет к реке. Она улыбалась в траву, ждала его голоса.

Солнце жгло икры ног. Сарафан из тонкого ситца — не старушечьего, черного с мелким горошком, а яркий, красный, — не защищал от солнца. Она чувствовала, как печет, и все улыбалась и трогала губами колючие травинки, и прислушивалась, ждала, ждала и... открыла глаза...

Сын так и не ложился. Он сидел за столом и, прикрыв от нее свет настольной лампы, писал. Она молча смотрела на него.

Весь день стояла невыносимая духота. А сейчас шел дождь. Ночная гроза. И она обрадовалась дождю, темноте, свежести за окном и, протянув руку к столику у постели, выключила вентилятор — беззвучную модель самолета.

Сын, набычившись, поверх очков взглянул на мать:

— Ну как? — улыбнулся он.

— Открой, пожалуйста окно, — попросила она. — дождь...

Большой и грузный, он легко встал, двинув стулом, отдернул занавески и толкнул рамы в сад. В комнату ворвался шелестящий свежий шум дождя.

«Совсем как отец, — подумала она. — Высоченный и плечи обрывистые, совсем как он, и ходит легко».

Поерзала теплой щекой по подушке, чтобы лучше видеть его.

Сын подошел, сел на край кровати, снял очки, устало потер переносицу и улыбнулся.

— Ну, как, тебе хорошо?

Она смотрела в его большое, доброе и, как когда-то говорил отец, «пьеробезухое» лицо — уши и правда были маленькие, материнские уши, а лицо широкое, добродушное в очках. Сейчас, без очков, лицо его было усталым, постаревшим. Она тронула его колено:

— Ты же устал! Иди поспи!

Он кивнул:

— Успею, мам. Тебе как, лучше?

— Мне хорошо! Шел бы к себе.

Она закрыла глаза, желая снова увидеть свою поляну и услышать тот голос. Но за окном шел дождь. И она сказала:

— Сегодня просторнее стало, хорошо, что дождь...

— Родная... Ты не думай... — Он нагнулся и поцеловал ее в висок. — Ты не думай ни о чем. Спи. Отдыхай. — И еще раз поцеловал в теплый старческий висок и в гладкие волосы надо лбом.

А глаза ее попросили: «Еще...» И он еще раз поцеловал волосы. Она улыбнулась, придержав его голову. У него были осторожные губы, и руки — сильные, мягкие. У сына всегда самые мягкие руки.

Он подвинул цветы на столике ближе к ней.

— Посмотри, мама, только что принес — совсем еще мокрые. Прямо из сада.

— Хорошо. — Но эти цветы были сейчас очень далеко... — Шел бы, отдыхал. — Она погладила его руку.

— Ладно, мам.

Она улыбнулась. Он, как в детстве, сокращал это слово.

— Я знаю, ты теперь счастлив в работе. Хорошо, когда так... Отец тоже сидел ночами. А что ж не привез Валерку? Я его понянчила бы.

Он хотел сказать, что Валерке уже двадцать лет, но промолчал.

— Да, мама. А знаешь, я хочу взять тебя к себе. Ты как? — Он имел в виду Сибирь, откуда прилетел по вызову неделю назад.

Она закрыла глаза и, словно из окна поезда, увидела внизу траву, бегущие желтые цветы и тень от поезда с просветами тамбуров, скользящую по траве. Цветы бегут, сливаются с травой, тень спешит, воздух пахнет цветами, песчаным полотном насыпи, железными крышами вагонов, дымком, гарью... И далеко впереди — гудок паровоза...

— Очень далеко к тебе ехать, — сказала она. Тронула мокрые лепестки. — Спасибо, я люблю, когда мокрые, особенно сирень.

Он хотел сказать, что это не сирень, что это ее цветы, но промолчал... Ее лицо было спокойно. Не открывая глаз, спросила:

— А видел, какие за террасой подсолнухи? Отец любит подсолнухи.

Она сказала — любит.

— Да, мам. Стоят, как четыре солнца по ранжиру. А сейчас висят мокрые. Солнца нет, и висят. Четыре солнца. Отец любил солнце...

В окно, за шелестом дождя, далеко погромыхивал гром, словно укладывался на ночь, но все не мог устроиться поудобнее. Ворочался с боку на бок.

Она шевельнулась на кровати:

— Хочу сесть.

Сын помог, придерживая ее слабую теплую спину в тонкой, чуть влажной рубашке, — взбил, поправил подушку.

— Теперь лучше, устала лежать.

Она положила руки поверх одеяла и закрыла глаза. Сын смотрел на ее маленькое осунувшееся лицо: щеки, веки, губы. Любил лицо матери, и даже сейчас любовался им. На полу лежали ее маленькие шлепанцы.

Не открывая глаз, сказала:

— Умереть не страшно. Как забыться... Каждый день мы засыпаем, как умираем. Страшно другое — не проснуться, и то только тем, кто проснется рядом.

Сын смотрел, помаргивая набухающими веками. Представил, почти увидел, как она проснулась утром год назад, а отец спит, и ее рука не могла разбудить, и ее слово не могло разбудить, и даже ее крик не смог разбудить отца. Он представил этот крик... Одна. В большом доме. Кругом сад.

Сын появился на свет, когда отцу было двадцать три, а ей девятнадцать. Сын помнил их молодыми. И всегда счастливыми.

И вот год назад отец умер.

На Новодевичьем было много венков и речей, много народа. Мать стояла спокойная. Многие плакали, она — нет. Рядом плакал взрослый сын, она — нет. Она смотрела на мертвого, сняла пылинку с лацкана его пиджака, машинально поправила цветы в изголовье. И когда опускали в могилу — стояла с окаменевшим лицом.

Земля стукнула в крышку, сын нагнулся бросить горсть, — мать остановила его руку. Глаза ее были сухи и, казалось, не могли чего-то понять или понимали слишком многое...

Дома она делала все, как и прежде, — подчеркнуто аккуратно, но чуть замедленно. Врачу сказала, что как только приведет в порядок бумаги мужа и передаст все его материалы в Академию, уберет могилу, поставит памятник и ограду, и посадит цветы — больше ей ничего не останется, только уйти. Теперь все было сделано. И она ждала. Она ни разу не заплакала. Ни разу. Она была очень спокойна, и это ее спокойствие было страшным для тех, кто знал ее.

Сын сидел рядом и грустно смотрел на свои руки. Он думал о том, что давно отдалился от матери и отца. Рано сам обзавелся семьей, и работа заставила переехать в Сибирь. И хотя он любил своих стариков, даже болезненно любил, особенно мать, — свою работу он тоже любил, и теперь жалел, что так редко писал и еще реже приезжал.

Она смотрела на сына, потом перевела взгляд на мокрые цветы, и вдруг ей захотелось снова в лес, к еловым веткам. Наклоняться над ними, задеть щекой их колкую мокрую хвою, раздвигать под зеленым грибным дождем, идти и стряхивать с ветвей капли дождя на волосы, на лицо.

И она вновь, осторожно ступая, босая, вошла в лес. Но дождя нет, душно и сухо. И сразу услышала его голос и пошла быстрее, побежала. Лес стал светлеть и редеть. Деревья расступились, и она увидела внизу залитые солнцем зеленые берега реки. Во все стороны далеко разбежались стога. А за лесом — тонкая труба кирпичного завода, и внизу, далеко на тропинке, у самой воды, наконец — он.

Он шел, долговязый, в белых брюках и белой рубашке, босой. Он издали помахал ей сандалиями, что-то закричал. Но что? Она не расслышала — было еще далеко — поняла только, что кричит он что-то веселое.

И вот она села, сидит, поджидает его на берегу. И хочется спуститься к нему, сбежать навстречу, но ждет — пусть подойдет поближе. Поправила на плече лямку сарафана — ее любимый красный сарафан с большим белым горохом, а плечо горячее, бронзовое от загара и даже там, где лямочка, — горячее, даже хочется рукой прикрыть. И хочется сорваться с места, обхватить себя за плечи и бегом спуститься к нему, к реке. Но пусть сам подойдет поближе. Как хочется быть рядом! Пусть только подойдет поближе. Я побегу к нему по траве, загибая руками ветки... Она чувствовала свои ноги и знала, как хорошо будет ногам там, внизу, в тени, на мокрой прохладной тропе. Ждала, подняла голову и увидела высоко в небе врезавшуюся в синь белую полоску самолета. Полоска белая, вертикальная, медленно ползущая вверх, а пониже — вторая, такая же вертикальная, белая на синем.

— Кто это?.. — шепнула она.

— Что, мам?

— Нет, нет, это самолет, — сказала она. — И как высоко!

Полоски ползли выше и выше — в голубое. И ей казалось, что кто-то возносится.

— Мам, ты что?

Над головой шумел зеленый лес, и было тихо.

— Иди, иди! — прошептала она. — Я сейчас...

Лес шумел.

— Мама? Что «сейчас»? — тревожился чей-то голос. — Хочешь музыки? Я поставлю, ты же лю-

бишь? — голос чуть не кричал. — Я сделаю тихо, мам?!

— Иди, иди...

Что? Куда? Сигареты? Да, сигареты. Сын схватил сигареты и тихо, не глядя на мать, ушел на веранду.

Дождь глухо барабанил по крыше веранды. Он распахнул дверь в шумящий мокрый сад и остановился. Почиркал зажигалкой и, затягиваясь, смотрел в сад и молча ждал — грома или что там могло быть? Грома не было. Дождь шелестел листвой яблонь, и в темных листьях мерцали мокрые яблоки, освещенные слабым светом ее окна.

— Что же ты, мам? — прошептал он в темноту. — Что же ты? Прости, прости... — и заплакал.

Дождь шел, и здесь, и там, в ее светлом лесу, и где-то далеко-далеко, — наверное, уже под Москвой — еле слышно прогремел гром.

Анатолий Степанов

ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Рассказ о битом кувшине

Я иду с работы домой; под ногами похрустывает снег. Иду и думаю: «Сейчас залезу в теплую ванну. Помоюсь, а потом поем и сяду читать детективный роман».

После тяжелой работы мне всегда хочется самого обыкновенного.

Жена должна быть дома, она в этот день не работает и не занимается в институте. Поэтому, подойдя к своей квартире, я не вынимаю из кармана ключ от двери, а жму

на кнопку звонка: открывай, жена, муж пришел! Чтобы не звонить просто так, я всегда вызваниваю какую-нибудь мелодию: «Яблочко» или «Расцветали яблони и груши». Несколько раз я пробовал звонить на мотив «Волжских страданий» и «Сама садик я садила», но получалось очень плохо.

— По моему звонку жена узнаёт, что я пришел в хорошем настроении, и встречает меня с улыбкой. «Ну что хулиганишь!» — говорит она. А если, случается, я возвращаюсь домой в плохом настроении, то, отзвонив один куплет «Яблочка», я сразу становлюсь веселее. Я уверен, мы с женой редко ругаемся именно потому, что я умею играть на дверном звонке.

Дзин, дзин... Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке! Я не успеваю полностью сыграть куплет, как жена открывает дверь.

— Пришел! Наконец-то! — Она целует меня в щеку и говорит: — Пока не разделся, вынеси ведро с мусором.

Я всегда стараюсь слушаться жену.

Вернувшись с помойки с пустым ведром, я скорее раздеваюсь: сейчас я залезу в ванну, а пока моюсь, жена разогреет поесть.

— Ты знаешь, я сегодня весь день занималась уборкой, — говорит она, — и не успела сварить обед. Вычистила посуду, вымыла полы, выстирала кое-что из белья. Ты знаешь, у нас в шкафу хранится уйма ненужных вещей. Полный шкаф — и половина хлама. Я решила кое-что выбросить, вон лежит в углу.

В углу рядом со шкафом лежит груда тряпья. В самом низу лежит мое старое пальто. Пальто еще хорошее, его еще можно носить, но я его теперь никогда не надеваю. Мне надоело все время помнить, какие именно карманы с дырками, а какие — без. А

зачинить карманы то жене некогда, то мне неохота; после того как я во второй раз потерял ключ от квартиры, я поклялся больше никогда не надевать это пальто.

Тут же в груде лежит мой старый зеленый свитер, женина рубашка и еще много-много чего-то.

— Правильно, выбрасывай, — говорю я. — Зачем все это хранить? Зачем обрастать хламом, ведь мы не старики. Это только старики обрастают всяким старьем из одежды, мебели, воспоминаний. У старых людей нет настоящего и будущего, у них есть только прошлое; у них уже нет и не будет веселой любви, а есть только воспоминание о ней. Поэтому старики так и цепляются за старые вещи, что эти вещи были свидетелями их любви, счастья и горя, и старикам кажется, что если все выбросить, то и не останется ничего от их жизни. А нам зачем все беречь? Мы еще всего наживем: и одежды, и мебели, и воспоминаний.

— Ну вот опять! — говорит жена. — Сидит и рассуждает! Ты, чем рассуждать, лучше посмотрел бы: может, я хочу выбросить что-нибудь нужное.

— Наверху лежит что-то из твоего белья. Я не смею прикасаться к твоим вещам.

— Это бюстгальтер. Ах, какой ты стал стеснительный! Давно ли ты стал такой?

— Не смейся. Если бы этот бюстгальтер был на тебе, то я не стеснялся бы до него дотронуться, но когда он лежит вот так, без тебя, мне стыдно взять его в руки. Это очень странно, об этом стоит подумать.

— Нет, нет, думать будешь потом. Смотри, что здесь лежит: свитер, рубашка, майка...

Жена перебирает груду тряпья, а я продолжаю сидеть на стуле и смотрю на жену. Красивая у меня жена.

— ...Рубашка, майка, твое пальто. Я решила выкинуть твое пальто, — говорит она.

— Выкидывай, — соглашаюсь я. — В кладовке лежит мой старый плащ, его тоже можно выкинуть.

— Правильно! В кладовке нам нужно разобраться, там много чего ненужного. Пойдем посмотрим.

— Хорошая, я еще не переоделся и не ел.

— Давай покончим с уборкой, а потом я поджарю котлеты и мы поедим. Ну, ладно, так уж и быть, давай съедим по бутерброду.

Пока жена на кухне делает бутерброды и разогревает чай, я переодеваюсь по-домашнему: тапочки, трикотажные брюки, вельветовая куртка.

Мы съедаем по куску булки с маслом и с колбасой и выпиваем по стакану чуть теплого чаю.

— Пещерный человек не носил трусов, свитеров, плащей, — говорю я, — а вместо дохлой колбасы он ел жареное мясо. Нам приходится расплачиваться за то, что мы живем в культурном обществе и раз в неделю ходим в кино.

— Древнейшие люди в зимние месяцы умирали от холода и голода, — говорит жена. — Я думаю, еще можно выбросить мой старый халат.

— Выбросим, — соглашаюсь я. — Мы много чего выбросим, хорошая.

Кладовка рядом с кухней; это такая маленькая комнатушка на два квадратных метра. Часто такие кладовки называют тещиной комнатой; не потому, что тещи живут в этих комнатушках, а потому, что хотелось бы их туда поселить.

Мы входим в кладовку. По одну сторону от входа сделаны полки, и на полках стоят настольная лампа без абажура, чернильный прибор, отлитый из чугуна, коробка с елочными украшениями и еще много

всяких вещей, которые нам не нужны, но когда-нибудь могут пригодиться. С другой стороны от входа прибита вешалка; здесь висят мой старый плащ, комбинезон, женин старый халат, женино старое пальто — все старое и прохудившееся.

— Может, я в этом плаще буду ездить в лес за грибами? — спрашиваю я.

— Выбрасывай, — говорит жена. — К тому времени, когда ты соберешься за грибами, твой новый плащ уже станет старым.

Жена всегда покоряет меня тем, что она лучше меня самого знает, на что я способен.

— Это тоже выбросить, — и она подает мне свой старый халат. — А вот пальто я еще, может, когда и надену.

Ага, мой плащ она решилась выбросить, а свое пальто ей жалко.

— Выбрасывай, — убеждаю я. — Куда ты такое старье наденешь?

— Ладно, выбрасывай.

Я собираю все в охапку и несу в угол, где уже лежит груда на выброс.

Настольную лампу без абажура мы тоже решаем выбросить. А вот из-за чугунного чернильного прибора получается спор.

— Нужно выбросить, — говорит жена. — Мне надоело передвигать эту тяжесть каждый раз, как вытираю пыль.

— А ты так часто вытираешь пыль! — говорю я. — Нет, чернильница совсем хорошая. Жалко выбрасывать вещь, которая в отличном состоянии.

— Но ведь мы всегда пишем авторучками.

— Нет. Нужно ценить хотя бы труд, потраченный на эту вещь.

Но тут же я сам думаю: «А на кой мне эта чернильница?»

— Ладно, давай выбросим, — соглашаюсь я.

— Это тоже надо выбросить, — и жена достает с полки электроутюг с поломанной ручкой.

— Хорошая, ты знаешь, почему до двадцатого века не было ни холодильников, ни стиральных машин, ни электроутюгов? — спрашиваю я. — Ученые еще раньше могли все это изобрести, но специально не изобретали. Они знали, что женщины каждый день будут что-нибудь ломать и мужьям не будет покоя. Еще в прошлом веке мужья никогда не слышали от своих жен: «Дорогой, стиральная машина сломалась. Дорогой, нужен новый электроутюг». Счастливые мужья прошлых столетий один раз в своей жизни покупали чугунный трехкилограммовый литой утюг и потом всю жизнь ходили в глаженых сорочках.

— Просто тебе жалко пять рублей на новый утюг, — догадывается жена, — потому ты так длинно и говоришь. Когда я покупаю тебе бутылку коньяку за двенадцать рублей, то ты доволен, а когда я хочу купить новый утюг за пять рублей, то тебе становится жалко денег.

— Ладно, ладно, покупай новый утюг.

Я ношу и складываю в угол и настольную лампу, и чернильный прибор, и утюг с поломанной ручкой. Все на помойку! Нужно окружать себя красивыми вещами; на помойку рваные халаты и утюги с поломанными ручками!

Я смотрю на груду в углу, глубоко вздыхаю и чувствую, что дышать мне стало легче; будто всю эту груду я таскал на себе и вот только теперь сбросил с плеч. На помойку все это, с плеч долой, из памяти долой!

— Хорошая, давай еще что-нибудь выбросим.

Еще я бросаю сюда же в угол пяльцы для вышивания и свои старые ботинки. Ботинки еще можно сдать в ремонт, а потом носить как новые, но я уже вошел в азарт и, не дрогнув, бросаю ботинки в угол: на помойку!

А вот пяльцы для вышивания мне жалко. Глядя на них, я представляю свою жену, как она еще девочкой сидит и вышивает все цветочки, цветочки, листики, веточки...

— Тебе не жалко пяльцы? — спрашиваю я.

— Жалко. Я вышивала на них, когда еще училась в школе. Но теперь они не нужны, выбрасывай.

Всё. Из кладовки больше нечего выбросить. Я хожу по комнате и смотрю, что еще есть ненужное.

— Давай выбросим и это, — и я показываю на фарфоровую статуэтку, изображающую доброго молодца на скачущем коне; под мышкой добрый молодец держит обыкновенную жар-птицу.

Я знаю, что жене этот добрый молодец не нравится. Мы сами никогда бы не купили эту статуэтку, но нам подарили ее родственники. Родственникам что — они подарили, и все, а мы мучаемся: выбросить жалко — денег на нее потрачено уйма, а любоваться на нее тоже не хочется.

— Выбрасывай, — говорит жена.

— Вот это тоже выбросим, — говорю я и беру с серванта кувшин с длинным горлышком. На боку кувшина глубокая трещина, а ручка была совсем отколота, и я сам приклеивал ее; приклеил очень неуклюже, и места склейки сразу заметны.

— Ты что! — кричит жена. — Ведь этот кувшин мы купили во время нашего свадебного путешествия.

— Но этот кувшин уже битый. Когда-нибудь

мы опять поедем в Баку и купим точно такой же кувшин.

— Нет, это будет уже другой кувшин.

— Мистика! Идеалистика! Зачем тебе кувшин, если я сам здесь?

— Ну как хочешь, — говорит она; и чувствуется, что говорит это неохотно.

Доброго молодца и битый кувшин я кладу все туда же в угол.

— Смотри, сколько вещей загромождали нашу жизнь, — говорю я жене.

— Нашу квартиру, — поправляет меня жена.

Вот так она и всегда; так и все женщины. Пока говорили о кувшине, купленном в память о свадебном путешествии, она проявляла удивительную тонкость — идеалистка! — а как заговорили о жизни вообще, она сразу огрубела разумом.

— Нет, жизнь, — настаиваю я. — Эти вещи участвовали в твоей и моей жизни. Чтобы человек не был рабом своего прошлого, чтобы он мог иногда остановиться и решить, кто он есть и какое место он занимает в мире, ему нужно сначала сбросить хлам, который он тащит на своей спине. Вещи обязывают; если человек тащит на себе диван, то ему и хочется все время спать. Не всякий человек решится сбросить с себя груз прошлого и по новой собирать воспоминания, и свой характер, и свою любовь, и ненависть.

Я чувствую, что должен еще что-то сказать, и добавляю:

— Вот так-то.

— Где ты научился так много говорить? — удивляется жена.

— Хорошая, я сын своего времени, я слушаю радио, читаю газеты.

— Давай вынесем все это на помойку, — говорит жена, — и я начну жарить котлеты.

Я расстилаю на полу оба старых пальто и складываю на них электроутюг, свитер, бюстгальтер... Получаются два больших узла. На полу остаются только добрый молодец и битый кувшин — они уже не вместились в узлы.

— Всё, несу на помойку.

Я беру узлы в руки, а жена открывает передо мной двери.

На улице уже темно. Хорошо в темноте выносить на помойку старые вещи, никто не увидит, каким хламом ты оброс. Я бросаю узлы возле бачков с мусором и скорее бегу домой.

Жена сидит на диване и смотрит на доброго молодца и на кувшин, которые так и остались стоять в углу.

— Это я сама вынесу, — говорит она. — Ты пока посиди, отдохни.

Жена берет кувшин и статуэтку и уходит. А я сажусь на диван и осматриваю нашу комнату. Да, в комнате стало свободнее. «И я сам стал свободнее, — думаю я. — Но вот бакинский кувшин можно было оставить».

Тогда мы приехали в Баку поездом. В Баку у нее был родной дядя, и мы знали, что к нему можно доехать на автобусе первого маршрута. «Где автобусная остановка?» — спросили мы у одного прохожего. «Вон там, у садика», — указал он. Мы подошли к садику, но нигде не увидели дощечки, на которой было бы написано, что здесь остановка автобуса. «Где здесь автобусная остановка?» — спросили мы у другого прохожего. «Вы стоите на автобусной остановке», — ответил он. Подъехал автобус, на котором нигде не бы-

ло написано, по какому маршруту он идет; дверцы распахнулись, и шофер крикнул: «По первому маршруту». Мы залезли внутрь. На каждой остановке шофер кричал: «По первому маршруту, по первому маршруту». Мы с женой решили, что это Баку и что все правильно, все так и надо. Еще нас с женой удивило, что в автобусе не было кондуктора, а просто, выходя на своей остановке, люди клали на щиток рядом с шофером гривенник; не пять копеек с носа, а гривенник. И не получали взамен никакого билета. «Может, в Баку так и нужно», — решили мы. На шестой остановке от вокзала, выходя из автобуса, я положил на щиток двугривенный.

Потом родной дядя жены, в квартире которого мы прожили около недели, объяснил нам, что мы попали в автобус «шабашника». Но почему разрешается «шабашить» на государственном автобусе, этого дядя нам объяснить толком не смог. «Это Баку», — только и сказал он.

Сам город оказался очень похожим на крупные города вроде Москвы и Ленинграда; такие же дома, такие же газетные щиты на стенах домов. Но рядом было зеленое море. Мы с женой целыми днями пропадали на пляже или бродили по Приморскому бульвару. Мы еще только поженились, и впереди у нас была целая жизнь, широкая, просторная — как море. Море было зеленое и теплое.

Дядя в первый же день предупредил нас, что в Баку продавцы мороженого и газированной воды очень редко дают сдачу. «Старайтесь давать ровно столько, сколько нужно. Или давайте не меньше рубля, с рубля-то сдачу дадут», — сказал дядя. После Ленинграда, где старушки устраивают кассиршам скандалы из-за копейки, это казалось странным. И мы с женой,

покупая мороженое, заранее загадывали: даст или не даст продавец четыре копейки сдачи? Продавец, конечно же, забывал о сдаче, сразу начинал обслуживать другого покупателя, и мы опять уходили к морю, веселые и счастливые.

Приятно все это вспомнить, ведь это было наше свадебное путешествие. Вот из этой поездки в Баку мы и привезли керамический кувшин с длинным горлышком.

Жена вернулась; она входит в комнату, держа в руке бакинский кувшин.

— Ты знаешь, — говорит она, — я пожалела его выбросить. Пусть стоит на серванте.

Какая у меня умная и красивая жена! Я иду к ней.

— Хорошая, дай я тебя поцелую.

Я подхожу и обнимаю ее. Я целую ее... Вдруг кувшин выскальзывает у нее из рук — и только осколки рассыпаются по полу.

— Разбился!

— Да, — соглашаюсь я. — Теперь уж точно придется его выбросить.

Она вдруг садится на диван, закрывает лицо ладонями и тихо всхлипывает. Я сажусь рядом с ней, глажу ее по плечу и говорю:

— Не плачь. Ну что же теперь делать? Ведь мы вместе, а кувшин — это только вещь. Главное — это мы сами, а кувшин... подумаешь, кувшин!

Артем Гай

НАКОЛКА

Его считали парнем способным, но с ленцой, а именно безделье досаждало ему больше всего в те сутки, которые он два-три раза в месяц проводил в больнице, не выходя из нее. То, что многие хирурги называли спокойным дежурством — когда есть время почитать книгу или написать письма, — изматывало его. Он слонялся по отделению. Или сидел на диване в ординаторской, закинув худые ноги в узких брюках на

стул, и курил. Или, как сейчас, болтал лениво по телефону со знакомой девочкой и тоскующее выражение на длинном большегубом лице лишь меняло оттенки.

— Жениться? Нет, Дези, не собираюсь... Даже ты станешь после свадьбы просто Дусей... Но я могу вместо кольца таскать перстень. Тоже модно и очень эффектно...

— Другой разговор! Я всегда к твоим услугам... Завтра в семь?.. Да, думаю, высплюсь к тому времени. По крайней мере, если меня начнут оттирать, сошлюсь на усталость и уведу тебя. Ты же подтвердишь, что я сегодня дежурил?.. Дусенька, зачем тогда приглашаешь меня?.. Я берусь развлечь тебя в одиночку!.. Когда? В субботу?.. Так ведь в прошлую субботу у вас был вечер! В наши годы институт нас так не баловал вечерами. А в честь чего?..

— Не хочу. Уволь. Была война и прошла. И если снова будет, тоже пройдет... Завтра попляшем, а в субботу придумаем что-нибудь повеселей, чем воспоминания моего папаши... А ты уверена, что мой папаша не герой?.. Ну, пусть дважды герой... Я его очень уважаю, Дези, но знаю все, что он скажет. Война — это страшно, фашизм — отвратительно, а прогресс — это лавина, которая сметет и то, и другое, и что-нибудь третье, если нужно...

— Доктор, к вам не дозвониться! Сейчас сообщили, что привезут какого-то резаного.

Он терпеть не мог эту толстую сестру из приемного покоя и, верный своей привычке давать всем прозвища, называл ее Говядиной. Всегда ему достается дежурить с нею! Просто наказание! Разглядывая ее багровое лицо с нависающими над глазами мясистыми веками, он вспомнил почему-то ее крикливое выступ-

ление на последнем собрании и с жалостью подумал о ее соседях.

— Может быть, вас разыграли, — лениво предположил он. — Шутники какие-нибудь. Например, соседи?

— Ну знаете... — У нее даже дыхание перехватило.

— Нет? Ну, идите. Сейчас я приду и посижу с вами, — все так же лениво и примирительно сказал он.

Говядина презрительно усмехнулась и вышла, демонстративно не прикрыв за собою дверь.

Он сполоснул руки и лицо, неторопливо вытерся, разглядывая себя в зеркале над раковиной. Сделал сосредоточенное лицо, замкнутое, насмешливое, высокомерное... Весь день ужасная скука и духота, усиленная спертым запахом свежепареного белья и хлорамина. А по темнеющему окну барабанит дождь, не приносящий прохлады.

Пятисотка, зло жужжа, заливала приемный покой непомерным светом. Говядина важно восседала под нею в кресле у стола, сосредоточенно записывая что-то в громадный журнал. Всегда у нее невпроворот работы, рядом с нею все — сущие бездельники...

«Если вдруг лопнет такая лампочка, эту склеротичную толстуху хватит удар», — с веселым злорадством подумал он.

— Где же ваш резаный?

— Он не мой, доктор, а ваш.

— Пусть так. Но где он?

— Я сказала вам: позвонили из милиции. — Она склонилась над гроссбухом, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Он сел на кушетку и закурил. Какая разница, где сидеть... Конечно, с Наташей, другой сестрой приемного покоя, здесь было бы интереснее. Можно бы

посмущать ее, разглядывая стройные ножки... Так нет, всегда ему выпадает дежурить с этой Говядиной! Господи! Какие колоды! Неужели и у него будет когда-нибудь такое отвратительное тело?.. А Наташа просто делает вид, что смущается. Артистка, не дай бог! Николь Курсель...

Мазнув по темному мокрому окну светом фар, к подъезду подошла машина. По шуму мотора он определил: «Волга» — «скорая». Настораживающе быстро загромыхали в вестибюле шаги. Он встал, подошел к столу и погасил сигарету. В приемный внесли носилки. Врач «скорой» в расстегнутом дождевике поверх халата торопливо бросил:

— Очень тяжелый. Ножевое ранение в грудь...

Вот! Он зашивает раненое сердце атравматичными иглами. Ловко и быстро. И человек спасен... Что-то внутри напряглось у него, натянулось, как струна. Но это был не испуг, это было предчувствие нелегкой операции, предчувствие борьбы.

— Позвоните Васильченко. Пусть идет мыться. Он на обходе во втором этаже... Как ваша фамилия?

Раненый медленно переводит на него взгляд и молчит. Мужчина лет сорока пяти, светлоглазый, светловолосый, спортивного склада. Пульсишко неважный, давление низкое, одышка. А лицо бледное, губы сжаты.

— Как вас зовут?

Отводит взгляд, молчит. Не хочет отвечать или не может? По объективным данным — в сознании. И запаха алкоголя не слышно... Повязка на груди промокла кровью. Пульс под руками становится хуже.

— Больного без обработки — в операционную!

Проходя мимо стола, он увидел документы раненого, взял паспорт и бегло проглядел его. Ох уж эти

молчаливые прибалты!.. Поднимаясь по лестнице, и затем — начав мыться, он думал: кто это его и за что? И куда — в сердце или в легкое?..

— Борисовна, скажите Вере Ивановне, чтобы готовилась к наркозу. Дайте вначале вторую щетку, — он смыл с тонких предплечий, покрытых длинными рыжими волосами, мыло. Из зеркала смотрел сосредоточенный мужчина в кокетливо надетом чуть набок колпаке.

— Приехала милиция. Спрашивают, как с больным, — санитарка, которую все называли Борисовной, подала ему блестящим пинцетом щетку. Следя за тем, как она ловко наливала в тазы из большого ведра нашатырь для обработки рук, он вдруг подумал: «Симпатичная. Тоже старая, но худощавая — и все в порядке. Надо обязательно быть худощавым...»

— А где больной?

— Поднимают. Что сказать милиции? Васильченко спрашивает.

— Милиция отодвигается на второй план. А насчет Васильченко узнайте, пожалуйста, почему он застрял.

Наградил его бог помощником! Васильченко, Большая Дубина, раздражающе медлителен. То четыре года не ставили ответственным, а когда приперло — отпускной период! — так подсунули помощником этого рохлю, по складу характера годного только в терапевты или лаборанты...

Когда он вошел в операционную, больной лежал уже на столе. Анестезиологическая сестра Вера Ивановна суетилась у его откинутой на подставку руки, налаживая капельницу. Все время что-то поправляла, бросала по сторонам взгляды, словно боялась: как бы

чего не забыть. Старая сестра, опытная, а все равно всегда волнуется...

— Спокойно. Ставьте сразу кровь... Борисовна, выбрейте ему подмышку.

Операционная сестра подала спирт на руки.

— Мне мыться? — в операционную заглянул Васильченко, прикрывая широкой ладонью нос.

— Я надеялся, что ты уже.

— Да там милиция... Я ничего так и не смог выяснить.

— Потом выясним! Мойся, да побыстрее.

Сестра помогла ему надеть стерильный халат.

А в это время Борисовна, брея больному подмышку, удивленно сказала:

— Смотри-ко где наколку сделал!

На внутренней поверхности плеча больного, у подмышки, на белой гладкой коже отчетливо обозначался знак «о».

— Группу крови определять, или переливать нулевку? — спрашивала Вера Ивановна.

Едва не расстерилизовавшись о нее, он шагнул к столу и наклонился над раненым. Жаркая волна хлынула в голову. Сомнений быть не могло.

— Пульс плохой, — донеслось до него. — Определять группу или?..

СС! Молодчик из СС, провалиться ему на этом месте!.. Только им накалывали группу крови, чтобы скорее могла быть оказана помощь, — ценные кадры!..

И сразу все как-то изменилось в операционной. Еще напряженней засверкали хромированные инструменты, сгустились запахи белья и йода, черными дырами проступили на фоне белых, под масло, стен окна.

— Ставьте нулевку, — как во сне сказал он.

Черт бы побрал всю эту историю! Как к нему на

стол попал фашист, откуда?.. И почему именно ему? И что делать?.. Как раз на такой экстренный случай и делали им наколки...

Операционная сестра подала тупфер для обработки кожи. Какая белая тонкая кожа! От нее веет детской непорочностью...

— Куда стать? — Васильченко переминается у стола, как медведь на задних лапах.

— Напротив.

Аккуратная дырочка у соска, и почти не кровит. Наверное, тонкий, длинный нож, стилет?.. Чей?.. Под йодом нежная кожа становится синеватой — горит от йода... Сколько сгорело белой кожи в те годы! Все прочитанное об этом, перемешавшись вдруг, как варево в кипящем котле, неожиданно всплыло в его памяти: горы обгоревших голых трупов, сумки и абажуры из человеческой кожи...

— Спирт! — все идет своим чередом: он смывает излишки йода, чтобы не было ожога.

Он родился в сороковом. Война для него — нескончаемый поток толстых и тонких, хорошо и плохо написанных книг. И еще — кино. И еще — воспоминания отца и редкие встречи его с фронтовыми друзьями, кончающиеся выпивкой и слишком грустными песнями... Да, это еще пометки на историях болезни: ИОВ — инвалид Отечественной войны. Хронические остеомиелиты, ампутационные культи...

— Ну, начнем? — гудит Васильченко, не понимая, почему он стоит неподвижно со скальпелем в руке.

Он кивает и рассекает межреберье.

— Кровь темновата. Пустите частой каплей. — Все идет своим чередом... И неожиданная мысль оглушает его: донорская кровь! Кровь неизвестного товарища вольется в вены эсэсовца!.. И это обычное, будничное

слово «товарищ», которое он мысленно произнес даже как-то механически вместо слова «человек», вдруг ярко вспыхивает в его мозгу, как сигнальная лампа большой мощности. — Погодите!..

Все удивленно смотрят на него. Ах ты, черт возьми!.. Что же делать, чего он хочет?..

— Ты чего? — гудит Васильченко.

Тампон на ране медленно промокает, красное пятно расползается, растекается.

— Зажми! Не видишь, сосуд кровоточит!.. — неожиданно зло бросает он Большой Дубине.

— Дай пару зажимов, — просит Васильченко у операционной сестры и недоуменно пожимает толстыми плечами.

— Пустите кровь струей!

Плевральная полость забита сгустками, темной кровью. Большие салфетки, пропитанные ею, одна за другой летят в таз.

— Ставьте кровь, еще! — кричит он.— Не меньше литра!

Нож прошел у самого корня легкого. Повреждены большие сосуды. Из них начинает хлестать так, словно подключили насос. Пережать легочные сосуды, остановить кровотечение... Быстрее!.. Мешает инструмент Васильченко, судорожно прижатый мощной рукой к средостению, — силы много...

— Убери! — рычит он, и инструмент исчезает. Быстрее!.. Так! Теперь все. Почти все. Можно и передохнуть.

— Пульса нет, — голос Веры Ивановны вибрирует.

Он смотрит на бьющееся рядом сердце. Вяло, черт возьми, слабо оно бьется!.. Замерло... Ударило... Еще...

— Адреналин! — тихо и очень внятно говорит он. «Неужели умрет?» — и весь, с головы до пят, покры-

вается испариной. — Приготовьте систему для внутриартериального!..

У Большой Дубины и операционной сестры черные круглые глаза. Как у сов...

— Пульс появился...

Сердце бьется ровно и сильно. Надо подождать...

Сердце работает нормально. Нежное, но неприхотливое, человеческое. Не «сердце матери», не «сердце солдата»... Эсэсовское... Он усмехается. В голове гудит, в теле предательская слабость.

— Может, сделать еще сердечные?

— Делайте...

Теперь это не имеет особого значения. Еще одно усилие — и все будет кончено. Тут нельзя чикаться. Ставить поскорее дренаж, уходить из грудной клетки, а потом тянуть, тянуть его из могилы за ниточку, которая несколько минут назад казалась оборванной...

Зашивая операционную рану, он думал об этом нежнокожем человеке. Кто он? Помнится, во время войны немцы в Прибалтике формировали эсэсовские части из местных жителей... Он читал об этом... Были такие, вроде наших полицаев... А кто и зачем пытался убить его?

Детективный рассказ для Дэзи и компании. Детективный с психологическим оттенком, очень модно...

Спустившись в ординаторскую, он увидел там приземистого широкоплечего человека в темном костюме, который стоял у окна, заложив за спину руки. Не просохший еще плащ этого человека висел на спинке стула, и скатившаяся с плаща вода образовала темное пятно на паркете. Приземистый повернулся не сразу,

но быстро, как глубоко задумавшийся человек, который вдруг почувствовал, что он не один в комнате.

— Раненый жив? — после секундной паузы спросил человек в темном костюме.

— Жив.

— Прошу меня извинить. Мне предложили здесь подождать вас... Вы ведь ответственный дежурный? — приземистый говорил медленно, негромко, но очень твердо и не моргая смотрел при этом на врача.

— Да, я ответственный дежурный.

У человека в темном костюме было широкоскулое лицо, сильно залысевший лоб и внимательные светлые глаза.

— С кем имею честь?.. — А про себя подумал: наверняка детектив, и поморщился, — он очень устал, не физически, а как-то внутренне. Ему хотелось лечь на диван, закрыть глаза и отключиться хотя бы на несколько минут, но сейчас об этом можно уже не мечтать.

— Раненый будет жить? — так же негромко спросил человек в темном костюме.

— И все же, кто вы? — устало повторил врач, прошел к дивану и сел.

— Простите. Старший следователь городской прокуратуры... — и назвал фамилию.

«Ого, старший!..»

— Ранение тяжелое. Пока ничего определенного сказать не могу.

В черное окно продолжали лупить крупные серебристые дождины.

Он вытащил упревшую в кармане халата пачку сигарет и закурил.

— Ну... а ваше мнение? — не так уже твердо, даже как-то просительно произнес следователь.

— Надеюсь, что самое страшное позади.

Следователь кивнул, поджал губы, сцепил руки перед животом и снова отвернулся к окну.

Несколько минут каждый был занят своим делом: следователь смотрел в окно, врач курил, с трудом вытягивая дым из отсыревшей сигареты. «Видно, крупная птица этот прибалт, — думал он, — если среди ночи так вот торчит у больничного окна старший следователь».

— А раненый-то кто такой?

Следователь повернулся так же быстро, как и в первый раз, и сказал:

— Это наш сотрудник... И мой друг... Понимаете, всю войну прошел по таким тропам... — он в отчаянии махнул рукой. — А тут, при задержании паршивого уголовника!..

Они смотрели друг на друга в полном молчании. И столько было в лице следователя, в его глазах муки, страха, что выглядевший совершенно растерянным доктор, крякнув, заговорил неожиданно сиплым, каким-то не своим голосом:

— Вы не волнуйтесь... Я думаю, что теперь все будет в порядке... Операция прошла в общем-то хорошо...

И они снова погрузились в молчание.

Наколка, этот синий ноль в подмышке... Что же это?.. Ведь только эсэсовцы... Ах, черт возьми!.. Всю войну... Может быть, это какой-нибудь Питер Вайс, Абель?.. Их ведь, наверное, еще десятки не раскрытых... Стоп! Не это главное. А что, если бы он, хирург, под каким-то впечатлением, не выполнил свой долг?.. Безразлично перед кем. Перед человеком... Он мог бы не выполнить свой долг? До конца, «до завязочки», до испарины от страха, когда сказали рядом: «Пульса нет»?.. Мог бы? Не перелить кровь, или что-нибудь

в этом роде?.. Он нахмурил лоб, снял мокрый от пота колпак и засунул его в карман халата. Не сделал же ничего такого — значит, не мог! Несмотря на впечатление... Он быстро поднялся с дивана, сунул окурок в пепельницу, извинился и вышел из ординаторской, не глянув на все еще стоявшего у окна следователя.

Давление у раненого нормализовалось. По дренажу из плевральной полости ничего больше не выделялось.

Он посидел еще немного в послеоперационной палате, потом побродил по спящему зданию, где бодрствовали только у освещенных столов постовые сестры, и лишь затем не торопясь возвратился в ординаторскую. Там никого уже не было. Он выключил свет и подошел к окну. Он стоял там же, где какой-нибудь час назад стоял следователь. Дождь почти прекратился. Только изредка одна из капель вдруг устремлялась вниз по стеклу, захватывая всё новые и новые капли, до того так же неподвижно, как и она, стоявшие, увеличиваясь, убыстряя бег, оставляя за собой голубую серебрящуюся полосу...

Он не думал ни о чем конкретно. Но все мысли, почти все мысли, которые когда-либо возникали в его мозгу, проснувшись, возбужденно толклись в неразборчивом круговороте, словно ища каждая свое место. Он оперся тонкой, покрытой рыжими волосами, рукой об оконную раму, прижался лбом к прохладному стеклу. Блестящие капли были совсем рядом, большие, прозрачные. И вдруг одна, заставив его вздрогнуть, сорвалась и зигзагами помчалась вниз.

Владислав Смирнов

ТУЧИНО ЧУДО

Геолог Николай Емельянович Логов поежился, подбросил несколько ломких сушин в костер, медленно, крепко проутюжил задубевшей ладонью крупное, потемневшее, старое и умное свое лицо. Потом продолжал:

— Звали его Туча. Настоящее имя все забыли, думали, что и в паспорте вместо имени стоит одно слово: «Туча». Он был за два метра ростом, детинушка, состоящий

из большого живота и подбородка, — как круглая буханка пшеничного хлеба, под которым начиналась мощная широкая грудь. А таких мелочей, как шея и талия, у него и совсем не было. Он был добродушный, лет сорока пяти мужик, почти ничего не боялся, прост и беззлобно грубоват.

К примеру, когда его встречают ужасной бранью, он сияет, лицо такое блаженное, ласковое, розовеет счастливо. Если ему просто говорят: «Здравствуй, товарищ Туча», он обижается, лицо его меркнет, ему скучно. Такой человек... Он и на шуточки наши не обижался, будто даже как бы покровительствовал нам всем; на лице его было все время такое выражение: как же это мы все такие маленькие? Ему даже жалко нас всех было, жалел всех подряд, и плохих и хороших. Он как-то даже не понимал: чего это мы там копошимся, сердимся, ругаемся, злимся... Он любил и знал любое дело, какое бы ни поручали. И справлялся с ним ловко, о его работе можно было сказать: крепко сработано. Любили его все. Признали его своим в первый же день, как он появился в отряде. Из тайги Туча вышел. Народ нам как раз нужен был. Я начальнику Садыкину намекнул, что хорошо бы этого громилу в отряд определить. Тот, недолго думая, велел базнику подобрать Туче энцефалитный костюм попросторней и поставить на довольствие. Мужики его обступили, глядят не насмотрятся, а он — ноль внимания, погрузился в раздумья после начальственного решения. Стоит у общей палатки, взоры такие романтичные в долину кидает. Все даже присмирели в первый момент: что, мол, за такой человек неясный. А потом уж и забалагурили и шуточки стали отпускать веселые насчет его подбородка, он и сбросил с себя эту романтичную важность.

— Тучи! — это первое, что он сказал. — Сильны тучищи, так и катют по горам!.. Красиво!..

Так он и имя себе дал новое, с легкого языка нашего Родиона Сушкина, хорошего работяги и остряка...

Прошел уж год с того времени, когда вышел он к нам из тайги. И вот, как-то раз, заметили мы все, что с нашим Тучей что-то неладное. Что-то не находит он себе места да посматривает куда-то в сторону. Не долго он смог схоронить свою тайну, однако...

Он подошел ко мне, криво усмехнулся, искоса поглядывая в сторону чума проводника нашего, тофа, попросил отойти подальше и сказал с легкой досадой в голосе:

— Плохи мои дела, Емельяныч, эх, плохи... Не знаю, но вишь, как бывает...

Он взял меня за руку и доверительно спросил:

— Ты веришь в чудо?..

У меня тогда дела были, и думал я, что разыгрывает он меня, — чуть не обидел романтика нашего.

— Прости, — говорю не очень-то вежливо так, — недосуг мне сейчас, Громов, мистиками заниматься... — Но увидел я тут его лицо: эх ты, много я с тобой наговорил за все время, — сказало оно мне.

— Прости, — говорю уже по-другому, — замаялся я.

Он улыбнулся глазами примирительно.

— Ответь, Емельяныч, веришь ты в чудо или, там, в духов?.. Вишь, я и сам вроде никогда раньше не верил во всякую такую чертовщину, не было у меня такого, и вдруг, понимаешь... — Он смущенно потупился,

нашаривая в кармане спички — папироса потухла. Он несколько раз чиркал, раскуривая ее, и потом поглядел на меня с сомнением...

— Я видел его! Понимаешь, чудо!

— То есть как?! — переспросил я, и вдруг перестал сомневаться, что он разыгрывает меня.

— Я в самом деле его видел, — повторил он спокойно.

Мне показалось, что в его словах есть что-то нешуточное. К тому же я вспомнил, что в последние дни он был чем-то сильно озабочен, и временами казалось, что он порывается что-то сказать.

Однажды после грозы Туча вернулся к утру в лагерь промокший и измученный, с того дня его не видали во всегдашнем радостном состоянии духа, даже ночью он спал беспокойно, ворочаясь и кряхтя, к неудовольствию ребят.

До этой самой минуты я, как и все наши, конечно же, не придавал особенного значения этой неожиданной перемене в настроении Тучи. Мало ли, человек о жене заскучал, по дому тоскует — какой уж месяц мы в тайге... И похмуриться нельзя? Пусть себе, небось отойдет.

Я, кажется, начинал понимать, что за этим его дурным настроением что-то кроется, что сильно поразило его в ту грозовую ночь...

Проследил взгляд детинушки. К своему удивлению, ничего нового не заметил: озябшие под первым снегом склоны курились паром, подогреваемые затученным солнцем. Кедры стояли в унылом предзимнем оцепенении. Колоколистый гомон ручья скалистого ущелья тихо пробивался к нам. Слышно недалекое потрескивание поленьев в костре и приветливый голос зяблика.

Хотя меня и разбирало уже любопытство, но от расспросов удержался. Обидится ненароком на неумелое слово, ляпнешь еще невпопад; видел я теперь, что он и так немного не в своей тарелке... Дипломатически отмалчивался я, чувствуя, что и ему самому просто не терпится поговорить о своих приключениях в ту ночь.

И хотя поначалу он стал изводить меня намеками, от которых меня так и подмывало спросить его в упор о самой сути дела, я сдерживал себя. И не зря. Потому что примерно через полчаса он сказал:

— Пойдем, Емельяныч, к ручью. Я расскажу тебе все по порядку...

Я малость смутился, это, наверное, было на моей физиономии. Был он уж очень странный в этот день. Туча заметил эту мою недоверчивую мину и улыбнулся:

— Ты чего?.. Никак что подумал такое!.. — он приложил к виску большой палец и сделал известный жест. — Ну, что ты, я в себе, не сомневайся...

Мы направились к ущелью. Со стороны реки Озерной плато обрывается отвесным уступом несколько сот метров высотой и шириной до километра. Ущелье это — вырубленный ледниковым ручьем каньон с крутыми обрывистыми стенами; здесь черно и мрачно, идти вверх по нему, словно на эшафот: висят гигантские карнизы над головой, исполинские натеки льда, будто сталактиты, застыли, по тропе много уступов; одним словом, не очень это было подходящее место для беседы — так я подумал про себя, поднимаясь вслед за Тучей. Он шел легко, только крякал, поскальзываясь на расползавшемся под ногами пихтовом стланике.

— Стой, Емельяныч, — просипел он наконец, тяжело надувая грудь и живот.

«Видать, велика его тайна, раз он потащился в такую даль от лагеря», — подумал я.

Когда, отдышавшись, мы устроились на широкой лужайке, заросшей сухим серым ягелем, он сказал:

— Ну, слушай, все как было, по порядку... Видишь, хотел я заделаться атеистом вроде тебя, а теперь, как вспомню ту ночь — душа горит... в чудо, в ахинею, понимаешь, верить начинаю!.. Это тебе не фунтики — поверить черт-те чему в сорок лет, когда остальную жизнь проведешь нормально, — сказал он и потом произнес вслух несколько подобных мыслей, которые, однако, еще ни о чем не говорили, и, наконец, перешел к рассказу.

— Я был один в тот вечер, я и кляча... чтоб ей! — Она-то, скотина вислоухая, и заварила кашу. Геолог, начальник Садыкин, короче говоря, сам в лагерь к ужину пошел, а меня послал еще за образцами. Накануне мы оставили с ним цельных два вьюка этих каменьев проклятых на гольцах, по правому борту долины если идти. Он у меня мастак в этом роде, даром что научный дохтур, и так уж ногу не волокешь через колоду, а он тебе:

«Ну-ка, Тучка, слетай-ка быстренько». Да уж какой я летун, ты и сам-то должен понимать... однако летишь — надо: кобыла-то одна, а сезон-то к концу, сам соображаю. Ну, а это животное, язви ее... на меня зверем смотрит. Не нравлюсь я ей, видать, ей геолог, видите ли, больше по душе, научный дохтур Садыкин... Правда, как вскарабкаюсь на нее, несчастную, у самого меня сердце колет, ее так боком подо мной и ведет, так и заносит, как пьяную. Садыкин что, он, тьфу, бедненький, а я-то... Вот и решила она меня...

избавиться решила от меня, если короче... «Ты, мол, побегай, громила, за мной по колдобинам да курумнику, а как надоест — скажи мне, животной, чтоб я в лагерь бежала к своему геологу Садыкину» — так она небось задумала. Только я и вправду долго не выдержал за ней бегать, бестией. Поносился, поносился и не выдержал — сел на пенек и плюнул. Иди, говорю, сволота ты черная, скотина хвостатая, к своему Садыкину!!!

Она постояла, постояла на тропе, поулыбалась, поулыбалась, игруля, сама довольная, что отплатила мне за тяжесть мою, и побежала себе к Садыкину...

Лицо Тучи стало печальным, потерянным, помолчав, он продолжал:

— Когда я повернул в лагерь, настала уже темень, только далеко на небе выплыла какая-то чудная светлая полоса, но она не стояла на месте, разгоралась, становилась шире и быстро шла на меня. «Что бы это могло быть?» — подумал я. Когда светит луна или небо светлое, то хорошо видны контуры черных хребтов, а тут и небо яркое, светлое как будто, а гор не видать.

Тут я заметил, что свет этот сверху спускался, только как-то закутывал все: гольцы, деревья, снежники, тени исчезают совсем и видно только одну светящуюся эту пелену, она все заволакивает собою. Вот тут-то у меня и забегали муравьи по спине, не чувствовал я в этой пелене никакой забавы. И то возьми в расчет, что не до игрушек мне было, — устал как собака, ноги ломит, сердце выпрыгивает наружу.

Вдруг впереди, вижу, огонек затеплился. Ну, думаю, костер, люди. Собрал силенки и скорей к нему. Бегу, бегу, ну что олень, вижу — этот огонь неверный какой-то, мутный, холодный... Вдруг смотрю, над

скалами, над их остриями, повисли вниз этакими сосульками такие же чудные свечения, как мой костер... Жуткое дело, вижу, и вокруг моей носопыры появляется такое светящееся кольцо. Махнул рукой — оно вроде пропало, а потом снова сидит... Закурил я от волнения, и вокруг моей пятерни, вижу, сидят эти светящиеся кружки, такими конусками-сосульками, остриями вниз, понимаешь... ух, дьявольская сила!..

Потом из-за скал, откуда-то сверху, в долину выскочили рогачи, тьма оленей! Но какие, ты бы видел! Рóги и головы у их светились ярким холодным таким светом, он тёк по их шеям, по хребтинам, как обводил светлой линией, — они были как привидения, эти звери...

Мне стало совсем жутко, но интересно: чем же кончится эта заварушка? Стали приходить и другие разные звери: медведи, кабарожки, изюбры, рыси, козлы — все светились этим непонятным синеватым светом! Ну скажи, а, попал Туча!

Ты представляешь, я даже бояться перестал... Больше всего меня удивило, что животные друг на друга внимания не обращают, а как-то бегают, суетятся, будто общее стадо...

Неожиданно я увидел перед собой светящуюся башку моей несчастной клячи, мне даже почудилось, что она вздохнула в мою сторону, так что по моему лицу расползлось тепло, и тут я сдал совсем. Заорал как шальной... Последнее, что заметил, — это ее полоскавшуюся перед глазами, сверкающую этим дьявольским светом гриву и еще истошное ее ржание услыхал вдалеке... Видно, я отключился...

Но пришел в себя, должно, скоро, так я думаю.

Ветер разошелся в это время, хватал и дергал за верхушки деревá, студил мне тело. С неба на землю

полетели такие серебристые струйки. Они чертили белые, немного сероватые полоски. Темноты не стало — шел светящийся снег... Так было недолго, скоро все вокруг потухло, но опять чиркануло через минуту ярко и гулко, вроде горы рассыпались, такой громило пошел по долине. Вышина над тайгой заполыхала в молниях. Ну скажи: снег идет и тут же гром и молния гуляют, как по весне. Ну, думаю, здесь что-то не того...

Гроза стихла быстро, как и началась, только ветер еще трепал лес... Но когда перестали молнии, я уже, по-моему, плохо кумекал, забаламутила мне эта ночь мозги, казалось, что попал я в то, чего не бывает, от усталости еле передвигал ноги, глаза совсем подвело, меня покачивало не хуже моей клячи, когда я на ней сижу. Помню только, когда притащился я в лагерь и осел у палатки под вьюками с каменьями, то увидел вдруг опять морду этой скотины, уткнувшуюся носом в палатку Садыкина. Я как-то сразу успокоился, плюнул в ее сторону, очень мне стало скучно.

На другой день, как помнишь, проснулся я позже всех...

Туча замолчал. Лицо у него было серьезное и слегка взволнованное. Он смотрел в ущелье, в глазах его появилось выражение нерешительности, сомнения.

— Значит — чудо есть?! — сказал он горячо, но с прежним сомнением и улыбнулся как-то так, как еще не улыбался: осторожно, смущенно, глаза его засветились какой-то детской несмелой радостью, лицо посветлело.

— Есть еще чем заниматься людям. Над чем голову поломать в тайге... Это же открытие небось я сделал... Это что-то великое, как думаешь?.. Ты представляешь, Емельяныч! Был я в сказке...

Костер прогорел. Было темно и холодно. Голос Николая Емельяновича Логова пропал в ночи. Подбросили еще валежника. Над костром взлетел сноп искр, осветивших на мгновение внимательные лица геологов.

— Что же это была за чертовщина? — спросил кто-то.

Логов, пыхнув беломорской папиросой, улыбнулся:

— Да дело даже и не в этой чертовщине, вот Тучато наш изменился с тех пор...

— Через это дело и поседеть недолго, не только измениться, — усмехнулся кто-то в темноте.

— Бывает такое, что доживет человек до седых волос и не знает, какие чудеса в природе бывают, вот и Туче, видно, понравилась та ночь. Не то чтобы не понял он чего, но небось захотел увидеть побольше чудес в этом роде, понял, что счастливый он человек, повидавший сказку природы...

— Это точно... — подтвердил кто-то.

— Так все-таки что же это было, Емельяныч? — послышался нетерпеливый молодой с сипотцой голос техника Чембарисова.

— Так тебе, Славка, все и скажи сразу...

— Ладно, будет тебе, не томи, Емельяныч, — протянул кто-то из темноты.

— Сам-то я не смог объяснить Туче его чудо, мне подобного просто не встречалось, — сказал Логов, — но об этом рассказал наш «дохтур» Садыкин. Знаете какой у него поставленный голос! Везде, где бы ни был, говорит, как лекцию из-за кафедры читает: «Так вот, гмы, хмы, эти самые так называемые огни Эльма, совсем не так уж безобидны, и я бы заметил, что не удивительно то, что выгнали на открытую пло-

щадь долины животных. Однако это довольно-таки редкое физическое явление, которое человеку не часто удается наблюдать. Гмы, хмы... Перед грозой, когда разность потенциалов достигает нескольких тысяч вольт на один сантиметр, разумеется квадратный сантиметр... гмы, хмы... с концов острых предметов стекают метелковидные электрические заряды...»

Когда он закончил свою лекцию, мне почему-то стало немного грустно...

— Еще бы! — воскликнул кто-то в сердцах. — Вот не знал, что он такой гад... Молчал бы, коль знал, интересней было б Туче самому изучать это дело, точно говорю!..

— Ну, сразу и гад, — отрезал Логов, — он толковый мужик, хороший ученый.

— А чего же он со сказкой-то сделал, — послышался возмущенный, обиженный голос тофа, проводника отряда Саганова.

— А что Туча? — перебил его Чембарисов.

— Да так никто и не понял, что с ним случилось в тот вечер. Одни думали, что он, наверно, что-то не поделил с начальником Садыкиным, другие... а другие просто молчали. Только наш веселый Туча почему-то стал хмурым и неразговорчивым. Некоторые, правда, заметили в нем еще одну странность: ночью он уходил один куда-то за Черные скалы, в сторону светлой полосы на горизонте.

Леонид Семенов-Спасский

ПОБЕРЕЖЬЕ

Собачья упряжка выскочила из березняка, и Ветров совсем неожиданно для себя увидел близкое побережье.

Перед ним расстилалась однообразная снежная равнина, незаметно переходящая в море, изрытое кое-где желтыми торосами. Белизна катилась на запад и там, где должен быть горизонт, переходила в небо, тоже белое, заснеженное.

Солнце пряталось в низких облаках, и день оттого казался тусклым, серым и как нельзя лучше соответствовал невеселому настроению Ветрова.

Вглядываясь в побережье, он пытался отыскать признаки человеческого жилья. Побережье было безмолвным, пустынным, а сама мысль о том, что здесь могут жить люди, казалась Ветрову невероятной, и только след — свежий нартовый след, исчезающий в горбатых застругах, — несколько развеивал его сомнения.

Потом, привстав на нарте, Ветров разглядел впереди тонюсенький прутик радиоантенны: до гидропоста 14/2 оставалось не более пяти-шести километров.

Почуяв жилье, собаки пошли резвее.

С моря, легонько шелестя снегом, задувал ровный и тугой ветер, предвещая скорую оттепель.

...Он проснулся ночью и не сразу сообразил, где находится. В доме было очень тихо. В стены мягко скребся снег. Сквозь замерзшее окно нерешительно пробивался лунный свет, освещая колченогий стол и стопку книг на нем.

Ветров лежал на чистой, накрахмаленной до хруста, простыне, пахнущей весенним снегом и покоем. Он шевельнулся, и кот, устроившийся в ногах, сразу же замурлыкал — деловито и назидательно, настраивая мысли Ветрова на плавный, счастливый лад.

Все настоящее: и трехмесячная поездка по оленеводческим бригадам, и полудикая собачья упряжка, и сбитые в кровь ноги, и голод, и жестокость тундры, и почти в конец добитая нарта — все ушло куда-то далеко, в прошлое. Ветрову думалось о будущем. Думы

его были светлы и неоригинальны, хотя последнее было совсем неважно. Как и всякий человек, впервые попавший на Север, он думал об отъезде. И чем он больше думал о нем, тем желаннее и сказочнее становился материк, тот самый материк, который был покинут легко и беспечно всего-то с полгода назад. Ветрову мечталось о немногом: о своем домике, квартирке — если придется работать в городе, жене — пускай даже не слишком красивой (в этом ли дело?!)... И все-то ему казалось возможным, легко доступным именно там — на материке. Мысленно он уже простился с Севером. Простился холодно и торопливо, оставляя его, этот Север, кому-то другому. Кому — он не знал, да и знать не хотел. Главное, что его, Ветрова, не будет здесь. Вот что важно!

В соседней комнате закашлял Олег Петрович. Его душил глухой, клокочущий в горле, кашель.

Примолкли часы. Кот, неведомо когда соскочивший с кровати, стоял на столе и тревожно прислушивался, недовольно поводя хвостом.

Кашель стих. За стеной, как ни в чем не бывало, снова продолжали свою болтовню часы, кот шумно спрыгнул со стола и, подняв трубой хвост, лениво, в раскачку направился к Ветрову.

Гидропост 14/2 располагался в самом устье реки Оманино, на берегу неширокой бухты с пологими, голыми берегами.

Это был финский разборный домик, выкрашенный в веселый голубой цвет, увенчанный длинной жестяной трубой с проволочными растяжками. От массивного крыльца к метеоплощадке вела глубокая тропинка. Тропинка пересекала площадку наискосок,

спускалась к берегу и, змеясь по реке, обрывалась у проруби.

Пост 14/2 не имел сколько-нибудь важного гидрометеорологического значения, должно, потому, что Охотское море в этих местах было пустынным, необжитым; и только изредка, весной, забредали сюда зверобойные шхуны «Вега» и «Воямполка» да мелкие рыбачьи суда «эреэсы» и «мэреэски». Два раза в год, весной и осенью, всего на несколько часов бросало на рейде якорь номерное гидрографическое судно.

Это было единственное человечье жилье на побережье, и до ближайшего поселка Усть-Белого, где жил Ветров, было ровно сто двадцать километров — два дня пути по хорошей погоде.

Двое жили в голубом домике: наблюдатель Олег Петрович Валиков, еще сравнительно молодой человек с рыжей испанской бородкой клинышком и его жена — крупная, красивая (так казалось Ветрову) блондинка Эльвира Эдуардовна.

Это была великолепная, дружная, хлебосольная семья. Должно быть, именно о такой семье мечтал Ветров, лежа сейчас на раскладушке, заложив руки за голову, прислушиваясь к тиканью часов...

Вторично он проснулся, когда было уже давно утро. Яркое солнце заливало комнату. Из-за двери, ведущей в кухню, доносилось утробное бульканье закипающей воды, потрескиванье дров в печи, голос Эльвиры Эдуардовны, что-то выговаривающей шепотом.

За стеной, на улице, монотонно и обиженно подвывала собака, жалуясь кому-то на свои собачьи горести.

Ветров потянулся и сел в постели. Потер кулаками глаза, широко зевнул и снова потянулся, сгоняя остатки сна. Потом нашарил под подушкой пачку сигарет, спички и, помедлив немного, закурил, жадно затягиваясь дымом, стряхивая пепел в спичечный коробок.

«Хорошо-то как! — подумал он. — Тепло, главное, и никуда, абсолютно никуда не надо торопиться. Не думать о костре, собаках... Жить бы так и жить... Пять лет, десять, всю жизнь».

Он вздохнул.

Кухонная дверь застенчиво скрипнула, и в комнату заглянул Олег Петрович.

— Доброе утро, дорогой эскулап! Сны, конечно, были розовыми, — хитровато подмигнул он.

— Черно-белыми...

— Ай-ай-ай... В таком возрасте и — нате вам. Ну, наверное, широкоэкранные? Ах, нет?! — лицо его нахмурилось. — Вот как? В таком случае вряд ли есть смысл продлевать сие горизонтально-непознавательное состояние. Заверяю вас, — он подмигнул и торжественно поднял указательный палец. — Одним словом, вставайте, граф! Вас ждут великие дела!

— Олег, — позвала Эльвира Эдуардовна, — дал бы поспать гостю. Ты опять со своими штучками.

— Ретируюсь, — ответил он с готовностью и с нарочитой галантностью прикрыл за собой дверь.

Ветров загасил окурок, поплевав на него, отбросил ногами одеяло и встал. Прошел босиком к окну, медленно поднимая и опуская руки, присел несколько раз и начал одеваться.

На столе лежало выстиранное ветровское белье, аккуратно заштопанные шерстяные носки. Выглаженные и вычищенные брюки висели на спинке стула.

На какое-то мгновение Ветрову сделалось неловко от того, что он доставил столько хлопот совсем чужим людям, незнакомым почти, которых увидел впервые только вчера и которых наверняка больше никогда не встретит.

Он быстро оделся, сунул ноги в меховые тапочки Олега Петровича и, помешкав немного, точно не решаясь на встречу с хозяевами, толкнул дверь.

— Доброе утро! — раздельно сказал он, жмурясь от яркого света.

Широкое окно выходило на восток, и розовое мартовское солнце заполняло собой всю кухню.

— Оно действительно доброе, — улыбнувшись, согласилась Эльвира Эдуардовна.

На плите торжественно булькал никелированный чайник, самодовольно сияя зеркальными боками. Кот, лениво развалясь на полу, вытянув лапы, легонько поводил хвостом, закрыв глаза от удовольствия. Гудел огонь, торопливо потрескивая углями.

От всего этого повеяло на Ветрова нерушимым покоем, строгой размеренностью, тихой и застенчивой радостью, понятной и непонятной ему, оставшейся где-то в детстве.

— Оно действительно доброе! — повторила Эльвира Эдуардовна и, прошуршав складками пестрого халата, прошла к окну. — Совсем как у Пушкина, помните? «Мороз и солнце — день чудесный...»

Ветров стоял, прислонившись спиной к косяку двери, нерешителен и тих, раздумывая, с чего бы начать ему этот великолепный день.

— Еще ты дремлешь, друг прелестный, — неожиданно пришел на помощь Олег Петрович. — Пора, красавица, проснись, — он сунул в руки Ветрову полотенце, — промой сомкнуты негой взоры...

Потом они втроем сидели за столом и неторопливо пили чай, а кот, которого, оказывается, звали Хореем, громко мурлыча, терся под столом о ноги Ветрова, очевидно, проявляя так знаки особого гостеприимства и личной симпатии.

— А борода вам не к лицу, — нарушила молчание Эльвира Эдуардовна, когда Ветров провел ладонью по выбритому подбородку. — Она старила вас. Правда, Олег?

— Н-да, конечно, — согласился тот, протирая носовым платком стекла очков. — Н-да, конечно, — повторил он, надевая очки. — Теперь вы, Вадим, похожи на старательного студента, приехавшего к тетке в деревню. На каникулы... Одним словом — кладезь мудрости и крепость непорочности.

— Да? — звякнула ложечкой в стакане Эльвира Эдуардовна. — А мне кажется — на аспиранта.

— Аспиранта? — казалось, ассоциации Эльвиры Эдуардовны несколько удивили Олега Петровича, и он внимательно принялся разглядывать Ветрова. — Боюсь, ты ошибаешься, Эля. Понимаешь ли, в лице его, Эля, на мой взгляд, явная нехватка аспирантского самодовольства... Хотя, может быть, ты и права, — улыбнулся он, — не исключено, что современные аспиранты выглядят именно так. Не правда ли? — обратился он к Ветрову. — Кстати, в аспирантуру вы собираетесь?

Ветров пожал плечами.

— Напрасно, — сказала Эльвира Эдуардовна, поднимаясь из-за стола. — Аспирантура попросту необходима, если, конечно, вы хотите чего-нибудь добиться в жизни. А вы должны. Мужчина... Кому как не мужчине... — она глянула на Олега Петровича и замолчала.

Олег Петрович пригнул голову и легонько забарабанил пальцами по столу.

Воцарилось неловкое, непонятное Ветрову молчание.

— Если, Эля, ты имеешь в виду меня... — начал Олег Петрович.

— Тебя, Олег, в виду я не имею, — прервала его Эльвира Эдуардовна и отошла к плите.

Ветрову показалось, что он только что совсем случайно стал свидетелем семейной ссоры, но, глянув на улыбающегося Олега Петровича, набивающего табаком трубку, с радостью понял, что ошибся. Ссоры никакой не было, да и быть не могло в этом доме. Как он только мог подумать об этом?

— Вот, — Эльвира Эдуардовна мыла посуду, — помою посуду, примусь за обед. — Она вздохнула и продолжала: — Из меня вышла первоклассная домашняя работница.

— Хозяйка.

— Ну, Олежек, право же — это синонимы. В нашем доме, по крайней мере... Чем же мы, однако, займемся, мужчины? На припай поедем?

— Разумеется, на припай. Вам, Вадим, доводилось ловить нерестящуюся навагу? Нет? Ну-у, дорогой мой, жить на Севере и не испытать такого...

— Олег прав. Это весьма занятно. Расскажи кому-нибудь на материке — ни за что не поверят. Многому там не поверят, — усмехнулась она невесело.

— Ловить навагу научил нас Куткеви. Знакомый охотник. Кстати, Эля, когда он приехать обещал?

— Куткеви? — пожала она плечами. — Не знаю. Мне не слишком-то понятны его ультраобразные выражения. Как же это он сказал? — задумалась на

минуту она. — Ага! «Приеду со второй круглой луной». Вот попробуй-ка и сообрази тут.

— Чего же тут непонятного, — улыбнулся Олег Петрович. — Через два месяца. В марте.

— Значит, скоро приедет? Пить будете? Да?

— Эльвира!

— Прости, пожалуйста. Вырвалось.

Олег Петрович курил, лениво выпуская изо рта дым кольцами, следя, как они висят в воздухе и, поднимаясь к потолку, нехотя тают. Ворот его пестрой рубахи был распахнут, обнажая тонкую шею и сильно выпирающие ключицы.

— А один из ваших медицинских аппаратов Куткези называет «шаманий глаз». Смешно, не правда ли?

— Рентгеновский? — спросил Ветров, которому совсем неинтересно было слушать о каком-то Куткеви. Ему хотелось просто сидеть и молчать. Молчать и глядеть на Эльвиру Эдуардовну, Олега Петровича...

— Рентгеновский, разумеется.

— Да, — начал Ветров, — живете вы здесь одни...

— Не открытие, — протянул, улыбнувшись, Олег Петрович. — Живем мы здесь одни.

— Не открытие, — согласился Ветров. — Да я и не претендую на него. Я о другом. Живете вы здесь одни, а вдруг кто-нибудь заболеет — вы или Эльвира Эдуардовна?

— Профессиональный интерес, так сказать. Понятно. Ну, что ж, отвечу: в соседней комнате стоит рация.

— Я не о том. Я не об экстренном случае. Это понятно. Я говорю о банальном заболевании. Ну... пневмония, что ли... ринит, отит. Чем только люди не болеют!

— Для такого случая, я полагаю, нам вполне достаточно двух томов справочника практического врача.

— Ну, а если, предположим, — не сдавался Ветров, — по тому же справочнику практического врача вам необходимы дополнительные исследования?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, скажем, анализ крови, хотя бы. Рентгеноскопия... Вот вы, например, Олег Петрович, когда были в последний раз на рентгене? — В Ветрове заговорил врач.

— Я? — удивился Олег Петрович.

— Вы.

— Года три тому назад. Может, больше. Да и потом, дорогой доктор, в рентгене, как мне кажется, не было никакой нужды.

— Тебе всегда что-то кажется, — проговорила недовольно жена. — Перекрестись, когда кажется...

— Здоровый женский юмор, — заметил вскользь Олег Петрович. — А рентген, — обратился он снова к Ветрову, — как мне известно, не панацея, а всего лишь дополнительное средство диагностики. Шаманий глаз, одним словом. Ерунда все это, Вадим... Шаманий глаз, — повторил он и легонько засмеялся. — Смешное смешение понятий. Действительно, необычное... Пожалуй, тронем. Времени почти одиннадцать. К двенадцати будем на месте.

— Далеко?

— Ерунда! Километров пять. Упряжку возьмем.

...Накатанная нартовая дорога спускалась с низкого берега и, замысловато петляя по льду, путая след, терялась в торосах. В высоком небе громоздились облака — белые, белее снега.

Снег слепил.

— Красота какая! — прикрывая ладонью глаза от солнца, Олег Петрович смотрел в сторону моря, невидного за торосами.

Ветров сидел на легкой нарточке, запряженной восьмеркой разномастных собак, и курил, жмурясь от солнечного света.

Собаки нетерпеливо повизгивали и суетились, норовя стронуть нарту, стоящую на остоле, то и дело оглядываясь на Ветрова.

— Кра-сотаа! — выкрикнул Олег Петрович и, свистнув собакам, рывком выдернул из снега остол. — Кхе-кхе, милые! Тах-тах! Пошел!

Ехали молча.

Ветров глядел из-за плеча Олега Петровича на приближающуюся полосу парящей воды, на торосы и думал о завтрашнем отъезде. Уезжать ему не хотелось, — это знал он точно, — но и задерживаться на побережье было бы нелогично, а может быть, даже неосторожно: грешно не воспользоваться тихой погодой и без приключений не добраться до дому. Это тоже знал Ветров. Последнее задание этой затянувшейся командировки он выполнил вчера: лазаревский пакет с книгами вручен адресату. Юкола на обратный путь получена... Зачем же оставаться на побережье? Зачем? Все это было так, но уезжать не хотелось. Не хотелось — и все! А может, остаться — на день, два... Здорово ведь жить в голубом домике, читать умные книги, разговаривать с милыми хозяевами и ездить на рыбалку к припаю. Здорово!

Когда до открытой воды оставалось совсем немного и Ветрову даже казалось, что он видит черную голову нерпы на глади моря, Олег Петрович обернулся.

— А почему вы спросили о рентгене?

Борода его заиндевела и из рыжей превратилась

в серебряную. Лицо раскраснелось. Сквозь толстые стекла очков на Ветрова внимательно глядели глаза Олега Петровича — хитроватые и насмешливые.

— О рентгене? — переспросил Ветров. — Да просто так.

— Просто так? Так ли?

— Хотя нет, — Ветров замешкался. — Мне показалось, вы нехорошо кашляли. Ночью. Сегодня ночью...

— А разве кашлять можно еще и хорошо? Научите, пожалуйста. Буду вам чрезвычайно благодарен.

Ветров смутился:

— Нет, разумеется.

— Я тоже так думаю.

Нарта мягко ткнулась в сугроб и остановилась.

— Собак здесь оставим. Дальше нарта не пройдет — торосы.

— Не сбегут? — справился Ветров, разминая затекшие ноги.

— Не должны... Хотя давайте перевернем нарту. Так, — взялся он за копыл, — на всякий случай. Теперь им не уволочь ее.

Собаки, почуяв конец дороги, свернулись на снегу комками, прикрыв пушистыми хвостами морды.

— Ждать! — строго приказал им хозяин.

...Вдвоем они довольно быстро наловили с полмешка наваги — некрупной, черноспинной рыбешки, дразняще пахнущей свежими огурцами.

Ловля нерестящейся у кромки льда рыбы оказалась действительно азартной, сказочной, но не особенно удивила Ветрова, принявшего ее как нечто разумеющееся, как одно из ординарных чудачеств северной природы. Он давно уже ничему не удивлялся, в отличие от своего спутника, суетившегося и перебегавшего с места на место.

Когда дель сачков заледенела и превратилась в негнущуюся проволоку, они собрали уснувшую на льду рыбу и отправились к оставленной за торосами нарте.

Впереди, взвалив на плечо мешок, шел Олег Петрович, непрерывно оборачиваясь и весело спрашивая Ветрова:

— Ну, а что я говорил? Рыбалка-то, а?.. Рыбалка-то?..

Он напоминал сейчас степенному и неторопливому Ветрову мальчишку, подростка, шутки ради подвязавшего ватную бородку и водрузившего на нос бабкины очки, собравшегося было стать серьезным, как и подобает очкастым да бородатым, но вдруг почему-то забывшего о своих намерениях.

— О-о-о! Го-го-го! — закричал он, прикладывая руку ко рту. — Ого-го-оо!

Крик метнулся в торосы, отозвавшись слабым эхом.

— Ну, а что же все-таки я говорил вам?! А?

Его улыбающееся лицо было смешным и радостным. Смеялись глаза и, как ни странно, смеялись даже очки, подпрыгивая на переносице, и Ветрову, идущему позади с двумя сачками в руках, было совсем непонятно, что же могло случиться с этим взрослым, тридцатипятилетним мужчиной.

...Било в глаза солнце. Лежали на снегу длинные солнечные зайчики, выскочившие из торосов, громко скрипел под полозьями снег. Нарта резво скользила к дому.

Олег Петрович, не переставая, забыв о Ветрове, навалившись грудью на баран, то вполголоса, то громко распевал песни без конца и начала, заражая Ветрова беспричинным весельем и бесшабашностью.

— Сердце красавицы-ы...

— Склонно к изме-ене, — сам не зная почему, подхватил Ветров.

— И к переме-ене, — сдвинув брови, глянул на него Олег Петрович и красивым жестом профессионального оперного певца вскинул руку с остолом.

— Как ве-етер мая-аа... — дружно пропели они и громко рассмеялись, точно вспомнив враз что-то невероятно смешное, ведомое только им одним.

— Ля-ля-ля-ляля...

— Хорошо, Вадим, — наклонясь к самому уху, прокричал Олег Петрович, — ехать вот так, орать песни и не думать, к чертям, ни о каких красавицах! Хорошо!

— Ла-ла-ла-лала!.. Ли-ли-ли-иии!..

Воистину, это великолепно! Легко и окрыленно и бог знает отчего так беспечно, так безудержно весело.

Когда до голубого домика оставалось с полкилометра и упряжка уже шла по руслу реки, плавно сворачивая к берегу, Олег Петрович неожиданно замолчал и, притормозив остолом бег нарты, обернулся к Ветрову:

— Мы не пели с вами...

— Что?

— Мы не пели с вами. — Лицо Олега Петровича было серьезным, грустным. — Нельзя мне петь. Нельзя мне петь на морозе, — и, помолчав немного, добавил: — Легкие не позволяют...

Бесшабашность все еще обуревала Ветрова, и он не сразу понял, о чем просил его Олег Петрович, а поняв — растерялся.

Остаток пути проехали молча, словно стеснялись друг друга. Нарта остановилась у крыльца.

— А красив Север! — сказал Олег Петрович, глядя в сторону.

Они распрягали собак.

— Строг и целомудрен, и все людские беды до обидного ничтожны по сравнению с ним.

Ветров промолчал, не зная, что ответить. Он снимал алык с вертлявого вожака, норовящего хватить за руку.

— Не знаю, как сложилась бы моя судьба...

Олег Петрович помог Ветрову распутать смерзшиеся ремни упряжки.

— ...Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не будь его на свете. Да и не только моя, должно быть.

Он хотел добавить еще что-то, но закашлялся и, пригнув голову, прижал ладони к лицу, безуспешно пытаясь унять кашель. При каждом толчке голова его вздрагивала, тяжеловато откидываясь к плечу. Потом он вспомнил о Ветрове и, очевидно стесняясь своего затянувшегося кашля, зашел за стену дома.

Когда собаки были выпряжены из нарты и привязаны к колышкам, вбитым в снег, а нарты поставлены на ребро, чтобы не примерзли полозья, из-за дома показался Олег Петрович. Он улыбнулся Ветрову, вытер носовым платком тонкие, побелевшие от мороза губы, и проговорил, словно оправдываясь:

— Кашель, черт возьми! Плохо, когда кашель...

Обед ждал.

Кухонный стол, накрытый яркой скатертью с крупными узорами, очевидно, должен был придать обеду некоторую праздничность, торжественность, и зеленая ветка кедрового стланика, торчащая из высокой хрустальной вазы, словно невзначай подчеркивала это.

Опять, как утром, упоительно сиял на плите никелированный чайник, заводя свою немудреную песенку.

На окнах появились новые занавески.

Пол на кухне был таким чистым, что ступить на него, не сняв торбазов, было бы наверняка кощунством.

На их голоса из комнаты вышла Эльвира Эдуардовна.

— Ну, — были первые ее слова, — мойте руки и за стол.

Ветров смотрел на нее и не узнавал. Все в этой женщине было сейчас необычным: и голос, ставший вдруг певучим, и слегка подведенные глаза — раскосые и большие, и фигура, туго обтянутая темным платьем, коротким, едва прикрывающим крупные колени.

Эльвира Эдуардовна, перехватив взгляд Ветрова, лениво усмехнулась и поправила легкими руками прическу.

— Ты бы, Олег, мог и переодеться.

— Ну да, конечно, — промямлил он, очевидно удивившись ничуть не меньше Ветрова переменам, происшедшим в доме за их отсутствие. — Что это?

И Ветров не понял, о чем он спрашивает.

— Обед, — сдержанно улыбнулась Эльвира Эдуардовна. — Господи, ну и дикари!

— Ах, обед! — понял Олег Петрович и важно закивал головой.

Эльвира Эдуардовна, словно бы нехотя, направилась к плите, тихонько постукивая каблучками, покачиваясь на них, повязала на пояс полотенце, тщательно разгладила руками складки, глянула на мужа и Ветрова, все еще стоявших в нерешительности у порога, и грациозно потянулась, как большая, холеная кошка.

— Долго вы собираетесь торчать там? А, мужчины?

— В самом деле, Вадим? Что ж это мы? — спохватился Олег Петрович.

— ...Клерет, — сказала тихонько Эльвира Эдуардовна, лениво разглядывая пустую бутылку.

Обедать они уже кончили и сидели сейчас за столом молча, думая каждый о своем. Общий разговор не вязался.

— Клерет, — отставила она бутылку. — Грустное осеннее вино. «Вильгельм второй во Франции пил грустное вино...» Так, что ли, Луговской писал? А помнишь, Олег, пили мы его? Помнишь, когда с собрания сбежали?.. В кафе-мороженое... Ты еще мне предложение пытался сделать. Помнишь?

Олег Петрович кивнул:

— Пили, и не однажды... Это было самое дешевое вино в те времена, — пояснил он Ветрову. — На шампанское не хватало денег.

— И на клерет тоже не всегда, — она снова потянулась к бутылке, но, передумав, звучно щелкнула пальцами и обратилась к Ветрову: — Дайте закурить, что ли.

Ветров поспешно протянул пачку. Ее длинные пальцы выхватили из пачки сигарету, небрежно размяли ее.

Ветров чиркнул спичкой.

— Спасибо, Вадим. Ну, как там Лазарев? — неумело затянулась она. — Вы нам так почти ничего и не рассказали о нем.

— Действительно, — оживился Олег Петрович, — что же вы о Лазареве молчите?

— Все по-старому, — пожал плечами Ветров, думая, что же он еще может сказать о Лазареве, едва знакомом ему человеке.

— Как они с Мариной-то живут?

— Живут... Лазарев на весенние каникулы к вам собирается. Кажется, собирается.

— Он, Вадим, наш самый старый друг. Еще материковский. Когда-то в институт вместе поступали. Ему...

— А что ему?!

Резкий голос заставил вздрогнуть Ветрова. Он механически поднял голову — Эльвира Эдуардовна отвернулась к окну. Ее пальцы с розовыми маникюрными ногтями переломили сигарету надвое и швырнули в пепельницу.

— Что ему? — заговорила она спокойно, не сразу справившись с волнением. — Что? Лазарев — директор школы. Без пяти минут завоблоно. Что Лазареву?

— Рад за него, — казалось, Олег Петрович совсем не заметил ее секундной вспышки. — Он достоин всего этого. Рад...

— Я тоже, — она поднялась из-за стола, одернула занавеску. — А ты мог быть уже доцентом, наверное.

— Возможно, — равнодушно согласился Олег Петрович. — Не исключено.

— Н-да! — Она прошлась по кухне.

«Тук-тук, — размеренно простучали каблучки, — тик-так».

— Н-да. А мне уже не двадцать..

— Совершенно верно. Тебе скоро тридцать шесть, Эля.

— Тридцать шесть, — повторила она. — Тридцать шесть... Господи. Много-то как...

— Не очень, — попытался утешить ее Ветров, подсознательно чувствуя, что ему просто необходимо сейчас сказать что-то доброе, хорошее, чтобы как-то замять, загладить возникшую за столом неловкость. — Не очень. Это ведь еще детородный возраст, — добавил

он совсем некстати и вдруг густо покраснел, поняв, что сказал не то.

Шаги прекратились. Сделалось удивительно тихо. Ветров услышал, как грохает артерия у него на виске.

— Го-осподи! — медленным шепотом выговорила Эльвира Эдуардовна.

Ветров поднял глаза на Олега Петровича, инстинктивно ища у него поддержки, помощи, и с удивлением заметил, что Олег Петрович зажимает ладонью рот, сдерживая смех. Голова Олега Петровича тряслась, на глазах выступили слезы.

— Де-то-родный! — наконец выдавил он из себя и громко расхохотался. — Детородный! Ха-ха-ха! — он снял очки и вытер пальцем глаза. — Слышишь, Эля, что врачи говорят. Хе-хе-хе! Детородный.

— Господи! — выдохнула Эльвира Эдуардовна и, зло хлопнув дверью, ушла в комнату.

— Так, значит, детородный? — подмигнул Олег Петрович все еще красному от смущения Ветрову. — Отлично, док! Воистину остряк вы. Великолепное словечко! Де-то-род-ный, — повторил он по слогам и рассмеялся.

Ветрову был непонятен его смех. Он встал из-за стола и отправился на крыльцо.

— Куда же вы? — крикнул вслед Олег Петрович.

Мелкое солнце висело в зените, готовое вот-вот тронуться к морю: день перевалил на вторую половину. Похолодало. Ветровские собаки, лежавшие заиндевелыми комками на снегу, при его появлении лениво поднялись, широко зевая и потягиваясь.

«Завтра уеду, — подумал Ветров, — два дня — и дома».

Он облокотился о перила, закурил, швырнул недокуренную сигарету в снег и вернулся в дом.

Олег Петрович сидел на старом месте у окна и что-то писал в толстую тетрадь. Его дымящаяся трубка лежала на краю пепельницы, целя черным чубуком прямо в Ветрова.

— Если вы, Вадим, — оторвался от тетради Олег Петрович, — по доброму русскому обычаю хотите предаться послеобеденному сну — ложитесь. Не стесняйтесь...

— Я вышел из того возраста, когда положено спать после обеда.

— Может, не вышли еще?.. В таком случае не составите ли компанию в заготовке дров? В пилке, вернее.

— Пожалуйста.

— Великолепно. Минут через десять...

Они пилили долго и молча. Текли на снег пахучие опилки, повизгивала пила. Олег Петрович казался озабоченным, и Ветрову не верилось, что это он совсем недавно, всего-то несколько часов назад, так весело, так беззаботно, во весь голос распевал о легкомысленных красавицах.

Когда порозовевшее солнце неслышно ушло в торосы, Олег Петрович столкнул с козел недопиленное бревно, потянулся, перекинул через плечо пилу и бросил Ветрову:

— Достаточно. Благодарю вас.

С непривычки у Ветрова болели плечи и кисти рук.

— Устали?

— Не так чтобы так, не очень чтобы очень... — улыбнулся Ветров. — Может, попилим еще?

Олег Петрович покачал головой:

— Ступайте в дом. Возьмите-ка пилу, а я дров захвачу.

Семилинейная лампа уютно освещала кухню. Эльвира Эдуардовна гладила, напевая вполголоса.

— Устали? — спросила она.

— Нет.

Вошел Олег Петрович с охапкой дров.

— Ты бы смазал мне лыжи, Олег.

— Охотно, — он аккуратно, полено к полену, складывал у плиты дрова. — Кстати, вечер великолепный.

— Люблю кататься в сумерках, — обратилась она к Ветрову. — Одна... Это, должно быть, не совсем нормально? С медицинской точки зрения. Что-нибудь от шизофрении?.. Нет?.. Ну, и слава богу...

Олег Петрович большим кухонным ножом щепал лучину для растопки.

— Жениться вам надо, — глянула она на Ветрова. — Правда, Олег?

— Надо, наверное... Все ведь женятся.

— Женятся-то, конечно, все, — протянула Эльвира Эдуардовна. — Но не все, к сожалению, знают, зачем они делают это. Не все... Но вам, Вадим, жениться надо, и непременно. И ни к чему затягивать это мероприятие. Ей-богу ни к чему. За вас пойдет любая — только побольше настырности. Побольше! Мы, женщины, слабый народ и любим настырных. Пробивных. Сильных... Пойдет любая за вас. А что? Молод, образован, перспективен.

«Завтра же уеду!» — твердо решил Ветров.

Затопив печь, Олег Петрович вышел из дому.

Эльвира Эдуардовна молча сняла со стола байковое одеяло, переставила утюг на плиту и скрылась в комнате. По всему было видно, что она уже простила Ветрову его невольную бестактность.

На крыльце Олег Петрович, насвистывая, яростно растирал ладонью полозья лыж.

С хребтов к побережью подступали темно-синие сумерки — тихие и настороженные. Солнце уже зашло, и над припаем лежала узкая кайма заката.

— Зачем собак с вечера кормите? — удивился Олег Петрович, когда Ветров, достав с нарты мешок с юколой, бросил вожаку смерзшуюся рыбину.

— Завтра еду.

Плотно прижав лапами юколу к снегу, навалившись на нее лохматой грудью, собаки торопливо рвали рыбу зубами, громко чавкая, давясь, свирепо озираясь по сторонам.

— Разве торопитесь?

— Служба, — помедлив, ответил Ветров. Он боялся, что Олег Петрович начнет его уговаривать остаться, остаться хотя бы на денек и он, Ветров, не сможет отказать Олегу Петровичу. Не захочет обижать его.

— Служба так служба, — просто сказал Олег Петрович. — А все-таки жаль, что уезжаете так поспешно. — И не дожидаясь ветровского ответа, снова вернулся к лыжам и засвистел.

Когда Ветров, увязав по-походному нарту, проверив постромки, вернулся в дом, Эльвира Эдуардовна одиноко сидела за кухонным столом и, склонившись к зеркалу, разглядывала себя. Рядом с зеркалом стояла батарея мазевых баночек.

— А-а, это вы, — протянула она и, словно оправдываясь, поспешно добавила: — «Хочет женщина быть красивой». Знаете эти стихи? «Быть любимой, а не вдовой».

— Знаю. Казаковой.

— Наивные стихи. Не правда ли?

Ветров промолчал. Он чувствовал, что эта женщина начинает раздражать его. Он смотрел на нее и ничего, кроме сетки морщин у глаз, которые она тщательно разглаживала кончиками пальцев, мясистых, ярко напомаженных губ и двойного, жирного подбородка, не видел. Она была уродлива, и никакая косметика не в силах была замаскировать ее уродство. Ничто не могло помочь ей.

«Так тебе и надо!» — злорадно подумал Ветров.

Ветров искренне пожалел Олега Петровича, вынужденного жить с ней под одной крышей, видеть ее ежедневно, говорить с ней, исполнять ее дурацкие прихоти.

— Оле-ег! — позвала она.

И голос у нее был приторным, липким, фальшивым...

— Лыжи на крыльце, — отозвался Олег Петрович из соседней комнаты.

— Никак не могу поверить, — она отодвинула локтем зеркало. — Никак не могу поверить, — повторила она и обернулась к Ветрову, присевшему от нечего делать к столу, — что мы живем здесь одни...

«Помолчала бы уж!» — неприязненно подумал Ветров.

Но, не вняв желаниям Ветрова, Эльвира Эдуардовна продолжала:

— Одни на много-много километров. И только снег, снег вокруг, и ничего больше. Ничего!.. Порой мне даже кажется — весь мир провалился куда-то в тартарары, а мы случайно уцелели... Почему-то уцелели... — голос ее дрогнул. Она смолкла и, подперев руками голову, задумалась.

«Слава богу, кончила эту бодягу!» — отметил про себя Ветров, собираясь встать и уйти в другую комнату.

— Но вот приходят письма. На пост приезжают люди, и мы с удивлением узнаём, что ничего, абсолютно ничего, не изменилось в мире. Где-то люди рождаются, расходятся, влюбляются, женятся. Что-то делают, добиваются чего-то... Одним словом — идет жизнь. Без нас идет. И годы наши тоже идут и тоже без нас, — добавила она тихо, почти шепотом. — Понимаете, Вадим?

— Начинаются дамско-интеллигентские разговоры, — Олег Петрович незаметно появился в кухне, подошел к столу и ласково погладил ей волосы. — Перестань, Эля. Не надо об этом. Зачем же все об одном? — спросил он растерянно.

Закоптила лампа. Ветров встал и подвернул фитиль.

Хорей вспрыгнул на стол, ткнулся мордой в лицо Эльвиры Эдуардовны.

— Хорей! — строго прикрикнула она, и кот моментально очутился на полу.

— Встанешь на лыжи, — Олег Петрович глядел в темное окно и говорил очень медленно, точно заботясь о том, чтобы каждое слово, каждый звук был понятен ей, — и тишина. Снега голубые. Зеленые звезды. Разве не здорово?

— Здорово, Олежек! Конечно же, здорово... Когда-то все факультетские девчонки завидовали мне. А ты писал великолепные стихи. И все о звездах, о звездах... А звезды здесь действительно красивые очень. Только возраст у меня, к сожалению, уже не звездный. Не звездный! И ничего не поделаешь с этим. Ни-че-го...

— Н-да! — выдохнул Олег Петрович, когда они остались вдвоем с Ветровым. Из кухни они перешли в комнату и сидели у печи, глядя на огонь сквозь приоткрытую печную дверцу. — «Хочет женщина быть красивой...» — Он встал с табуретки, мягко прошелся по комнате. — Мы давно женаты, — начал он как бы между прочим, как бы только для себя. — Давно. Эля была самой красивой девушкой курса. Неприступной, гордой... Н-да... А было нам по двадцать. Первая свадьба на курсе... Бесшабашное время — молодость и неустроенность. Что еще для счастья нужно?

— Хватило бы одной молодости.

— Боюсь, ошибаетесь. Только молодости было бы нам с Элей мало. Наверняка мало... Кстати, она великолепная лыжница. Спортсменка. В лыжную секцию я только из-за нее и записался, но, как ни парадоксально, на лыжах ходить так и не научился. Бывает же... На лыжах бегали другие, а я держал Элино пальто, пока она тренировалась, смазывал ее лыжи, подгонял крепления, и счастлив был этим до невозможности, до неприличия. Вот как немного надо было... Хотя что я говорю?! Этого было много. Слишком много для одного. Н-да... А вы, Вадим, наверное скоро уедете с Севера? — неожиданно спросил он. — Не так ли?

— Уеду. Мне уже хватило Севера.

— Вот видите, — проговорил он грустно, и можно было подумать, что ему уж очень не хочется расставаться с Ветровым. — Вам уже хватило Севера.

— Вполне.

— Но вы о нем, должно быть, мечтали? Мечтали с детства. Вы не похожи на людей, приезжающих на Север только за деньгами. Не могло быть у вас и дру-

гих причин, погнавших вас как можно дальше от насиженных мест: вы молоды для этого. Не могло.

— Нет. Причин не было.

— Значит, вы приехали за мечтой, а мечта оказалась в действительности не столь уж привлекательной и совсем не романтичной. К сожалению, такое часто случается в жизни.

Олег Петрович медленно ходил по комнате, заложив руки в карманы брюк. Казалось, он просто рассуждает вслух, время от времени вспоминая о Ветрове.

— Хотя любой из нас, даже самый рассудительный, не всегда верит, что это так, подсознательно не верит, необъяснимо... Я имею в виду мечту и говорю о ее реальности, точнее — вере в ее реальность, возможность, — вечной человечьей вере. Все так. Прописные истины. Скучно.

— Да, — отозвался Ветров.

Олег Петрович подошел к Ветрову, потрепал его по плечу:

— Давайте закурим, Вадим. Кончим пустые разговоры.

За окном завыла собака — протяжно и жалобно. Ей ответила вторая, третья, и вскоре выли обе упряжки.

Ветров представил, как сидят сейчас на снегу собаки, закрыв глаза и вскинув морды к небу, неподвижные и нереальные в синеватом лунном освещении, и ему сделалось неприятно. Он не выносил собачьего воя, никак не мог привыкнуть к нему, все чудилось ему в этом что-то леденящее, жуткое, обреченное.

Вой внезапно оборвался, точно кто-то разом заткнул собачьи глотки.

— Собаки воют, как и тысячи лет назад, — первым нарушил молчание Олег Петрович. — Кто-то из полярных путешественников писал, что собачий вой в ночи — это гордый вызов крови.

— Чему вызов-то? — спросил недоуменно Ветров.

— Северу.

— Кому он нужен, этот вызов?

Олег Петрович, казалось, не услышал ветровского вопроса.

— Когда-то поступал я в Арктическое училище. Срезался на медкомиссии. Глаза, — он снял очки и, близоруко щурясь, поглядел на огонь. — Глаза подвели. Хотел быть покорителем Севера — Седовым, Нансеном...

— Что бы ни делалось — все к лучшему. Так, кажется, говорят.

— Это, — Олег Петрович махнул рукой и снова зашагал по комнате, — присказка не для людей. Ее придумали ленивые и жирные бюргеры... Хотя, в конечном счете, как видите, я на Севере. Судьбы людей замысловаты. В вашем возрасте о Севере я уже не думал. Занят был слишком. Кандидатская. Сроки. Какой уж там Север!

— Стоило писать диссертацию, чтобы потом стать наблюдателем?

— Ту диссертацию, которую написал я, — я писал о Глебе Успенском — писать не стоило в любом случае. Это была профанация научной работы. Даже я понимал это.

— Не защищались? — спросил заинтересованно Ветров. — ВАК не утвердил?

— Защитился... Отчего же... Кандидатские почти все защищаются. Престиж руководителя. План подготовки научных сотрудников, сердобольные оппонен-

ты... Ученый совет... Двадцать минут твоего публичного позора, и ты пожизненно дипломированный ученый. Кандидат. Ерунда все это! Мелочь!

— Вы, — удивился Ветров, — кандидат науки... и здесь? — Это было невероятно, немыслимо, как, впрочем, многое в этом странном доме. Ветров считал Олега Петровича обычным недоучкой, неудачником и чудаком. — Вы кандидат наук? — переспросил он.

— Да, — просто ответил тот, не заметив ни удивления, ни недоверия в тоне Ветрова. — Кандидат наук и здесь. Я ведь, Вадим, начал с замысловатости людских судеб и, ей-богу, кандидатская здесь ни при чем, хотя все должно было сложиться по-другому. «По-людски», — как любит говорить Эля. Лучше бы, разумеется, работать в школе. Педагог я по образованию. Преподаватель русского языка и литературы. Работать бы у того же Лазарева. Это было бы отлично!

— Так в чем же дело?

— Я не могу работать в школе. У меня туберкулез легких, — он это сказал так просто, так спокойно и обыденно, словно бы речь шла о чем-то совсем маловажном и даже не имеющем к нему лично никакого отношения. — Трубка погасла. Спички у вас?

Ветров, как врач, понимал, что больные не могут так спокойно говорить о своих недугах, даже самых пустячных, и это его обескураживало.

— Только не давайте мне, пожалуйста, советов. Я знаю, это ваш врачебный долг, но... не будем об этом. Договорились?

— Я только хочу сказать одно, — быстро заговорил Ветров, — туберкулез излечим и...

— Уверен в этом! Я еще намерен жить, работать. Понимаете?

— Но вам нельзя жить здесь. Здесь, — повторил он.

— Сосновый лес. Высокогорная местность. Это вы имеете в виду? Кумыс, паск, фтивазид, стрептомицин, режим... Все было. Было. И зачем повторять сызнова?

Ветров понял, что спорить и доказывать что-либо Олегу Петровичу бессмысленно.

— Но это... — начал он.

— Можете не продолжать. Жить здесь с кавернами в легких — самоубийство. Уже слышал. А я — живу, — сказал он, затянувшись. — Вот и курить нельзя...

— Нельзя.

— Жить нельзя. Работать нельзя. Курить нельзя, — он замолчал. — А что же в таком случае можно?

— Вы слишком пессимистичны.

— Совсем наоборот. Вы первый, кто говорит мне о пессимизме. С чего это вы взяли? Уверяю вас — ошибаетесь. Отнюдь не пессимист. Отнюдь... Правда, и до бодренького оптимиста мне далековато... Беда в том, что все-то я знаю, все понимаю. Кровотечение — и... здесь остановить его некому... Н-да...

— Сами себе противоречите.

— Борьба противоположностей, — попытался отшутиться Олег Петрович, — пружина развития.

Дрова в печи давно прогорели. Тускло розовели угли, подернутые сероватым налетом пепла. Было тихо, и только мороз изредка потрескивал в стенах. Мысли Ветрова спутались. Он попытался поставить себя на место Олега Петровича и — не смог.

— Возможно, я и уехал бы на материк, — заговорил Олег Петрович, — будь я на вашем месте.

— На вашем надо уезжать, и немедленно.

— Хм-м. На моем?.. Легко уезжать, зная, что ты в любое время можешь вернуться. Как только захо-

чешь. Может быть, никогда и не вернешься, но сама мысль... Да и потом на материке слишком уж много соблазнов: тубдиспансеры, профессора-фтизиатры... А надо работать, успеть...

— Работа наблюдателя — чрезвычайно важная работа, — съязвил Ветров.

— Между прочим, Вадим, работа наблюдателя — нужная работа; но говорил я не о ней. Нет.

— Что же это за такая важная работа?

— Не ехидничайте. Это моя работа. Мое дело.

— Так вот я и спрашиваю — что за работа? Опять Успенский?

— Вам она не покажется интересной. Слишком специфична, но это не Успенский... У каждого человека, дорогой мой, должно быть свое дело. Свое.

— Разумеется. Каждый совершеннолетний чем-то занимается. Жить-то надо.

— Вы совершенно правы. Жить-то надо, конечно. Но работать надо не только потому, что «жить-то надо», а я не Рокуэлл Кент, который мог приехать в Гренландию, построить домик и заниматься только любимым делом, не состоя ни на какой официальной службе. Работать надо не потому, что надо зарабатывать. Понимаете?

— А-а, — протянул Ветров, которому становились совсем не интересными рассуждения собеседника. Они казались ему заумными и вообще-то пустыми.

— Большинство, к сожалению, работает только для того, чтобы заработать, и предложи им другую работу, за которую они будут получать рубля на два больше, и...

— Почему «к сожалению»? Чего же здесь непонятного? Материальная заинтересованность. Естественно. — Ветров зевнул, прикрывая ладонью рот.

— Заговорил я вас. Может, чаю попьем?

— Попьем, — еще раз зевнул Ветров. Ему было все равно.

В соседней комнате, прошипев, пробили часы. Было восемь.

— Эля вот-вот вернется, — отметил Олег Петрович.

— Ну, а как же, — спросил Ветров, отставив чашку и вынимая из кармана сигареты, — здесь вы очутились? Вы недавно здесь?

— Как недавно? Третий год. А попал как — длинная история. Не люблю рассказывать об этом, но вам-то я готов поведать обо всем. Вы врач, а как известно, ни один врач не верит в чудо. Профессиональное недоверие.

— Хотите сказать, что сюда попали чудом, — улыбнулся Ветров. — Ничего себе чудо.

— Случилось это немногим более трех лет назад, хотя подсознательно, исподволь подготовлялось наверняка задолго до того, как всему этому суждено было произойти. С детства. Да... Еще с детства... Жил у нас в огромной коммунальной квартире, более напоминающей Ноев ковчег, нежели человечье жилье в столичном городе, полярный летчик. Прошло много времени с тех пор, и я не помню ни фамилии, ни имени этого человека. Сдается, его звали Павлом. Дядей Пашей. Дело, разумеется, не в имени... Чернобородый весельчак. Великолепный рассказчик, одним словом, человек в нашей квартире во всех отношениях незаурядный. Мужчины восхищались его шахматными способностями и умением пить водку стаканами, не хмелея. Ну, а наши женщины судачили на кухне о его длинных рублях и сомнительных знакомствах. В то время много писалось, говорилось о Севере —

челюскинцы, папанинцы... Мы, мальчишки, и в этом нет ничего удивительного, смотрели на нашего летчика, как... — он задумался, — даже не знаю, как сказать... Не могу найти достаточно точного слова, выражающего наше к нему отношение. Одним словом, в наших глазах он был как бы олицетворением самого героического, мужественного, сильного... Еще большее впечатление производили его рассказы о зимовщиках, шхунах, загадочно исчезнувших во льдах, белых медведях, о никому не ведомых северных островах — «белых пятнах на карте», — как любил он говорить. Мы робко входили в его комнату и усаживались прямо на пол, на шкуры. Мебели, как мне помнится, в комнате почти не было — табуретка да оттоманка. Вот и все. В комнате было другое: чучело полярного волка со стеклянными глазами, спальные мешки, унты, меховая одежда, рулон карт в углу, а на стене — два карабина и бинокль. Его комната сама по себе подчеркивала необычность ее жильца, его принадлежность к другому миру, так отличному от скучного быта Ноева ковчега.

Комнаты наши располагались рядом — в самом конце непомерно длинного коридора, который летчик в шутку называл Великим Северным морским путем, и я бывал в его комнате чаще, чем другие мальчишки. Возможно, мы дружили. По-настоящему. По-мужски. Вот отсюда, наверное, и начиналась любовь к Северу. От рассказов, комнаты, книг, которых по безграмотности я не читал тогда, от него самого, соседа нашего... Летчик был безнадежно болен Севером и меня заразил им. Вот как все это было. — Олег Петрович постучал пальцем по замерзшему стеклу. — А сегодня мороз. Тридцать было в полдень. Хорошо, что безветрие. Вдосталь Эля накатается.

— Так что же дальше? — спросил нетерпеливо Ветров. — Что с вашим летчиком?

— Летчик? — переспросил Олег Петрович. — Погиб наш летчик... В тридцать восьмом году.

— Погиб?

— Да. На острове Врангеля. А может быть, и не там. Не помню. Ковчег узнал не скоро о его гибели. Узнал совсем случайно. Приехала какая-то женщина к нам, как потом оказалось — бывшая жена летчика. Вот она и рассказала. Женщина приехала за вещами. В комнате летчика после ее отъезда остались только табуретка да груда книг, сваленных на подоконнике. Табуретку вынесли на кухню и сделали общей, а книги, с разрешения управдома, я перенес в свою комнату и сложил на антресолях среди квартирного хлама. Книги оказались прекрасными: дневники Роберта Скотта, записки Пири, Нансена... Вот так и достались мне несметные сокровища погибшего летчика, но я об этом в то время, разумеется, даже не догадывался... В соседней комнате поселился сапожник с глухонемой женой, и ковчег наш поплыл дальше, а его обитатели начисто забыли о летчике, словно бы и не жил он никогда в нашей квартире. А я вот помнил о нем. Помнил... Север, — вздохнул Олег Петрович. — Мы, как правило, легко расстаемся с детскими мечтами, становясь взрослыми: будничность, повседневность затирает. Нет ничего удивительного, что так случилось и со мной. Правда, если быть откровенным, — учась в институте, я изредка подумывал о Севере. Я думал: вот кончу институт — поеду на Север... На Чукотку, на Диксон, в Тикси... Везде есть школы, а если есть школы — нужны учителя. Логично? Но случилось по-другому: мне предложили аспирантуру, а это большое искушение. В те времена, не в пример моим одно-

курсникам, я был уже достаточно практичным человеком. Я был главой семьи и, несмотря на физическую молодость, оперировал понятиями человека, умудренного жизненным опытом. Я знал: журавль в небе — ничто. Мне нужна была синица в руке. Мне ее давали вместе с аспирантурой. Н-да... Разговорился я. Редко бывают на посту люди. Так редко... А человеку надо время от времени выговариваться. Надо!

— Я вас с удовольствием слушаю. Очень интересно, — Ветров говорил правду. Ему действительно было интересно слушать Олега Петровича. Он в детстве тоже думал о Севере и даже мечтал поступить в мореходное училище и стать полярным капитаном. А поступил в медицинский институт, и никто ему не предложил в институте аспирантуру, но на распределении можно было выбрать между Севером и Псковской областью. Север гарантировал сохранение прописки... — Так где же обещанное чудо, Олег Петрович?

Пробили часы. Легонько скрипнула дверь — в кухне, мягко ступая, появился Хорей, потерся о ножку стола и замурлыкал.

— Половина девятого. Загуляла Эля... Чудо — спрашиваете вы? Сейчас будет и чудо, — проговорил он задумчиво. — Налить вам чаю?

— Спасибо.

— Итак, чудо, — начал Олег Петрович. — Случилось оно после третьего по счету пневмоторакса. Третьего, заметьте... Третьего, и не принесшего мне, я не говорю о выздоровлении, к тому времени я был опытным больным, больным со стажем, — он усмехнулся, — с основательными теоретическими познаниями; третьего, и не принесшего мне ни малейшего улучшения. Я начинал думать о смерти и, как ни странно, думал о ней спокойно, словно думал не о своей смерти,

а о смерти другого человека — чужого, незнакомого мне. Я глядел на себя как бы со стороны... В палате меня считали, пожалуй, самым тяжелым больным. Разумеется, надежд на выписку не было. Эле выдали постоянный пропуск, и она навещала меня ежедневно. Она ходила в больницу, как на работу. В пять приходила — в половине одиннадцатого уходила. Врачи ждали легочного кровотечения. Я знал — оно будет последним. И вот тогда-то, неведомо почему, я вспомнил о Севере. Я думал о нем постоянно. Странно, не правда ли? Меня мучили северные сны, настолько реальные, что порой, просыпаясь, я долго не мог сообразить: как же я очутился в палате? Почему? Что случилось?.. Именно тогда вдруг стало страшно умереть. Очень страшно. Не вообще умереть, а умереть, не увидев Севера. Севера, который остался в детстве, в общем-то чужого Севера. Мне казалось — очутись я на Севере, ну, хотя бы на полчаса, глянь я на него, пускай сквозь заиндевелый иллюминатор самолета, — и все. Большего не надо! Я боялся кому-либо рассказывать об этом. Даже Эле. Знал — вызовут психиатра. Смешно подумать — умирающий доходяга рвется на Север и зачем: чтобы потом спокойно умереть. Так просто, видите ли, умереть он не может... — Олег Петрович замолчал и принялся раскуривать погасшую трубку, громко причмокивая губами.

— Ваши психические сдвиги, — авторитетным тоном, как может говорить только врач, начал Ветров, — легко объяснимы. Это результат действия продуктов распада легочной ткани на кору головного мозга. Интоксикация.

— Умно говорите. Ин-то-кси-ка-ция, — произнес Олег Петрович по слогам. — Куда как просто! Действие химических веществ.

— Да, да. Нервные клетки очень чувствительны. Они всегда поражаются в первую очередь.

— Все просто. — Олег Петрович наконец раскурил трубку и пристально глянул на Ветрова. — Конечно, интоксикация, доктор. А я-то, дурак, думал, что мечта это, — и вдруг рассмеялся.

Ветрову был непонятен и неприятен этот неуместный смех.

«Чокнутый», — подумал он брезгливо.

— Нет, дорогой доктор! — Олег Петрович вновь сделался серьезным. — Нет, — повторил он твердо. — Это не мудреная интоксикация, а мечта человеческая, сотворившая чудо, вернувшая жизнь. Мечта...

— Пусть будет по-вашему, — бросил Ветров, чувствуя, что спорить бессмысленно. — Если вам так угодно...

— Пусть будет по-моему, — согласился Олег Петрович и, улыбнувшись, продолжал: — Помню, выписали меня, мы шли с Элей через пустынный больничный парк, высоко в небе шлялось тусклое солнце и медленно-медленно падал первый снег. Я, как мальчишка, ловил ртом снежинки и, конечно же, был счастлив. По-детски, взахлеб. Я жил. Жил! И Север, значит, был рядом... Вот как бывает, — кончил он. — Вот как. Н-да...

Трубка его снова погасла, и он принялся ее раскуривать — деловито и сосредоточенно, точно делая некое важное дело.

— А здесь, здесь-то как вы очутились?

— Здесь — случайно, — вынул трубку изо рта Олег Петрович. — Тот же Лазарев помог. Шурин его в управлении гидрометслужбы работает.

— Ну, а... — замешкался Ветров, не зная, как бы осторожнее спросить его об Эльвире Эдуардовне.

— Вы хотите, наверное, спросить об Эле? — догадался Олег Петрович. — Она не была против, хотя и приехала не сразу. Месяца через два. Бросила службу, квартиру...

На крыльце раздались шаги.

— А вот и она! — обрадованно сказал Олег Петрович и уставился на дверь. — Эля это, — уточнил он, как будто бы Ветров не знал, что, кроме нее, некому прийти.

Нерешительный рассвет едва угадывался за вершинами далеких хребтов, когда Ветров запряг собак.

Собаки, стряхивая остатки сна, трясли заиндевелыми мордами и широко зевали.

Было морозно, и краюху хлеба, которую дала ему на дорогу Эльвира Эдуардовна, Ветров сунул под рубаху, чтобы не смерзлась до чаевки.

Теплом и уютом светилось кухонное окно.

— Счастливого пути! — подошла Эльвира Эдуардовна к нарте и крепко пожала Ветрову руку. — Лазаревым привет. И нас, пожалуйста, не забывайте. Договорились?

— Ну, — протянул Олег Петрович руку, — до встречи! Рад был с вами познакомиться. Всего вам...

Собаки нетерпеливо повизгивали, норовя стронуть нарту.

— Так Лазаревым привет, — напомнила Эльвира Эдуардовна и, громко шмыгнув носом, отвернулась.

Ветров поспешно выдернул из снега остол, свистнул собакам и рывком стронул нарту. Оглушительно заскрипел снег под полозьями, взвизгнули собаки.

Несколько метров он пробежал рядом с нартой, держась за баран, потом неловко плюхнулся в нее.

— До свидания! — прокричал он, оборачиваясь. — До свидания!..

Олег Петрович поднял высоко над головой руку и помахал Ветрову.

На спуске к реке Ветров притормозил бег нарты и направил ее к правому, высокому берегу, — там было меньше застругов.

Выбравшись на русло, собаки пошли резвее.

— Ах, боже мой, — запел Ветров вполголоса, — течет Печора, моя далекая река...

Весело тренькал медный колокольчик на шее вожака.

Бесшабашный ветер движения обдувал лицо.

Пропев первый куплет, Ветров обернулся, тщетно пытаясь отыскать глазами светящееся окно, но позади было темно. Там, позади, осталось побережье — пустынное и безмолвное, чуждое Ветрову.

— Ах, боже мой, — снова запел Ветров, — течет Печора, моя далекая река...

Из-за крутого речного поворота вывернулась низкая Венера — утренняя зеленая звезда.

Алексей Коробов

ФОМА

I

Он появился в спортзале, когда женщины только-только закончили разминку и судья, высоко подняв над головой мяч, ждал игроков в центре поля.

На трибунах его сразу узнали.

— Фома, привет!

— Фома идет, Фома!

— Фома! Фома! — окликали его со всех сторон, и Фома, напряженно улыбаясь, проходил мимо трибун, кивал головой, вскиды-

вал в приветствии руку, жестами и быстрыми репликами объяснял, что чертовски рад видеть знакомые рожи, но торопится.

Судья подбросил мяч, свистнул, и секунды на световом табло заторопились отсчитывать первую двадцатиминутку.

Когда мяч оказался в воздухе, прозвучала судейская сирена, центровые, ухнув, подпрыгнули — тугой шлепок, а игроки ринулись к мячу — быстрый перестук кедов по деревянному настилу, — в это мгновение Фома перестал слышать собственное имя, потому что он был на площадке, он был среди играющих, и его тело повторяло их движения, легкие набирали побольше воздуха для стремительного прохода, а сердце радовалось при удачах и огорчалось при промахах. Это наступало всегда, когда он видел баскетбольную площадку, и кто бы ни играл: классные команды или пацаны, которые еще не могут удержать мяч одной пятерней, или даже женщины, как сейчас, играл ли он сам или сидел на скамейке запасным — все это было несущественно, потому что наступало то главное, без чего жизнь была бы не в жизнь, — баскетбол.

Он очнулся, почувствовав, что кто-то теребит его за рукав, и, мгновенно напружинив мускулы, повернулся.

— Садись к нам, Фома!

— Фома, есть местечко!

И тогда он расслабился: сообразил, что загораживает собой поле, мешает следить за игрой, а у него еще так много дел.

В раздевалке было пустынно, дверцы шкафчиков распахнуты, будто кто-то рылся в них и впопыхах забыл прикрыть. Он прошелся вдоль шкафчиков, дверцы со стуком водворялись на место.

Сверху обдавало холодком. Он подпрыгнул — окна были высокие, стекла закрашены желтоватой краской — и мягко шлепнул по форточке.

Потрогал батарею и сразу заспешил в котельную.

Кочегар сидел в кресле-качалке спиной к выходу. Он даже не шевельнулся, когда скрипнула дверь. Синим пламенем горел запальник. Помещение было наполнено ровным гулом электродвигателей. На стенах развешаны плакаты по технике безопасности с забавным человечком в синем комбинезоне. А на одном из плакатов, без человечка, было написано: «Вентилятор друг труда, пусть работает всегда!»

— С него бы пример брал, — сказал Фома и постучал костяшкой указательного пальца по стихотворному призыву.

— Фома? — удивленным голосом спросил кочегар, но не обернулся.

Фома молчал. Он знал шуточки этого кочегара, которого звали Ленька Хваль. Хваль — это фамилия.

— Фома! — уже радостно прокричал Хваль. — Привет, родимый! Иди на грудь мою, малютка!

— Всё?

— А наше «здравствуйте»? — быстро спросил Хваль и только тогда обернулся.

— Ну, здравствуй. Ты почему не топишь?

— Может, сэр присядет?

— Ты мозги мне не заливай.

— Может, у сэра есть разрешение инспектировать котельную? Или он, часом, депутат районного Совета?

— Ты ответь: почему не топишь? Ребята с мороза придут, отогреться надо — связки застыли.

Хваль положил книгу на колени и сказал:

— Дошло. Я все осознал. Когда ты объясняешь...

— Наконец-то понял, — обрадовался Фома. — Я ж тебе каждый раз толкую.

— Когда ты подохнешь, Фома?

— Успеется. Что за книжка? — и Фома нагнулся к качалке.

— Все равно читать не будешь.

— Это почему? Думаешь, ты заочник, а у меня семилетка, так не пойму?

— Не в этом дело. Просто не будешь читать.

— Почему же?

— Не про спорт это. О физике. «Неизбежность странного мира» называется.

— Хорошее название, — сказал Фома. — Так дашь?

— Дам, — сказал Хваль. — Я бы по зубам с большим удовольствием тебе дал.

Фома засмеялся. Хвалю такие шуточки он разрешал.

— Смейся, смейся. Честное слово, если бы мог дотянуться до твоей хари...

— Значит, договорились? — и Фома направился к двери.

— Постой! — окликнул его Хваль.

Фома задержался в дверях. Хваль подошел к нему. Фома возвышался над Хвалем: худой, длинноногий, длиннорукий, даже лицо удлиненное. Хваль смотрел на него снизу.

— Послушай, — сказал он. — Тебе не надоело? Ты что, чокнулся на своем баскетболе?

Фома виновато улыбнулся.

— Ты же перед каждой игрой поедом меня ешь. Думаешь, не прогрею я раздевалку? Думаешь, я только книжки читаю на вахте? Бабы же сейчас играют,

успею я парку поддать к приходу ваших мальчиков, пойми ты. Не ходи ко мне больше.

— Нет, — замотал головой Фома, — обманешь.

— А если и обману, тебе-то какой прок? Тебе что, больше всех надо? Тебя даже не каждую игру ставят.

— Ну и что? Команда ведь...

Фома удивился, с чего это у Хваля дрогнули губы, когда тот сказал:

— Ладно.

— Вот и договорились, — сказал Фома и стал прикрывать за собой дверь.

А сзади орал Хваль:

— Иди, иди, черт длинноногий! Вениками запасайся, устрою я тебе парилку!

II

В раздевалке, конечно, еще никого не было. По времени женщины заканчивали первый тайм, и Фома подумал, что пора бы уже появляться ребятам. Не понимал он такой небрежности. Он любил прийти задолго до игры, не спеша переодеться, размяться.

Батареи заметно теплели — не зря, значит, накрутил он кочегара.

Фома раскрыл видавший виды чемоданчик, купленный много лет назад в Риге за баснословную дешевку — даже по тем, старым деньгам цена была смехотворной. У всех в команде были новенькие, лоснящиеся кожаные чемоданы, баулы, бэги; на некоторых крупно были выведены названия фирм и авиакомпаний, но Фома стойко держался за свой чемодан. Слишком о многом он напоминал. Впрочем, и майка, и трусы, и наколенники были ненамного моложе. Не то чтобы он был суеверным: старая форма приносит

удачу и прочее, — хотя и это тоже было, просто жаль расставаться с этими вещами, ну, все равно что сменить номер на майке. А пришит был шестой номер.

Он разделся и первым делом натянул наколенники. Пару раз присел, потом, сидя на корточках, попрыгал. Резина немного расслабла, но не сползала.

После этого он одевался: плавки, короткие трусы с разрезами на бедрах, майка, шерстяные носки, зашнуровал кеды — все это неторопливо, скорее автоматически, просто руки сами выбирали нужную вещь. Думал тоже о привычном: кого придется держать, будет ли судить тот рыжий, что свет в зале вроде слабоват, что второй штрафной, если разрыв будет мизерный, надо забрасывать, а не играть в щит, что игра опять закончится поздно и Ленка устроит вопеж.

Так он одевался и думал, а внутри медленно нарастало возбуждение: то, что некоторые — по незнанию — называли мандражем, некоторые — по-научному — предыгровым возбуждением, а для него это было нетерпением. А тут еще через неплотно прикрытую дверь, приглушенное расстоянием, то нарастая, то спадая, но не затихая ни на секунду, доносилось волнение зала — и это тоже заставляло дышать учащенно, поглядывать на часы, но он сдерживал себя — и это было прекрасное чувство.

Он влез в тренировочный костюм и стал ждать, когда же придут остальные.

Вот таким — готовым к игре — он помнил себя добрых пятнадцать лет. Половина жизни. Мать честная, и летит же времечко! Восемнадцатилетние парни видят в нем уже старикашку.

А ведь только случай свел его с баскетболом. Мать запретила играть в футбол. Бог с ними, с синяками, ушибами, но ботинки, брюки? Они рвались, горели,

расползались. Он ходил в латках и заплатах. Мать плакала, била, потом жалела, уговаривала: «Ну посмотри на себя! На кого похож? Я и так кручусь как белка в колесе. Нет у меня денег, понимаешь? Почему бы тебе не играть в шахматы? Такая спокойная, культурная игра. Или в шашки? С Миши бы пример брал. (Миша жил этажом ниже.) Не футболит, не дерется...»

Он, набычившись, молчал, а когда разговор заходил о примерном Мише, мстительно говорил:

— Он не дерется, потому что его бьют.

Мать отбирала ботинки. Он играл босиком, в кровь разбивая ноги. Прятала брюки — убегал в трусах. Запирала на ключ — по карнизу добирался до окна парадной...

— Фома! — Рядом стоял Гришка Петров, центровой. — Кемаришь?

— Привет, — сказал Фома. — Счет не заметил?

— На равных. Но киснут что-то наши девоньки.

— Психуют?

— Похоже.

— Что же это они? Им же победа нужна.

— А ты поговори с ними, успокой. Сейчас как раз перерыв будет. Они тебя слушаются.

— Да ладно тебе, — говорил Фома, а сам уже двигался к выходу.

III

Лена, приподнявшись на цыпочки, заглядывала через плечо стоящего впереди милиционера — выискивала, наверное, своего Данилова.

Фома слишком поздно заметил ее — ни повернуть, ни спрятаться. И, как всегда, сладко заныло сердце,

просто не мог ничего поделать. Осторожно и молча встал позади. От Лены пахло духами, помадой — непередаваемый аромат, и он с трудом сдерживался, чтобы не сделать глупость: наклониться и губами прикоснуться к волосам.

Когда-то она сказала: «Если бы я была твоей женой, я была бы очень счастлива и очень несчастлива». Сказала в каком-то отчаянном порыве, и тогда он пробурчал что-то невразумительное, даже улыбку выдавил, будто принял ее слова за шутку, вот только смеяться не стал, как положено, когда шутят. А потом... До сих пор казнился, что так глупо себя повел, потому что нет-нет да и появлялась шальная надежда: ответь он иначе, и все было бы по-другому. Но тогда, начинал он размышлять, как человек может быть одновременно счастливым и несчастным?

И от несоответствия этих понятий странно ему становилось, горько и муторно. И он заставлял себя позабыть об этой вырвавшейся фразе, а если и припирала тоска, то вспоминал лишь первую ее часть. Становилось еще муторнее, но это была облегчающая муторность, подобное он испытал в Мацесте (они играли в Сочи на первенство ЦС), и ребята забавы ради полезли в серные ванны: тяжесть, а потом легкость.

По взрыву голосов и последовавшему за ним беспорядочному шуму Фома понял: начался перерыв. Сейчас через этот служебный ход повалят игроки, судьи, всякое начальство, приближенные болельщики и настырная публика. Милиционер приосанился, широко расставил ноги, руки скрестил за спиной — приготовился.

Лена уже подпрыгивала — милиционер был рослый. «Из-за меня бы не прыгала», — зло подумал Фома, а Лена оступилась, спиной навалилась на

Фому — обжигающая теплота, и злости как не бывало, вот только бы так, рядом, хоть на мгновение. Он чопридержал ее за локти.

— Ой, спасибо! — сказала Лена и обернулась.

И он, как в зеркале, повторил все то, что проделали мышцы ее лица: ничего не значащую благодарность, потом растерянность, потом улыбку узнавания. Вот только спокойствие трудно далось ему, и он кашлянул.

— Фома, милый, как хорошо, что ты здесь! Здравствуй.

— Здравствуй, — и он опять кашлянул, но уже для того, чтобы не называть ее по имени. Зарок когда-то дал себе. Достаточно и того, что он живет с женщиной, которую зовут Лена.

— Давно здесь?

— Нет, — сказал Фома.

— Фома, родненький, Данилова не видел?

— Видел, — соврал Фома. — В раздевалке только что был. Никуда не денется твой Данилов, — и тут же пожалел, будто незаконно ударил сзади. — Найти?

А мимо уже валил народ. Фома спиной сдерживал натиск, руками упираясь в стенку. Лена стояла между его рук и, запрокинув голову, смотрела на него, будто в гляделки играла. Как-то не по себе ему стало от изучающих ее глаз, словно выискивала она в нем такое, чего он и сам не знал. И хоть бы в отдалении стояла, так нет, вроде и за мужика его не считает. А тут еще боковым зрением он ловил оценивающие взгляды, обращенные к Лене, и чувствовал себя несуразно: рядом, а защитить не может. А она — хоть бы хны, может, ей и нравилось. Ну и хорошо. Пусть Данилов заботится. Ему и положено.

— Найти? — повторил он, терзаясь, что нескладно у него с ней всегда происходит. Ждет не дождется случайной встречи, а как встретятся — и слов не хватает, и злость так и прет наружу, и разные дела торопят, вот как сейчас — обещал же он потолковать с девицами. — Переговорю только кое с кем.

— Спасибо, — сказала Лена. — Не стоит, — и мягко выскользнула из-под его руки, ей и наклоняться не надо.

— Ты! — кто-то подтолкнул его в спину. — Раззява!

Фома мгновенно обернулся и грудью пошел на обидчика.

— Фома, — протянул тот, — бывает, обознался.

— А ты узнавай, — сказал Фома и локтем прошелся по животу непрошеного знакомого.

IV

Женщины остались в зале, сидели в ряд на скамейке и скучали — их накачивал тренер. Поодаль грудились болельщики. На площадке разминались мужчины — запасные противника. «Рано приходят, черти», — уважительно подумал Фома.

— Так не пойдет, — страдальчески морщась, выговаривал Василий Иванович Цыганков, работавший тренером еще тогда, когда Фома только почувствовал вкус к баскетболу. — Что ж получается? Мы бросок, они два. Они с дальней как хотят, а мы — извините, под щитом они делают нас, а мы — извините, они финтят, мы — извините. Так мы доизвиняемся, точно вам заявляю. Что же это получается? У них на каждого от силы по два фола наберется, а у нас — извините... Кто играть будет?

— Меня заявишь, Василий Иванович, — вмешался Фома. — Только на медосмотр не посылай. — И сам подивился собственной прыткости, но уж невозможно было смотреть, как переживали девочки.

А девочки будто ждали вмешательства, вскочили, окружили его.

— Сыграй за нас, Фома!

— Бантик, бантик привяжем.

— Эх, косичку не с чего закрутить!

— Чепчик натянем, а губы — помадой.

И действительно, кто-то, подпрыгивая, пытался накинуть ему на голову ленту, кто-то протягивал помаду, галдеж стоял невообразимый, а Фома истуканом возвышался в центре, блаженно улыбался, повторял:

— Ну, ну...

— Чисто дети, — махнул рукой Василий Иванович. Похоже, недоволен он был такой беспечностью.

В центральном круге появился судья и нетерпеливо посвистывал в сирену, призывая игроков.

— Давай, давай, — поторапливал Фома девочек, — сейчас только и выигрывать.

Девочки сбрасывали тренировочные костюмы, наспех поправляли прически.

— Установку помните? — волновался тренер.

Фома дождался начала и, хотя девочкам сразу же забросили шарик, не было растерянности и суматохи на поле, уловил он какую-то перемену — это и глазами не увидишь и словами не передашь: прочувствовать надо.

«Вот и хорошо», — повторял Фома, и легче становилось на сердце. Василий Иванович погрозил ему кулаком, но не так чтобы очень сердито: старикан, дай бог каждому, тянул в баскетболе.

V

В раздевалке уже все собрались. И как только Фома открыл дверь и в уши ударили обрывки слов, смех, а глаза видели полуголых парней, а ноздри впитывали запах здоровых тел, — подкатил к горлу комок. Такое всегда накатывало на него, когда собиралась команда и до игры оставались считанные минуты. Он и злился, что не может сладить с собой, и радовался, что приходит это прекрасное состояние. И он — в какой раз! — подумал, как чертовски посчастливилось ему в жизни.

— Привет! — прокричал Фома.

Ему вразнобой ответили.

Данилов, Иван, Ванька, Иван Кириллович, старый кореш, начинавший вместе с Фомой, а теперь тренер, старательно сверял свои часы с секундомером.

— Тебя тут искала, — сказал Фома, подойдя к нему.

— А, — отмахнулся Данилов, — дома ей мало. Жаловалась? — щелкнул кнопкой на секундомере и хмыкнул: — Порядок.

— С чего ей жаловаться? — спросил Фома и сел около своего шкафчика.

Зачем-то вытащил из шкафа чемодан и положил на колени. С Риги все и началось. Там и чемоданчик вот этот она помогла ему выбрать, там ее Данилов и обкрутил. Еще с Фомой советовался: стоит или не стоит? А он, Фома, слушая, каменел, будто навалились на него, прижали к земле руки, ноги, а на рот накинули подушку — темная. А что он мог ответить? Друзья, да и стыдно свое выкладывать, и поперек дороги товарищу не станешь. Если бы его одного касалось... А тут все сложнее обстояло: видел же он, не

слепой, как она на Данилова неровно дышала, таяла буквально, едва он появлялся. Невозможно на нее в такие минуты было смотреть, да и оторваться тоже. А уж после — после того как Данилов вроде бы посоветовался, просто невыносимо было смотреть на нее: так светилась. Вот тогда и чемоданчик она ему выбрала... А слова свои знаменитые много позднее сказала, выдал, наверное, он себя чем-то, да и не сладко ей жилось. Он тогда подловил Данилова, зажал в угол, тряс длиннющими своими руками за грудки: «Ленку не обижай!» Данилов уже тренером был, дружба рушилась, а тут вконец прекратилась. Не то чтобы здороваться перестали или избегать начали друг друга, такого не было, а задушевность пропала. Ему иногда даже казалось, что Данилов его из милости держит — это его-то! Он из-за баскета в вечернюю школу не пошел и работу выбрал односменную, чтобы ни одной тренировки не пропустить. Ох, и злился он на себя за такие мысли! Это проще простого собственные неудачи на других сваливать. Баскет стал иным: и рост игроков увеличился, и скорости возросли, и нагрузка покрепчала, и тактика изменилась, что ж тут удивительного, если от игры к игре он — уже «старик» — все чаще и чаще садился к запасным? Он бы и сам ушел из команды, если бы не знал, что нужен ребятам. Установки и наставления хороши, а попробуй заведи ребят! Не всякий сумеет. А Фома умел. По́том обмоется и на бегу высушится. Потому, наверное, Данилов и стерпел. И после в команде Фому не выделял, но и не принижал тоже, да Фома и не позволил бы ни того, ни другого — все как раньше. А вот задушевность пропала. И Лена осторожничала с ним, можно сказать, избегала. Пожалуй, сегодня впервые о Данилове спросила. Спросила — он ответил. Ему скрывать нечего,

потому Данилову и передал, что искала, а вдруг что-нибудь важное?

— С чего ей жаловаться? — повторил Фома и с силой надавил на крышку.

— Мало ли, — сказал Данилов и скороговоркой добавил: — Ты же, известное дело, с пол-оборота заводишься, если что не так покажется. А женщинам что? Им бы только поплакаться, чтобы пожалели. Так?

— Так! — ответил Фома и швырнул чемодан в шкаф. (А еще лучше, если бы сам головой об угол.) Ответил — как швырнул, швырнул — как ответил, будто предал ее — свое, затаенное. За себя бы он постоял, за нее — одну — тоже. Но в том-то и беда, что не одна она.

Данилов захлопал в ладоши:

— Побыстрей! Побыстрей! Время!

А когда поутихло в раздевалке, произнес любимую свою фразу:

— Слушай сюда!

Все сгрудились вокруг сидящего Данилова. Со стороны, наверное, это забавно выглядело: коротышка сидит, а здоровенные лбы стоят. Но так было заведено — закон. Уж очень Данилов переживал из-за своего роста. Потому так рано в тренеры переметнулся, а играл в свое время прилично — разыгрывающим.

— Мальчики! — начал Данилов. — Вот и пора выходить. Бой — как учили. Победить их же оружием — стремительностью. Ни секунды раскачки. Только победа! Но, — на мгновение он запнулся и безразлично, будто о несущественном, сказал: — но и проигрывать, коли придется, с умом. Разрыв — не больше двенадцати очков. Тогда второе место. — Он сразу повысил голос. — Победить! Раздолбать их в пух и прах! И... — он выругался, все оживились. Данилов предостерегающе

поднял палец и сухо перечислил: — Первая пятерка: Петров, Васильев, Крюков, Гринберг, Братусь. Остальные — по ходу. Всё. Двинулись.

Он встал у выхода и напутственно похлопывал ладонью проходящих мальчиков. Когда очередь дошла до Фомы, шепнул:

— Заведи их на разминке.

Фома кивнул. А в горле зрели хрипы, которые прорежутся криком, едва парни появятся на площадке: «Ну! Ну! Еще! Давай! Быстрей! Ну!»

VI

Фома был измотан донельзя. Если бы он находился на поле — куда ни шло, там он был бы поглощен игрой и сиюсекундные волнения гасились бы активным участием, там некогда было бы думать о промахах: он играл бы. Но он сидел рядом с Даниловым, вцепившись ладонями в острое ребро скамейки, и все, что видели глаза, оставалось в памяти и в сердце. Гнусное состояние: видеть, как зарождается атака, предвидеть, как и почему она захлебнется, и не иметь возможности помочь — черта с два услышат его парни в ошеломляющем шуме, да и судья уже делал ему замечания.

В перерыве он немного разрядился: пока Данилов, ругаясь, умоляя, хваля, натаскивал парней, Фома ожесточенно — один за другим — вкладывал мячи в корзину.

А потом началось все заново — только еще хуже было. Ломались ребята, на глазах ломались. Чуть позднее начинали атаки, чуть запаздывали с броском, чуть медлили, оттягиваясь в защиту, чуть с меньшей яростью боролись за мяч.

Данилов психовал, тасовал пятерки, выпуская все новых и новых запасных, вот только Фому не трогал. А Фома каждый раз, когда Данилов крутил руками, объявляя замену, пружинисто застывал, готовясь выскочить на поле, но каждый раз Данилов выкликал другого. Фома и в глаза ему заглядывал, и себя называл, подсказывая, но Данилов отмахивался, а однажды не выдержал: «Успеешь еще наиграться!»

Не клеилась игра. О победе не приходилось и мечтать. Единственное, на что еще можно было надеяться, — не выйти из разрыва в шесть очков.

Данилов перестал вмешиваться, только болезненно морщился и поглядывал на часы. Он сам виноват: понервничал, увлекся заменами — вот и результат. Команду может спасти чудо. Или финальный свисток или кто-то, кто сможет завести ребят, переломить их, потянуть за собой. Фома? Фома бы смог. Как еще сам на поле не выскочил — удивительно. Пустить? А если не получится? И вдруг с раздражением вспомнил короткий разговор перед игрой, в раздевалке. Ишь с какой яростью чемодан швырнул — не забылось, значит, старое. А если бы они один на один были? Нет уж, пускай посидит.

Фома страдал. Парни дерутся за каждое очко, а он прохлаждается. Он сорвал голос, поддерживая своих, и все ждал: вот сейчас, вот сейчас Данилов его выпустит. Но Данилова, видно, ничего не интересовало, кроме часов. Истукан, злился Фома, команда загибается, а ему хоть бы хны. Еще есть шанс отмазаться. Хотя бы его, Фому, выпустил. Ох, и показал бы он, как надо играть! Такую в себе силу чувствовал — как никогда. И вдруг в голову пришла такая простая мысль, что горько стало: значит, не доверяет ему Данилов, если держит на скамейке. Боится — не

потянет Фома. Значит, он где-то сплоховал, не выкладывался на полную катушку — вот у Данилова и опасение появилось. А раз так, какое же он имеет право требовать, чтобы его выпускали? Позориться? Команду подводить? Скотина, ругал себя Фома, старым багажом хочешь прожить, запижонился, уши развесил.

И чтобы хоть в чем-то помочь ребятам, нещадно орал.

VII

На площадке безумствовала команда противника: целовались, обнимались, прыгали, пытались качать тренера. С трибун на поле хлынули болельщики.

Ребята собрались вокруг Данилова, тяжело дышали, смотрели под ноги, обтирались потными майками. Данилов скучно улыбался и, как заведенный, повторял:

— Ничего, мальчики, обойдется. Не всегда же выигрывать.

Фома ничего не говорил, помогал ребятам разобраться в тренировочных костюмах. Что попусту болтать, если тринадцать очков отдали?

Данилова зачем-то позвали к судейскому столику. Он озабоченно и не очень уверенным тоном скомандовал:

— Без меня не расходиться.

Болельщики стояли поодаль, взяв ребят в круг, но близко не подходили — Фома отгонял.

— Чего уставился? Не видал, что ли? Вали отсюда!

Злили его сейчас болельщики, впрочем, всегда это было, когда команда проигрывала. И хоть бы участие было на лицах или жалость, что ли, — только любопытство: а вдруг начнут выяснять отношения, вдруг

раздерутся или расплачутся? Хорошо, еще не бранили. Когда выигрывали, другое читалось на лицах: восхищение. А может, так казалось, вернее, хотелось, чтобы так было.

Откуда-то появился Данилов и бросился Фоме на шею. Фома находился ближе всех к нему.

— Победа! Победа!

Фома осторожно высвобождался из объятий и ничего не понимал.

— Второе место! — кричал Данилов и норовил каждого потрепать за плечо. — Пруха! Считали, считали — и в нашу пользу! Победа!

— Второе — так второе, — сказал кто-то, но без радости.

— Арифметика,— сказал Фома,— плюс на минус...

— Чудаки! — шумел Данилов. — Победа же!

Все-таки удалось ему расшевелить ребят: повеселели, заулыбались.

— Иван Кириллович, взгляни еще разок, может, и на первое потянем?

— А что? Можем?

— Вот это да!

— Братцы, наша взяла!

Все вдруг расшумелись, уныния как не бывало, и болельщики повели себя иначе: как и положено, когда команда побеждает.

Подошел секретарь и попросил товарищей, чьи фамилии он зачитает, подготовиться для получения дипломов.

— За второе место? — не выдержал Крючков.

Секретарь скорчил гримасу: что за странные шуточки? Только тогда ребята поверили по-настоящему. Слушали нетерпеливо.

— А Фома? — спросил Гришка Петров.

— Какой Фома? Никакого Фомы нет, — раздраженно сказал секретарь и пересмотрел список команды, где птичками были отмечены фамилии награждаемых. — Есть Фомин, Б. И., но он не включен.

— Тебя что, Борисом зовут? — удивился Гришка.

— Борисом,— сказал Фома.— Борис Илларионович.

— Как же так? — протянул кто-то.— А почему нет?

— Существует положение: если игрок сыграл меньше пятидесяти процентов игр, он награждению не подлежит. Будто первый год играете.

— Я ж ничего, — сказал Фома. — Я ж не против.

Публику сгоняли с поля, и секретарь торопился.

— Такое уж дело, — развел руками Данилов.

— Я ж ничего, — сказал Фома.

VIII

Говорили какие-то приветственные слова, гремел туш наспех собранного оркестра: труба, кларнет, аккордеон и ударник. Ребята взволнованно наклонялись, принимая грамоты и коробки с подарками. Фома неистово хлопал.

— А почему ты здесь? — спросила Лена. Фома и не заметил, как она пробралась к нему.

— Так, — он пожал плечами. — Арифметика... — и пожалел о сказанном — будто жаловался.

— Что?

Назвали фамилию Крючкова, и Фома зааплодировал. Лена схватила его за рукав.

— Да перестань ты! — голос ее был необычно резок, и Фома решился взглянуть ей в глаза. — Ответь мне: почему ты такой?

— Какой? — спросил Фома и отвел глаза.

— Ты...

Стало тихо — лишь они двое в безмолвно бушующем зале — настолько тихо, что он слышал прерывистое дыхание той, в чьи глаза он боялся смотреть, чьи слова он боялся слушать; боялся и желал.

— Не надо, — попросил он.

— Ты или святой или...

— Или? — как эхо повторил он.

— Жалко мне тебя, — продохнула Лена, и ему показалось, что она хочет погладить его по голове, и он даже наклонил голову, чтобы ей удобно было это сделать.

В уши ворвался грохот зала; они стояли, тесно сжатые нетерпеливо-любопытной толпой.

— А ты не жалей меня, — резко сказал Фома, страдая, что приходится вот так разрушать возникшее между ними понимание. Но не может же он поперек себя идти. У нее эта жалость на миг. Как и те, давние слова. Думай потом над ними. — Не надо!

Она что-то сказала, но он не расслышал и, когда выбирался из толпы, думал, какие же слова она могла сказать, а на сердце оседала горечь, но испытывал он то же, что некогда в Мацесте: тяжесть, а потом легкость. Невесело ему было от этой легкости.

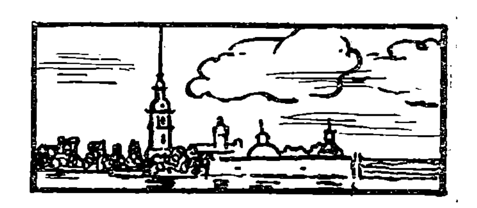
IX

Он открыл дверь в раздевалку.

— Ну и подарочки! Никакой фантазии: опять будильник!

— Тренировка-то когда? — спросил Фома и вытащил из шкафчика чемодан, чтобы переодеться. — Завтра?

Петр Киле



ПТИЦЫ ПОЮТ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Повесть

Пролог

— Пойду поохочусь, — сказал я по-русски.

— В школу не опоздаешь?

Я оглянулся: кто это сказал? Это прозвучало, как эхо, как голос моей мамы Ани... Нет, это все-таки сказала Дени, моя бабушка. Я сказал — нет. Ласточки летали низко над водой, высоко над землей. Ивы на том берегу зеленели, луга были обожжены. Я завернул к Андрею, он ожидал меня,

сидя на завалинке. Андрей держал на коленях малокалиберку и сонно глядел на меня.

— Ты что, спишь? — сказал я ему.

— Ну да, — отвечал он вяло.

С ним мы сверстники, но Андрей давно отстал, потом и вовсе ушел из школы. Был крупнее нас и дурнее, что ли? Он левша.

— Патроны есть? — спросил я. Он показал три пальца — я не поверил.

— Как мы поделим? — сказал я.

— Никак, — отвечал он самодовольно. — Ружье мое, патроны мои.

Все это правда, мне стало скучно. Я вынул из кармана брюк рогатку из красной резины и камешек.

Мы прошли огородами, перелезли через изгородь и углубились в лес. Куковала кукушка. И с каждым ее нанайским «кэ-ку» меня охватывало волнение и тоска. Вместе с тем увлекала радость: я поднимал ногу и думал, куда опустить: на сухую листву или на воду — куда радостнее? Клены зеленели цветами, березы сладко пахли. Повсюду из-под земли выбивалась трава. Солнце ласкало лицо, наполняя светом глаза. Над серыми лесами влажно голубели холмы Новой Руссы. Столбы телеграфной линии уходили так, словно люди, взявшись за руки, идут по лесам из города в город, из века в век. Если долго смотреть, можно увидеть Москву. Я прищурился: Москва, как цветы калейдоскопа, шурша, сияла, переливаясь огнями...

Москва!

«Кочка, лес, вода», — говорил я русские слова. Похоже, я думаю по-русски! «Кто это там идет? Андрей! Это он со мной идет... Куда? А, тут недалеко!»

Я оглядывал верхушки деревьев и краснеющие массы кустов. В лесу пыльно — где сухо, а так — всюду вешняя вода. О чем бы мне подумать еще? Я вспомнил плакат, я писал его осенью, он висит у нас в классе: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам» (Карл Маркс). Хотелось буквально карабкаться по каменистым тропам, но гор в Ороне нет. Вода в низинах между кустами темно светлела, как глаза раннего леса. Мне тоже хотелось лечь на землю и глядеть в небо. Зачем мне бегать по воде за подвижными, как пламя, бурундуками? И как глуп Андрей с его тремя патронами! Он думает, я обиделся: он мне дает два патрона, а первый выстрел за ним. Мне все равно. Мы сели поодаль друг от друга на старые пни. Я стал высвистывать в пустой патрон от карабина, имитируя зов самки. Свист далеко разносился по сквозному лесу. Что же это? Мне странно хорошо, как после долгой болезни. Но вот Андрей покосился в мою сторону со значительным видом. Так и есть: легко, не касаясь земли, скакал маленький желтый зверек. Мы подпустили его близко и с криком кинулись за ним, наступая на хвост ногами. Бурундук взмыл вверх по дубу, повернулся мордочкой вниз, словно спрашивал: что же случилось? Левша Андрей неловко целится, я выпускаю камень из рогатки. Пуля срезает дубовую ветку, мой камень достигает цели: бурундук, вытянувшись, перевернулся несколько раз в воздухе и... упал на землю.

В это время над лесом пронесся гудок парохода.

— Мне пора! — сказал я.

Андрей, ужасно недовольный, говорит:

— Разве это охота!

— У нас контрольная, — сказал я. Мне жаль его — не очень приятно оставаться одному в лесу.

— Три! — вдруг оживился Андрей. — У меня три коробки патронов! Слушай! Это сто пятьдесят штук!

— Пока! — сказал я и пошел. Андрей остался один среди пыльных листьев под черными стволами дубов. Я б не мог остаться один. Прибежал я в школу в мокрых ботинках, вздрагивая при мысли об Андрее: я предал его, он одинок... Родился человек левша, что за беда! Почему мы смеялись над ним?.. Или я думал об Ане и Боло? Бедный юноша, когда он остался один на свете, он выстрелом из ружья покончил с собой.

Ленка встречает меня вопросом:

— Что, пожар, Филипп?

— Нет никакого пожара, — говорю я с удивлением.

— А дым, Филипп?

Над лесами, на той стороне, где делянки, веял слабый дым.

Андрей мог направиться к делянкам... Пожары весной у нас часто случаются.

— Да, пожар, — сказал я тихо. — Куда все подевались?

— Пароход встречают!

Ленка глядела на меня внимательно. Я спросил:

— А ты?

— Я дежурная.

В школе тихо и так светло, как бывает только рано утром весной. Ленка взялась за портфель... Я спросил, на каком языке она думает: по-русски или по-нанайски? Она никак не могла сообразить... Я снял с

рубашки паутинку и вынул из-за пазухи мертвого бурундука.

— Ой! — увидала она бурундука.

Мягкий и теплый, он лежал с закрытыми глазами и словно отвечал на нежности Ленки. Мне казалось — это она меня ласкает, и мне хотелось приласкать ее. Она взглянула на меня и вынула из портфеля несколько новых открыток. Ленка раньше собирала конфетные бумажки, теперь открытки. Ее брат живет в Ленинграде, он и присылает ей открытки. В зимние вечера, когда от белой печки веет теплом, тихо говорит радио и внизу по автозимнику нет-нет да и проедет машина — ж-жж, светя фарами далеко по снегу и по окнам домов, я люблю рассматривать эти открытки, разумеется, если рядом Ленка. Она моет посуду, шьет или готовит уроки... Одни картины просты и давно знакомы, как «Золотая осень» Левитана. Уезжая на рыбалку или шатаясь по лесам в поисках винограда, я не один раз с удивлением останавливался перед этой уходящей в глубь леса водой, а вокруг на лугу березки в золотом наряде. И далекие белые облачка всегда оказывались на месте. Картины Шишкина тоже любимые. «Витязь на распутье» Васнецова — это мое чувство Древней Руси: я там жил, или я этот витязь, стройный, бесстрашный... И вдруг какой-то светлый мир — «Московский дворик» Поленова: белая колокольня, церковь с золотом куполов, белый дом и сараи... Во дворе стоит лошадь в упряжке, зеленая трава, дорога и тропинки... Девочка сидит одна, два мальчика что-то нашли в траве, еще мальчик... они такие крохи! Это Москва в 1878 году, а словно все у нас во дворе!

— Вот посмотри, Филипп! — сказала Ленка, взяла звонок и выбежала на улицу. Часто смысл картины,

наполняя меня ощущением тревоги или радости, ускользал от меня. Что это — «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» Коровина? Или «Демон» Врубеля? В руки мне попалась картина Милле «Собирательницы колосьев», и я, очарованный чистой живописью осеннего поля, трех неказистых женщин, подумал, что и я бы мог так хорошо написать лодку, Дени мою на корме и себя за веслами, лодка выезжает из узкого залива с ивами на широкий плес реки... Осень. На заднем плане стога! На воде узкие желтые листья ив... И все! Или... Я сунул руку под парту — мой портфель тут и ночевал, достал тетрадь и карандаш: убранное картофельное поле, засохшие стебли, картошка с фиолетовым боком, ветка спелой волчьей ягоды — и все! Или... Я побежал по классу: какая идея! Чуть наискосок через весь холст давняя, но не забытая могила с деревянным крестом, с фотографией умершей молодой женщины. Пасмурно. Вокруг лес, но лес не показан, кроме нескольких веток клена с осенними, излучающими свет, листьями. Лицо молодой женщины ясно, оно глядит как бы издалека, оно наполняет светом всю картину, и этот свет создает такое ощущение, словно на картине изображена молодая женщина во весь рост, полная грусти и обаяния, как в картине Нестерова «Портрет дочери». Только это будет могила моей мамы Ани...

С тремя короткими гудками пароход отчалил, и зазвенел звонок Ленки. Она бежала на берег и все звонила, а потом, когда навстречу ей побежали ребятишки, она побежала назад, продолжая звонить, и теперь ее звонок звенел все ближе и громче, дверь она распахнула настежь, в пустой школе звонок зазвенел отчаянно.

Ленка с оживлением сказала:

— Филипп! Уроков не будет, наверно. Андрей говорит: огонь уже у болот.

Вот здорово! Мы поглядывали в окна — дым над лесом был еще слаб, был слабее, чем нам хотелось бы. Но пришел Кола Николаевич и отменил занятия: все на борьбу с огнем! Мы закричали «ура!» и повыскакивали на крыльцо. Я, как всегда, участвуя в общественном мероприятии, чувствовал себя необыкновенно хорошим и был весел. Я взял мешок, свернул один угол в другой и накинул мешок на голову, как мы бегаем в дождь. Так я шел рядом с Ленкой, она тоже накинула мешок на голову, как я и все, у кого были мешки. А те, у кого были ведра, надели ведра на голову, придерживая снизу руками, и ветки звонко бились о жесть. Потом кто-то из них, как рыцарь немецкий, упал в яму с водой. Я спросил: кто? Ленка отвечала: Гошка, твой друг! И мы вместе засмеялись над моим другом, и я помчался вперед, увертываясь от расставленных рук кустов и деревьев. Пахну́ло теплом и дымом. Между орешниками и мелкими кустами невидимо на солнце мгновенно сгорали листья и трава прошлого года. Солнце так пекло, что казалось — это его лучи обугливают землю. Огонь скакал невидимкой, оставляя черный след из пепла. «Огонь!» — закричал я, оглядываясь. Ребята забегали, как солдаты на поле боя. Я скинул мешок, втоптал его в лужу и кинулся прихлопывать огонь-невидимку. Дым и черная пыль пепла вились в горячем воздухе. Огонь кружил вокруг берез, легко перебрасывался с места на место или мчался в сторону, как бурундук. Я махал мокрым мешком, как помешанный. Но видел отчетливо все вокруг. Суетливо носились ребята. Голубели холмы Новой Руссы. Ленка тушила огонь деловито, приседая на коленки. В иных местах пламя

полыхало страшно, обжигая лицо издали. Я бежал в сторону, где темнела вода в низине, падал спиной в воду, вскакивал, весь мокрый, и кидался прямо в пламя. Я знал, кем я хочу быть. Я хочу всю жизнь тушить пожары по ранним лесам, тут я могу умереть, а мне будет весело!

Мы вышли к болотам и столпились на одном месте. Кола Николаевич, разгоряченный, весь в саже, сказал, что мы успешно справились с нашей задачей. И мы стали смеяться, какие мы чумазые. Одна Ленка стояла между нами, как всегда, чистая, с пристальным взглядом. Она успела умыться в чистой воде болот. Она не смеялась; лицо ее осунулось и было мягко, словно ей немного стыдно и хорошо. Со мной было то же самое.

— Лена, — сказал я, — идем прямо.

— Идем, — сказала она.

Влажный мешок, аккуратно сложенный, она отдала Наташке. А я свой выкинул — он уже ни на что не годился. Мы вышли к просеке телеграфной линии. Лена шла впереди. Видеть ее и думать о ней мне было все равно что идти по этому раннему лесу, было все равно что читать книгу — радость и нетерпение пронизывали меня всего, — это то, что я позже назвал светом желания. А что это? Нет ответа. Порой сидишь в классе, урок как урок, и учительница может быть не та, которую мы любим, но то ли весна, то ли осень, или песня неслышно прозвучала с неба, прозвенит звонок, и всем жаль чего-то: так хорошо было, хорошо, и всё.

Телеграфная линия уходила прямо-прямо и без конца по всей России, столбы стояли горячие от солнца, провода звенели бесконечным перезвоном, и мне хотелось идти и идти, и чтобы Ленка шла впереди, и

голубели холмы Новой Руссы, и ранний лес на глазах зазеленел и расцвел, и птицы пели причудливыми голосами и звенела бы в липах и пчелах Земля... Мне хотелось идти и идти вечно.

1

У главного здания Университета, возле стеклянного киоска с многоцветьем журналов и газет на всех языках мира, на гранитных ступенях к Неве и вдоль парапетов — всюду стояла и сидела молодежь... Кто читал книжку, кто размахивал сумочкой, кто курил, а кто грыз ногти, — в общем, все как будто скучали и не знали, что делать. Серого петербургского неба не было и в помине. День сиял, как после дождя. Адмиралтейство, Исаакий, Медный всадник, Зимний дворец — все как есть. Я тихонько вздохнул. Надо же! Я здесь.

В приемной комиссии было малолюдно и тихо. Свершалось какое-то таинство.

Пока я заполнял бланки, составлял автобиографию, сдавал документы, во мне постоянно вспыхивали ощущения детства. И все те, кто стоял у киоска, кто сидел на граните Невы, кто ходил с таким важным видом — все те, кто приехал с Волги, с Оби, с Енисея, с Днепра, — у каждого за спиной еще пело, плакало, смеялось детство, заглушая шум города, застилая глаза воспоминаниями. Юность звала, несла нас вперед, а детство, как младший братишка увязывается за старшим, не отпускало нас, и мы невольно оглядывались назад... Легкость, с какой приняли у меня документы, обрадовала, словно меня уже приняли в Университет. Я отправился через пост в общежитие, получил постельные принадлежности — дело

знакомое: я три года жил в интернате в Новой Руссе. Потом я сбежал с пятого этажа и пошел искать на какой-то линии Васильевского острова флюорографическую станцию. Нашел. Мама моя Аня умерла от туберкулеза легких, и я инстинктивно боялся рентгеновского аппарата. В кабинете было полутемно и прохладно, и снова теплый солнечный свет, — может, все пока обойдется. В парикмахерской я увидел себя в зеркале — странная личность смотрела на меня. Я с недоверием узнавал в ней себя. Женщина-парикмахер защелкала ножницами, почти не касаясь волос. Я, привыкший к неловким движениям деда, словно окунулся в теплый сон. Я закрыл глаза, воли у меня своей уже не было, было приятно.

— Открой глаза, — услышал я полушепот. — Хорошо?

— Спасибо!

После стрижки я особенно некрасив. Я пришел в общежитие, разузнал, где баня, и снова сбежал с пятого этажа вниз. Я семь суток ехал в поезде, где умыться толком нельзя было. В ларьке я купил мыло, зубную щетку и зубную пасту. Первый раз в жизни. До сих пор я жил на всем готовом. Я сначала помылся, потом долго сидел в парной, потом снова помылся и вышел на улицу легким и стройным. В булочной я купил батон и двести граммов шоколадных конфет, чем и поужинал, сидя у окна на пятом этаже. Шпиль Петропавловской крепости с ангелом, опустившим голову и крылья над городом, сиял близко. Я улегся спать, хотя было светло, как днем. И только я коснулся подушки, то ли во сне, то ли наяву снова застучали колеса, шпалы и щебенка казались горячими, как плита, а пыль проселочных дорог, мелкий лес, стены срубов бесконечных сел — все сияло теплом.

Люди щурились, глядя на наш поезд, уносящийся мимо их окон, мимо полей, мимо их жизни... А я еду и еду — куда? И эти военные городки, солдаты в тяжелых сапогах на перекладине, солдаты в тяжелых машинах, солдаты-часовые, и эти лагеря пионерские — сколько их, сколько — в каждом сосновом бору, — глядеть на эти сосны уже счастье... И эти села без конца, женщины в платках у сельмагов, и реки с песчаными берегами, с грохотом мостов и лентами плотов вдали, — что же это такое, я думаю, почему это все меня радует и влечет?

В ночь с грозовыми тучами на горизонте, с огнями городов и теплым близким светом окон в селах, когда мельком увидишь и стол посредине, и кровать у стены, и темный комод, и старушку, что подняла внучку на руки показать огни нашего летящего легким пунктиром поезда, — хорошо и тревожно... За окном, кажется, одно и то же, одно и то же, а не могу отвести глаз... Скалы и горы, внизу холмы с редкими знаками елей, — на какой высоте мы едем?

Я не сплю, не ем, только смотрю рассеянно-сосредоточенно в окно вагона, чувствуя себя, как после прививки оспы. «Слушай, парень, — говорит шахтер с Сахалина, один из тех сильных, спокойных мужчин, к которым я невольно испытываю сыновнее чувство. — Может быть, у тебя денег нет, а?» Я улыбаюсь — есть. А женщина, молодая и красивая, говорит: «Он еще не научился говорить по-русски» — и улыбается, смеясь.

Особенно хорошо рано утром... Слышишь голоса птиц сквозь стальной перестук колес! Трава в лесу, роса... Свет сияет на паутине... Перелески, болота и луга... И всюду тропинки, тропинки, тропинки... Теленок... Дети в траве, машут ручонками... Увидишь хо-

рошенькое личико, мир и счастье в ее глазах — и шевельнется сладкая зависть в тебе: она тебя не знает, вся ее жизнь пройдет без тебя! Я считаю километры, считаю вагоны встречных поездов, шум и грохот... Вечереет... Пыльная дорога в сторону, мчится мотоциклист беззвучно-тревожно... Куда ты?

Где-то у Омска поезд вдруг остановился в лесу. Мы все удивленно переглянулись. Так тихо... Вот кто-то пробежал по земле, там выбежали на луг за цветами... Я тоже выскочил. Весь поезд высыпал на луг. Заливается в небе жаворонок... Никогда еще так не радовали меня тишина, зелень луга и голубое небо. «Крушение»,— кто-то сказал. «Неужели крушение?» — подумал я. Мне стало не по себе и дико было представить раздавленные человеческие тела. Меня чуть не стошнило. Может быть, меня просто укачало в поезде.

Рельсы и столбы электрической линии уходили прямо до горизонта, небо было чисто, всем необыкновенно весело...

Я проснулся от щебета птиц под окном... Солнце заливало светом комнату. Семь часов! В комнате нас четверо: два узбека, Олег Миролюбов и я. Два узбека приехали давно, они поступают на экономический факультет. Мы с Аликом вселились вчера, мы поступаем на философский факультет. Один из узбеков боксер, он даже стакан со стола хватает так, как будто стакан падает. Другой узбек мне запомнился тем, что каждый день мыл голову простоквашей. Зачем он это делал?

Я тихонько встал и пошел умываться. Удобства городской жизни меня радовали — смешно так, а вчера вечером в полутьме коридора мне пришло в голову, что в Ленинграде, в общежитии, где столько народу

и столько света, можно совершенно не бояться амба. Мысль странная и смешная, но она мне доставила радость — сознание свободы. Я оделся, тщательно почистил ботинки и вышел на улицу, прямо к Неве. Воробьи отчаянно чирикали. Трогая пальцами гранит парапета, я прошел до деревянного моста и дальше — к деревьям возле Петропавловской крепости. Напротив я видел Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами, а по ту сторону Невы — приземистый Зимний дворец. Я шел вдоль берега, здесь не было гранита, и было похоже, что я рано утром вышел у нас к реке... Сияние воды, камешки, кирпичные куски и стеклышки — все мне напомнило то, что я без особого сожаления оставил, может быть, навсегда. А теперь, не знаю почему, захотелось быть там, точно я оставил там рай земной. Казалось, прошли века, как я стоял у окна и смотрел на наш берег...

Берег поблескивал горячими стеклышками, перламутром раскрытых двустворчатых раковин и легкими крыльями стрекоз. Вместо утреннего скрипа уключин за ивами, под звуки которого я просыпался ребенком, теперь мирно стрекотал мотор рыбацкой лодки... Я стоял у окна и думал: вот я еще не уехал, а дом уже опустел, он словно уменьшился и загрустил, совсем, как Дени, моя бабушка. И дед как-то сразу постарел, я видел рано утром, как он рассеянно шел на берег, маленький, в больших резиновых сапогах. Он столкнул оморочку, и она, покачиваясь, чуть не уплыла из-под его рук, пока Дени что-то говорила ему, тоже маленькая, в нанайском халате. Мапа махнул рукой и сел в оморочку. Он уехал снимать ночные сети. Оморочку быстро относило течением, дед привычно легко махал веслом. Узкие лопасти весла то справа, то слева вспыхивали на солнце, как мет-

нувшаяся вверх рыба. Дени зачерпнула воды с мостика, выпрямилась и поглядела вниз по реке, потом пошла наверх с ведром воды в одной руке, с хворостом — в другой. Было тихо и особенно светло, как бывает рано утром. Только под ивами на том берегу вода темнела, а в рощах ив, думалось мне, притаились все мои детские страхи и стыд первых желаний. Я уезжал, и мне было радостно сознавать, что они вместе с ивами останутся здесь навсегда.

По тропинке к реке шла Евгения Борисовна, русская женщина, в маленьком светлом халатике, в босоножках с золотыми ремешками. Она учительница по литературе и по русскому языку. Правда, я у нее не учился. Она приехала в Орон в прошлом году, а я учился в Новой Руссе последний год. Евгения Борисовна жила в нашем доме, на той половине, где жила моя мама, а потом — Тима, мой дядя. В Ороне дом моего деда лучший: резные ставни, карниз с орнаментом, пять окон к реке, два — на восток, где над лесами близко холмы Новой Руссы, один островерхий, второй пологий и ниже. Новая Русса стоит на Амуре, Орон — на притоке Амура. У нас на Амуре воздух такой синий, чуть отъедешь — леса, что близко зеленели, уже синеют, как горы. И холмы Новой Руссы синели, как горы, а после дождя, как небо прояснится, они синели так близко и густо, — казалось, протяни руку и дотронешься до них. Дед поставил дом еще в тридцатые годы — в эпоху коренных перемен в жизни нанай, и мне не понять такие слова, как стойбище или даже мазанка. Одна мазанка есть в Ороне. В ней живет одноногий Кэндэри, шаман. Беднее его никто не живет, и мне не верится, что шаманы обладали могуществом и были первые богачи в селениях. Еще

недавно — я помню — шаман вовсю шаманил, но старушки сходят в могилу, и делать шаману нечего, кроме как сниматься в кино на память потомкам. Нам он смешон. Но все-таки есть тайная власть у него над нашими душами. Может быть, это всего лишь тайна старины, детские страхи, да и мазанка даже как музейный экспонат внушает невольную тревогу. Неужели в этом тесном и темном жилище с земляным полом, с нарами от стенки до стенки, с дымоходом над нарами, не видя света зимой, а летом всегда под палящим солнцем, неужели мы так жили в начале века и тысячу лет?

И ничего не осталось от той жизни, кроме сусу — места покинутого селения, жители которого вымерли от оспы, — такое пустое пространство у леса вдоль речки. Галька и песок, выше сухая земля, едва поросшая бурьяном, — здесь люди жили. Ни крепостных стен, ни церквей, ни колючей проволоки — ничего! В песке разве найдешь бусы — бледно-голубые, с белыми крапинками. Откуда они? Я всегда проходил там с тайным волнением. А если приходилось ехать у этих мест ночью, оморочку я направлял на середину реки и боялся повернуть голову в сторону сусу — светлого провала в темном лесу.

Бусы мы находили и гоняясь за бурундуками, в дуплах старых дубов. Эти бусы особенно пугали нас. Их нельзя брать домой, — можно в дом ввести амба. Это бусы Пудин. Жила некогда девушка. Была она лучше всех. Поэтому ее звали Пудин. А мужчину, который был удачлив во всем: в фехтовании, в рыбной ловле, в любви, — звали Мэргэн. Он добр. Он воин. Он появляется словно с неба, и Пудин сразу узнает его: он лучше всех! Но злые силы разлучают их, и Мэргэн уходит на войну... Пройдет сто лет, люди рож-

даются и умирают, среди новых поколений юная Пудин вечно ждет своего избранника. Ее удел — верность. Но если... она бездумно приняла чужого мужчину — горе ей. У нее родится токса, ребенок без отца... Он заморыш или обречен быть заморышем. Обиженное судьбою существо обижают и люди. И Пудин в слезах решается умертвить его — ему так будет лучше. Душа ребенка — птица — снова улетит в небо и будет сидеть на ветке небесного дерева и петь. Пудин прячет плачущее тельце своего дитяти в дупле старого дуба и оставляет ему свои бусы. А раз согрешив, она грешит вовсю, и ей только весело. Но скоро она умирает, и тень ее блуждает по свету, — похоже, она ищет свое дитя. Но, утратив доброе чувство матери, она может творить лишь зло: теперь она Пудин-амба. Стала несравненно красивее, но стоит ей взглянуть на ребенка в колыбели — ребенок тает на глазах испуганных родителей... Взгляните на нее! Глаза сияют нестерпимой красотой, а на губах алая струйка крови...

Я вздохнул с облегчением. И хотя я давно не верил во все такие вещи, я уезжал с тайной мыслью, что наконец-то я буду совершенно свободен от всего, что так пугало меня в детстве.

Евгения Борисовна искупалась и, выйдя из воды, надела черные очки от солнца, и глаз на лице ее не было, только губы ее словно манили, дразнили кого-то, и она это знала. Потом она прошла в дом. Река казалась подернутой паутиной. И берег выглядел так, как будто меня тут давно не было или я еще не родился. Только столбы радиолинии с ласточками на проводах и голос Москвы над моей головой, и моя русская речь говорили мне о том, что мир вокруг давно изменился и та жизнь, что притаилась

в облике моей Дени, прошла, а мама моя Аня, моя первая учительница, всегда мне казалась русской, так хорошо у нее звучала русская речь. Но она рано умерла.

Я слышал, как Евгения Борисовна прошла по коридору, — я замер в ожидании ее стука. Она постучалась и вошла. Она принесла свой меньший чемодан и бросила на кровать, и остановилась, глядя на чемодан.

— Евгения Борисовна, а это не женский чемодан? — спрашиваю я.

— Почему, Филипп?

— Очень похож на вас.

Она улыбается моим словам. Я давно заметил: она любит делать подарки.

— Филипп, а у тебя есть кошелек?

Она протягивает мне кошелек, добротный, очень женский, как все ее вещи. Я беру в руки ее кошелек, где-нибудь в Москве я выну его из кармана и прижму к щеке. Дени усаживает Евгению Борисовну обедать с нами. Приехала она в прошлом году в конце августа, перед моим отъездом в Новую Руссу. Я нес ее чемоданы, она расспрашивала:

— Баня у вас есть?

— Есть. Редко работает.

— Вы хорошо говорите по-русски. В магазине есть продукты?

— Есть. Впрочем, я не знаю.

Она прямо взглянула на меня и засмеялась. Дени стояла у летней кухни и мягко смотрела на русскую учительницу. Евгении Борисовне у нас понравилось. Она сразу подружилась с Дени, в доме слышался ее смех, потом она вышла на свое крыльцо. Я протянул ей несколько гроздьев винограда.

— Что! — сказала она. — Виноград растет в лесу, и сколько хочешь? Ехала я на Крайний Север, а попала на юг, да, Филипп?

Она спросила, как я учусь. Я сказал: «Ничего». Кем я хочу быть? «Не знаю». Как? «Я просто не думал об этом. Успеется». Она внимательно посмотрела на меня: она решила выбрать мне будущее. Приезжал в Орон я обычно по праздникам. Седьмого ноября пришел в сумерки, дома никого не было. Я колол дрова, когда Евгения Борисовна подошла ко мне.

— Филипп приехал! — сказала она. — Дени у соседки, я сейчас позову ее.

— Здравствуйте, Евгения Борисовна! Дени и сама придет.

— Ну да, придет. Но ты мало думаешь о ней. Почему тебя нет два месяца и ни одного письма?

Я сказал, что интернат не частная квартира, меня и то едва отпустили нынче. А письма мы не пишем — о чем писать?

Уже совсем стемнело, и мы вошли в дом к ней. Она включила свет и принялась меня кормить. Уже усвоила нанайский обычай: гостя прежде всего нужно накормить, когда бы он ни пришел, хоть среди ночи.

— Филипп, а ты помнил, что я живу у вас? Я потому спрашиваю, что сама помнила и думала... Мы каждый день говорим о тебе, и все о тебе я знаю.

— А у вас как дела, Евгения Борисовна?

— Хорошо! — сказала она весело. Ненамного она была старше меня, вот только очень красивая и учительница.

— Что будем делать? — сказала она. — Мы каждый вечер с Дени играем в карты.

Я удивился: моя Дени играет в карты.

Она достала сигаретку и закурила.

— Филипп, а ты куришь?

Я посмотрел на нее и не отвечал. Она сказала:

— Ну, кури.

Только я закурил, вошла Дени. Я спрятал сигаретку и встал. Я ничего не говорил Дени, только смотрел на нее, опуская голову, она целовала меня в одну щеку, в другую, она смеялась и плакала. Дени радовалась мне и плакала об Ане и Боло.

— Хорошо ли живешь, дитя?

— Хорошо, Дени.

— Учителя тобой довольны?

— Да, Дени.

Евгения Борисовна смотрела на нас с хорошей улыбкой. Она усадила Дени пить чай.

— Филипп, мне сказали, ты идешь на золотую медаль?

Я вздохнул: я могу и серебряной не получить.

— Москва или Ленинград? — спрашивала Евгения Борисовна.

Она училась в Москве.

— Ленинград, — говорил я.

— Технический вуз или гуманитарный?

— Университет, — говорил я.

— На какой факультет?

Нет ответа.

— На физический?

— Можно, но...

— На филологический?

— Хорошо, но...

Физика, химия, математика — все легко и интересно, и век такой, но... С другой стороны, терпеть не могу учебников по литературе... Есть детская мечта, но я и не заикнулся о ней перед Евгенией Борисовной. Она спрашивала, что я читаю. Я сказал ей.

— Филипп! Ты застрял в девятнадцатом веке!

Всего лучше мы провели зимние каникулы. Я приехал на попутной машине. В углу в нашей половине стояла елка.

— Это все Женя, — говорила Дени.

Елка сияла в полутьме. В провалах темнеющих окон появились звезды. Снег скрипел под быстрыми шагами человека, и ему вслед пролаяла собака... Теперь я знал, что такое елка. Это спускающиеся лапы елей в снегу на фоне сияющих звезд. Это зимняя картина, где все — ожидание зелени и тепла лета. Это мечта. Я видел ели в снегу и звезды. Это была Россия. Вечерняя Москва сияла там, как елка. Ощущение холода означало: все-таки как далеко Москва. Но Москва была. Была и близко, как моя речь, как мое дыхание.

Она была в клубе. Я пришел туда и сел листать журналы. Она возилась с малышами, а те, кто постарше, особенно девочки, просили ее танцевать.

— Вы сегодня такая красивая, Евгения Борисовна!

— Покажитесь! Покажитесь!

— Мы не видели, как вы танцевали!

Я вышел из библиотеки, и она улыбнулась. Все притихли. Мы так хорошо танцевали, я думаю, она забывала хоть на миг, что она учительница и ее ученики наблюдают за нею. У девчонок неудобные талии и руки, мне с ними неловко. Евгения Борисовна затаенно глядела мне в глаза, слегка отклоняя голову, была отдельно от меня и вместе с тем со мной в каждом движении, в музыке, я чувствовал ее тело, было хорошо, как редко бывает хорошо.

Темно-синее небо сияло звездами: Большая Медведица, Орион. Она догнала меня по гребню сугроба,

я увидел ее лунную тень и уступил дорогу. Поравнявшись со мной, она взяла меня за руку и близко посмотрела в мои глаза. Мне показалось, она хочет поцеловать меня. Невероятно, конечно, но в мою голову чаще приходят самые невероятные вещи. Туфли она несла в сумке, но и валенки на ее ногах казались такой же праздничной обувью, как и туфли.

— Как хорошо дома! — сказала она и встала у двери. Я смахнул веником снег с ее белых валенок. Дени собирала на стол, а в углу сияла елка.

Она сидела у нас, мы ели пельмени, выпили вина местного производства — из амурской голубики, а называется оно «Волжское». Дени с теплой улыбкой глядела на нас. Евгения Борисовна пела студенческие песенки, даже что-то выплясывала, Дени смотрела на нее и оживленно улыбалась, и до меня дошло, что не в первый раз все это делается, Дени знала все ее песенки. Часто, часто у Евгении Борисовны были горькие минуты, ее жгло какое-то разочарование, она впадала в отчаяние и плакала. Дени втихомолку собирала праздничный стол и звала ее, и всегда им становилось легче, и она распевала свои песенки, рассказывала смешное о школьниках, и Дени радовалась, что она опять весела.

Рано утром, еще при звездах, Дени будила меня, я ел горячую картошку с кетой, одевался в телогрейку и отправлялся в лес с нартой, такой легкой, пока она пустая. В деревне гасли огоньки, в небе гасли звезды, от снега светло, но скоро и вовсе рассветало. Так что все веселее становилось мне. Дорога, обходя кусты и равнины болот вдоль перелеска, уходила куда-то в неизвестность. Редкие сосны высились над делянками. Где-то стучал-стучал дятел. Как в детстве, казалось: я один на Земле в каменном веке. Я гру-

зил три бревна и крепко привязывал их к нарте. Отдышавшись, я надевал лямку и торопился из каменного века домой. Свежий снег распушил лес, и провода телеграфной линии покрылись снегом, а деревья-исполины около питомника черно-бурых лисиц чернели, словно стояли в ночи. Над ними кружили вороны, глухо и тяжело перелетая с места на место. Запыхавшись, весь горячий, я влетаю в наш двор, и Евгения Борисовна хлопочет вокруг меня, пытаясь помочь.

Мы пилим дрова и все говорим, говорим до головокружения, на какой же факультет мне поступать. Мои устремления Евгения Борисовна называет то социологией, то эстетикой. А по вечерам она мне читает современных советских поэтов, но любимый ее поэт Александр Блок. И я свои устремления называю Поэзией...

Я звал ее кататься на лыжах.

— Филипп, у меня нет лыж!

— Найдем лыжи!

— Но я едва хожу на лыжах...

Лыжня увела нас далеко в лес в сторону делянки. Снег слежался, и можно было идти целиной между деревьев, над ушедшими под снег кочками, и лыжи не проваливались. Молодые дубки шуршали желтыми листьями, и лес чернел, и синели близко холмы Новой Руссы. Звук далеко проникал, и казалось — деревня совсем рядом и люди видят, как мы, оглядываясь друг на друга, скользим на лыжах и скользим, точно мы и не умеем без лыж ходить.

Она раскраснелась и победоносно глядела на меня.

— Устали?

— Нет еще!

Я снял лыжи и взобрался на дикую яблоню. Ярко-красные, созревшие и замерзшие ягодки висели редко на ветках. Дети ели и не доели. Птицы ели и не доели. Я срывал ветки и спускал вниз на снег. Она глотала оттаивающие во рту мягко-кислые ягодки и глядела вверх на меня, она смеялась:

— Как лиса на виноград!

Я спрыгнул вниз и провалился в снег.

— И тебя сейчас съем! — сказала она, подъезжая ко мне близко. — Но только что́ я скажу твоей бабушке?

Я поднялся, надел лыжи и тихо поехал назад. Возвращались мы молча и медленно и очень замерзли.

Зимний вечер. Она, домашняя, светлая, милая, варит себе ужин, я читаю ей вслух.

— Филипп, — сказала она, — а ты пишешь стихи? Покажи, а?

Я молчал. Мне всегда было странно: все пишут стихи, Ленка писала стихи, я один не писал, об этом никто не знал. Все думали: мне стихи писать так же легко, как все на свете.

— Нет, — сказал я со вздохом, — стихи я не умею писать.

Она удивилась:

— А ты пробовал, Филипп? Кому же писать стихи, как не тебе!

2

Часы на башне Петропавловской крепости пробили десять. Давно пора отправляться на медкомиссию. Я вбежал на пятый этаж, Алик все спал, накрывшись от света одеялом. Я разбудил его.

— Здравствуй! — сказал он и, продолжая лежать, протянул руку. — Я сейчас.

Он достал новенькую электробритву из кожаного чехольчика с зеркалом и зажужжал, разглядывая себя в зеркале. Он одевался медленно. Черноволосый, с правильными чертами лица, он был красив, как всякий современный молодой человек. Держался он выразительно. Одет он был великолепно: белая, как лед, нейлоновая рубашка, мягкий темный костюм, вспыхивающий блестками, как ночное небо звездами, галстук, ботинки заграничные. Мы спустились в буфет и выпили по бутылке кефиру. Алик поступает второй год и все знает — что и как. Если в этом году ему не повезет, его возьмут в армию. И меня тоже. Сначала мы зашли на флюорографическую станцию за ответом. Я взял свою бумажку, как-то странно было написано: «Видимых изменений нет». У Алика то же самое. Я успокоился — пока видимых изменений нет. На троллейбусе мы живо подъехали к главному зданию, где в гимнастическом зале вела прием медкомиссия. Один вид зала для меня радость. Нас, молодых парней, там было много и много врачей за отдельными столиками — все молодые женщины и все они снисходительно-оживленные. В одних трусах, складывая руки на груди и поеживаясь, мы стояли то у одного столика, то у другого. Нас осматривали, выстукивали, щупали. Если с легкими у меня все в порядке, значит, все в порядке. И мне смешно было подвергаться всяческим испытаниям-процедурам: слух, зрение у меня были отличные до удивления. И я, развеселившись, прыгнул на брусья, взмахом вперед поднялся на руки, сделал угол и легко выжал стойку, но мысль, что это могут принять за хвастовство, меня обескуражила, и я лениво сошел с брусьев. Но ребята смотрели с одобрением и тут же спросили: «Может быть, у тебя есть разряд?» Я сказал:

«Второй». Алик сказал: «Считай, что ты принят в Университет». Я не поверил. Алик свел меня на кафедру физического воспитания, меня там записали и обещали следить, как я буду сдавать экзамены. Алик сказал: «Вот видишь, дело в шляпе!» И хлопнул меня по плечу. Я промолчал: не люблю фамильярности.

Теперь только ждать экзаменов.

Алик по утрам долго спал, потом старался заниматься и уходил в город один — у него там были друзья. Два узбека усиленно готовились. Они даже в библиотеку записались. Я жил как во сне. Готовиться — у меня и книг нет. А потом мы столько лет проходили в школе одно и то же, что не знать школьную программу было невозможно. Я бездельничал и скучал. Сходил в Эрмитаж — ничего, кроме головной боли, я не вынес оттуда. В Русском музее мне было уже легче. Приятно узнавать знакомые по репродукциям картины. Я больше всего стоял перед картинами Айвазовского. А вообще я еще весь жил на Амуре, в детстве...

У нас в комнате вечно сидела странная девушка Зоя Вишнякова. Она поступала на филологический, правда, как она сама заявила, без малейшей надежды выдержать конкурс (семь человек на место). Я спрашиваю, зачем же было ехать, если не было надежды. Она смеялась: побывать в Ленинграде — разве эта игра не стоит свеч?

— Ну, если так...

И она снова подсаживалась к Алику. Они вели светский разговор на современном уровне. Когда она уходила, Алик щелкал пальцами, что у него означало вполне понятную вещь. И мне становилось странно: неужели она такая? Зоя курила, вообще вела себя свободно и очень эффектно, и кое-кто в школе считал

ее даже символом современной молодежи. Эти брючки, сигаретка, светлые глаза с просинью ресниц, походка с легким покачиванием и изломом — это еще бог знает что значит. Быть разочарованной — в чем? Ненавидеть, презирать — кого? Зоя знала бесконечное количество стихов наизусть, любила живопись — при всем том еле-еле школу кончила: «все так надоело».

Пока она молчит, я люблю на нее смотреть, даже как она курит. Все ее движения сильны и точны, лицо ее юное, по-мальчишески красиво, она великолепна! Если бы не раскрывала рта!

Сфера ее интересов — то, что модно. Имена, имена, имена — одни имена! Зато — «классики не в моде». Я спросил у нее: знает ли она, кого читают больше всего в мире? Она не знала. Я говорю — Толстого. Она не поверила. И Алик не поверил. С Аликом они уже в столовую ходят вместе. И был такой день, шел дождь, узбеки куда-то ушли, Алик и Зоя притихли у окна, и, похоже, я был лишний, и я смотался. И какое мне дело, говорил я себе, как Печорин, до жизни «честных контрабандистов»?

Но странно мне было думать о Зое, словно о том, было крушение впереди нас или не было.

Так давно...

Мапа (это дед мой, а вообще — старик) возвращался с охоты. Аня и Боло встречали его далеко от села. Собаки взвизгивали от радости и тащили нарту из последних сил. Мапа, бесконечно усталый, был добр и счастлив. Зимняя охота длится три месяца, потом еще три месяца. Летняя кухня — вся в инее — едва вмещала кабанью тушу. Боло считал беличьи шкурки,

трогал медвежью голову и просил деда взять его на охоту. Аня смеялась:

— Куда тебе, Боло! Тебе бы с уроками справляться... Вот исключат тебя из школы, будешь знать!

А дед говорил:

— Боло, я хочу из тебя человека сделать, а ты...

— Все равно исключат, — говорил Боло. У него был решительный, несколько сумрачный вид. Аня глядела на него и, как всегда, смеялась.

Его звали Володя, по-нанайски Болодя, а если короче, Боло, то есть осень. Отец Боло погиб в войну, и Боло жил у деда, то есть бок о бок с Аней. Обедать — они сидели друг против друга, а еду подавала Дени — всегда было весело, особенно по вечерам, когда на улице темно, горят дрова в печи и говорит, говорит Москва. За перегородкой свет. Рано утром Дени затопила печь. У подножия Сихотэ-Алиня Мапа развел огонь в железной печурке. В школе тоже топятся печи. В доме становится тепло. Серебряные узоры на окнах начинают таять... Аня пыталась поднять Боло, он спал на медвежьей шкуре на полу, он только мотал головой. Но это если Дени дома... Если Дени выходила доить корову, Боло мгновенно просыпался и хватал Аню за плечи, Аня билась у него в руках, задыхаясь от смеха, колотила его кулачком по спине и по голове. На рассвете прямо по сугробам они отправлялись в школу, где Боло застенчиво опускал голову — в школе он был самый большой. Нет, ему и пятого класса не удалось одолеть, он просто опоздал родиться. Если из букв составить слово заяц, ему явно этого мало. Ему подайте зайца. Белый лист бумаги заинтересовал бы его, если на нем оставил следы волк. Зимний вечер, на улице стужа, Аня делала уроки, а Боло колол дрова, давал корове сено... Дени

любила Боло больше, чем Аню. Как лето, они ездили в Даи-Хэвэн за голубикой. Выедут рано утром, а приедут на место только под вечер. Дени варила ужин, Боло собирал дрова и складывал их в кучу у палатки, освещенной вечерним солнцем. Вот солнце ушло за лиловую тучу, ярко освещая ее нижний край. Залив затих и затаенно блестел. В воде ночь уже наступила, купаться Ане тепло-тепло, но страшно. Несметные звуки наполняли воздух. Всего громче — кваканье лягушек. Рано утром они шли гуськом в сторону болота по мокрому лугу — Дени, Аня и Боло. На заливе рассеивался туман, словно вода открывала глаза... Неизвестно кто, неизвестно когда протоптал здесь множество тропинок с редким мусором из веток и листьев в мягкой пыли. Обилие ягод радовало, но было невыносимо горячо, — спасала вода между кустами... Они ходили по колено в воде, проваливаясь в мягкий мох, вода звенела — такая чистая вода! Боло необыкновенно быстро собирал голубику, наполняя все курми — особой формы корзинки из бересты с узорами, с причудливым орнаментом. Дени возносила Боло до небес, а Аня больше берегла лицо от солнца и мошкары. Но от нее ничего и не требовали. Она училась в школе лучше всех — престиж ее был непоколебим. Вечером Дени варила ужин, а Аня и Боло купались. Они выходили из воды, продрогшие, и Дени говорила: «Идите в палатку, там тепло!» Палатка хранила тепло дня и была полна розовым светом вечернего солнца. Было чудесно. Боло говорил, что любит ее, Аня утверждала то же самое. И он просил ее:

— Почему ты не хочешь?

— Мы еще маленькие, — отвечала Аня.

— Я выше Мапа, ты выше Дени, — говорил Боло.

— Я не жена тебе, — отвечала Аня.

— Так будешь. Я уже достаточно взрослый, чтобы прокормить жену.

Аня смеялась:

— Но кто нам поверит?

— Поверят, — говорил он, — если у тебя родится ребенок.

— У меня ребенок? С ума сошел!

Боло упорно продолжал:

— Люди становятся взрослыми, когда у них появляются дети.

— Но я не хочу стать взрослой, — отвечала Аня.

— Все дети хотят стать взрослыми, — говорил Боло.

— Я — нет! — отвечала Аня. — Мне и так хорошо.

Нет, удивительно как хорошо ей быть школьницей. Она родилась быть школьницей. Она любит хранить тетради в чистоте. Она любит выводить буквы, потому что у нее хорошее перо и чудесный почерк. Она любит отвечать стихи наизусть, потому что у нее такая память и голос:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

И все-таки это случилось. Боло — такой сильный, а Аня сама не знала, чего она хочет.

Но ему не везло. Его исключили из школы, и Мапа отвез Боло в Комсомольск, в ремесленное училище.

Аня брала в руки книгу, садилась у окна. Подоконник служил ей письменным столом. Казалось, Аня достигала зрелости по понятиям прежних веков. Нет, случилось, как ей хотелось. Детство едва начиналось. Из звуков слагались слова, из слов слагался мир, который простирался дальше тех гор, что видны в окно. Неправда, что земля кончается за колхозным полем. Там возникали города и страны, это была Земля, которая летит вокруг Солнца, а солнце все равно что одна из тех звезд, и все эти звезды летят... Куда?

Теперь, как осень, Аня уезжала в Новую Руссу. В интернате всегда так чисто, светло, в школе шумно и весело. Как ни интересны физика и география, всего лучше — «Родная литература», с силуэтом Пушкина. А всего лучше — это глядеть на учительниц. Одна моложе другой, одна красивей другой. «Как они прекрасны», — думала Аня с испугом. Разве можно иметь такие прекрасные глаза? Такие стройные, сильные ноги? А голоса, голоса?

— Аня, ты слушаешь?

— Да, Надежда Александровна!

Аня сидела у окна. Шел дождь, чернело убранное картофельное поле, сияла осенняя крона клена, и уходила в лужах дорога с мостками по обе стороны, и толпились дома, и загорались окна. Аня сидела среди шумных, беззаботных товарищей, но жила и там где-то, в одном из этих домов, может быть...

Теперь Аня, ложась спать, брала в руки книгу, ведь тогда какая-нибудь счастливая мысль из книги делала ее покойной, и она откладывала книгу, с удовольствием вытягивалась, руки ложились вдоль тела, и Аня чувствовала тишину на земле, и думала... просто не думала, она проводила рукой по своему

телу под простыней, и в ней поднималась нежность к себе. «Хорошо ли тебе, Аня?» — спрашивала она. «Хорошо», — отвечала она.

И я рад, что ей было хорошо.

Зимние каникулы в Ороне — это всегда возвращение в детство. Здесь все по-прежнему. И Боло здесь. В ремесленном училище он преуспел, он вернулся в Орон и сделался колхозным электриком. Как они встретились в первый раз? Он смутился, а Аня ничего.

— Ну, чего ты! Раздевайся, садись! Сейчас будем ужинать. Мама, скоро?

— Скоро, — отвечала Дени по-русски.

Боло скинул ватник. Он носил свитер, под которым был еще один свитер.

— Пярму хочешь? — спросил он смущенно, смешивая, по своему обыкновению, русские и нанайские слова.

— Щука? Сазан?

— Сазан!

— Ну, если сазан...

Пока Дени варила праздничный суп — суп с мясом и домашней лапшой, Боло угощал Аню, гостью в собственном доме, свежим сазаном. Он резал замороженное мясо на мелкие ломтики. Аня брала, солила и ела. Она глядела на Боло с улыбкой, он смущенно молчал. И, как в детстве, сквозь безмерные холодные дали говорила Москва. Аня смотрела на Боло, и ничто не смущало ее душу. Может быть, не было ничего? Только во сне? И она не женщина?

Они долго пилили дрова за домом. Аня устала, хотя пилить с Боло легко, он умеет пилить.

— Довольно! — сказала она. — Всех дров все равно не перепилишь! — Боло рассмеялся и бросил пилу на снег.

— Это ты над чем смеешься? — спросила Аня с удивлением.

— Я вспомнил, как ты...

— Так и знала — надо мной смеется!

Боло смутился и опустил голову.

— Я не смеюсь, Аня, я только вспомнил, как нам...

— Нам?

Боло замолчал. Солнце село. Между домами, над огородами в снегу быстро сгущались сумерки, словно в метели вились снежинки. Не зная зачем, Аня спросила:

— Ты меня любишь, Боло?

— Да, — сказал он, опуская голову.

— А как ты меня любишь, Боло?

— Я помню.

— И хочешь всего опять?

— Да.

— Но это невозможно, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Дени мне нашла невесту.

— А кто она?

— Я не видел ее, она с Куруна.

Зимним вечером, когда с шумом горели дрова в печи и горячие блики вспыхивали на потолке, как прежде, все оказалось возможным.

— Мне так хорошо с тобой, Аня!

— Иди, Боло! Мама сейчас вернется.

— Аня, я все хотел сказать тебе, как я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж, Аня?

Аня засмеялась:

— Боло, мне нужно учиться.

— Я буду ждать тебя.

— Нет, Боло, нет! Мне еще нужно столько учиться.

Боло склонил голову, и она приуныла. Ей было жаль его, себя жаль — почему она такая?

— Аня? Ты плачешь? Не плачь. Мне хотелось тебя еще раз повидать... Ну вот, повидал.

Он поспешно оделся и вышел на улицу. Аня думала, думала... Ей приходила мысль оставить школу, но кто ей позволит? Она заснула, а утром уехала в Новую Руссу: жить в интернате, потом учиться и жить в городе — лучше ничего не могло быть.

У охотника ружье не стреляет само. Боло покончил с собой.

Что я знаю о нем? Птицы поют в одиночестве, слышит их кто или нет, но плохо, когда никто их не слышит... Я ни разу не подумал о нем как о моем отце. Ребенком я верил Дени: она говорила, что Аня нашла меня в трещине земли там, где капустные грядки. Как я помню себя, Аня училась в Николаевске, в педагогическом училище, которое и окончила, когда мне исполнилось семь.

3

Наконец, появилось на свет расписание экзаменов и консультаций. Первый экзамен — история СССР. Я сидел у окна и листал учебник — Зоя Вишнякова принесла мне. День светлый и холодный. По Неве шел маленький катер, и за ним длинный-длинный плот, совершенно, как у нас на Амуре... Пахнет осенью. А осень у меня навсегда связана с нашими приготовлениями в школу и с приготовлениями рыбаков к кетовой путине. Дорога в Ороне одна, она идет вдоль реки, а вдоль дороги столбы радиолинии, и от столба к столбу повисли канаты, к которым пришивают сети, и все село — как в сугробах, от блеска капроновых сетей. Покупка новых учебников и тетрадей, возвращение домой, раскладывание на этажерке, листание пер-

вых страниц — сколько радости дано человеку на земле! В семь лет я был так мал и слаб, смешно вспомнить, как Дени, моя бабушка, хотела из сострадания оставить меня дома.

— Пусть подрастет, — говорила она, оглядывая меня с ног до головы. Дени сидела на полу в летней кухне и чистила сазана. Живая еще рыба вздрагивала всем телом, как связанный человек.

— Что скажет Аня, ты не знаешь? — сказал дед.

Что скажет мама моя Аня, Дени прекрасно знала. Но ей не верилось, что я уже способен на такое великое дело, как ходить в школу. Тима, мой дядя, учился с трудом — куда мне!

Я стоял в дверях летней кухни, следил, как разлеталась в разные стороны черно-золотистая чешуя, и молчал, словно речь шла не обо мне, словно я не собирался уже столько лет вместе с Ленкой пойти в школу. Всю жизнь я смотрел, как Тима набивает портфель початками свежесваренной кукурузы и отправляется в школу, в далекий светлый мир. Не имело значения, что он учился кое-как, он школьник! Быть школьником — ничего лучше не выдумало человечество, ясно! Тима — школьник, это значит, он уже относился к сельской интеллигенции, у которой и внешний вид не такой и язык — русский. Я относился к трудовому люду, как Мапа и Дени, мы говорили между собою по-нанайски. Мы, несомненно, жили в старом мире, а мир школьников — это новый мир, это книги с картинками, красные поля на белых листах, песни и кино. Русская речь звучала надо мной по радио, я не обращал внимания, делая вид, что это меня не касается. Были понятны только слова «Говорит Москва» и песни. Я повторял: «Говорит Москва! Говорит Москва!» и носился по дому, по дороге,

ликуя и распевая песни. Дени с удовольствием следила за мной, а Тима с подозрением прислушивался и заливался смехом. Я пел: «Ла-ла, ла, ла... Уходим мы гавтла в моле...» Странно было в кино — я сижу на полу, а на экране с заплатками: свет и дождь, надписи под дождем, оглушительная музыка, непонятные речи, лицо с пола до потолка, кричат губы, сабля летит в воздухе, дэ-дэ-дэ — пулеметная очередь и — «ура!». Взрослая публика сидит на скамейках, мы на полу перед экраном, а те, кто без билета, те за экраном на сцене... Никогда не дождешься конца, а заснешь на полу, тебя разбудят толчками: что? всё? Всегда проспишь самое интересное, что становится ясно из бесконечных, переведенных на нанайский язык, пересказов мальчишек между собою. И мне ясно, что я не только слаб, но и глуп, куда мне в школу!

Я стоял и следил в то утро, как Дени чистит сазана, мое любимое занятие — следить, что делают взрослые, а потом я свернул за дом к дороге посмотреть, как Ленка пойдет в школу. Она несла портфель, серьезная и тихая.

— Ты идешь, нет? — сказала она и пошла вперед.

Я пошел за нею.

Еще недавно мы с нею ловили бабочек, боялись тишины в доме, потому что из моих рассуждений выходило, что и в колхозе есть амба. Купались мы нагишом, и странно было замечать, что она девочка, а я мальчик. И мы что-то уже понимали, взрослые не понимали, что мы понимаем, и смеялись. И мы смеялись, только о своем. Летом — жара! Тропинка к реке кажется бесконечной, в пыли сухие соломинки,

острые, как стеклышки, а на берегу галька и узкая полоска песка, где особенно приятно ступать босыми ногами. Купались мы так: ходили по дну на коленках, вода по шею. Раз я порезался на стеклышке, шрам на коленке и сейчас виден. Странное чувство у меня связано с этим обычным в детстве происшествием. Оно осталось во мне и превратилось в пронзительное чувство жизни, смерти, которое находит на меня иногда. В светлый день мы ловили белых бабочек кустиком, складывали их на песок, живые бабочки слетались к ним, мы и их прихлопывали. Зачем мы это делали?

За Ленкой я вошел в класс, меня тут же прижали к стене, вошла моя мама, она улыбнулась и усадила меня на первую парту.

— Ты хороший мальчик, не бойся, — шепнула она, и я почувствовал себя хорошим, и как хорошо быть хорошим. Она невольно дала мне роль, за которую я ухватился, как за соломинку. Многие годы у меня не было ни прилежания, ни способностей, чтобы быть хорошим на самом деле. Я умел только одно — сидеть смирно. Аня была образцом аккуратности и веселости. Она смеялась, и мы смеялись. Она задумывалась, и мы задумывались. Сначала мы учились по нанайскому букварю, а потом по «Родной речи», которая была «Русская речь». Казалось, Аня рассказывает сказки по-нанайски и поет песни по-русски. Потом Аня заболела, ей запретили преподавать в школе... Учился я слабо, как во сне. Каждой весной я узнавал без удивления, что меня опять оставили на осень!

Аня удивлялась.

— Ты же умный мальчик, Филипп! — говорила она по-русски. — Почему Лена не остается на осень?

И правда! Ленка училась еле-еле, но у нее врожденная грамотность. Она бы училась лучше, ей просто не усидеть за уроками было, она любила мыть пол в доме и не оставалась на осень.

Летом в школе ремонт. Парты стоят на траве. Комары. Зной. Кола Николаевич диктует: «В рощах шорох утихает...» Я писал своим неровно-красивым почерком, страдая от каждой неровности в букве и чувствуя в каждой букве угрозу: правильно или неправильно? Я шептал слова и прислушивался. Кажется, все правильно. Я не люблю, не умею обманывать, но меня уличат во лжи. Я сдавал свою работу с чувством вины и раскаяния. И мы бежали купаться! Никто не учил нас плавать, мы сами учились. Надо идти по дну ногами в глубь, не боясь раков и рыб, идти, пока вода не станет тебе по шею, и, испугавшись холода глубины, устремиться к берегу, отчаянно махая руками. Наконец, снова лето, идешь ты теперь дальше, пока вода не покроет тебя с головой и ты пробкой всплываешь наверх, и ты уже умеешь плавать. В десять лет ты заплываешь так далеко и умеешь лежать на воде, вытянув руки назад: только лицо, ступни ног и кисти рук торчат из воды. Так никто не умеет. Ты лежишь себе один и глядишь на небо с белыми, как сон, облаками, течение медленно поворачивает тебя, вода заливает лицо, вода заливает лицо, — это одиночество, оно, наконец, пронизывает тебя, как озноб, и ты судорожно спешишь к товарищам, которым всегда весело.

Странно я воспринимал мир. Всегда одно и то же. Дома — ставни закрыты — темно. Я спал на полу на медвежьей шкуре и проснулся. Так тихо. Случилось что? Где Дени? Может быть, все умерли, я проспал, я проснулся, я один на свете, как та женщина, что сидела на утесе у Сакачи-Аляна и плакала. Небо упа-

ло на землю, и все погибли, кроме нее. Она сидела и плакала, а рукой водила по камню, на камне остался глубокий след, он и теперь виден, говорили. А еще говорили: далеко за дубовой рощей есть глубокий залив, там обитают чудовищные звери. Что-то вроде динозавров. Желудки у них — огненные ямы. Что туда ни попадет, все сгорает. Сколько раз во сне и наяву я сгорал, попадая в желудок динозавра! Я искал — как спастись? Вопрос не стоял так: держись подальше от динозавров. Но все начиналось с момента, как меня уже несло на динозавра... Нужно прижать руки, согнуть ноги, или, наоборот, распластать руки и ноги в стороны — и случалось уцелеть. Я катался по полу, наконец вскакивал на ноги — я жив!

Мир казался доисторическим: вся земля с водоемами, леса кое-где, торчат из воды головы динозавров, как горы. Людей нет. Существовала и такая версия: земля плавилась, как олово, на небе сияли три солнца. Все умерли. Конец мира был, говорили, и еще будет... Когда? Я сходил с ума: как это я умру? И так все нескладно, все сгорает и уходит из-под ног... Мерещилось где-то у виска шероховатое розовое пламя, как плавные волны на закате, только посыпанные песком.

Я прислушивался к сверстникам — мы строили дома на песке, лепили из белой глины корабли, осенью с новой радостью шли, торопились в школу — они просто играли, кричали и, подравшись, снова плечом к плечу водили корабли... Я делал то же самое, а про себя летел где-то среди звезд... Я садился на ступеньку крыльца «Заготпушнины» и замолкал надолго. Если мне мешали, я поднимался и шел с задумчивым видом домой, словно что потерял. Я терял себя, может быть, я терял Землю во Вселенной.

Я стоял, прислонясь к стене дома, лицом к закату, а напротив через высокую фасоль с малиновыми и фиолетовыми цветами темнел дом, где жила Ленка. Одним окном он глядел на меня, чистый закатный свет проникал в другие окна — я видел этажерку с книгами, ковер на стене — аппликацию с желтым тигром. Казалось, я вижу какую-то неземную цивилизацию.

Когда возникало пламя у виска, я не выдерживал и срывался бежать. Это случалось чаще в сумерки, если я один дома. Я бежал по дороге, словно куда спешил. Меня окликали: Филипп! У меня пот на лбу, я не могу отвечать, я бегу, сгорая от стыда, что мне так страшно. Однажды я встал и ушел с урока. Все засмеялись. Кола Николаевич кричит: сейчас же вернись в класс! Я его уже не слышал, и что такое урок арифметики по сравнению с безмолвием Вселенной, где я летал, приближаясь к бушующей звезде и удаляясь...

В минуты душевного здоровья я не боюсь и спокойно разглядываю шероховатое розовое пламя у виска. Это не смерть. Это облик Вселенной, в которой мне не жить. Она необъятна. И сколько в ней ни сияет звезд — она пуста и темна.

Мама сидела на стуле у стола и держала меня за голову. Нежностей между нами никогда не бывало и непонимания, ссор тоже. Русская речь сближала нас, придавая нашим взаимоотношениям сдержанную простоту и интеллигентность. Никто так хорошо не относился ко мне, как мама моя Аня. Она была уже очень больна, один я ничего не знал об этом.

— Скажи, Филипп, — говорила мама, — как ты учишься? По-моему, ты совсем перестал готовить уроки.

— Готовить нечего, мама! Я учусь лучше всех!

— А по русскому языку у тебя была «двойка».

И я отвечаю:

— У нас у всех по русскому языку была «двойка».

— У всех?

— Это ничего, Аня!

Мама и спрашивает:

— А ты перейдешь в пятый класс, Филипп?

— Перейду, наверно, — отвечаю я. — Если я не перейду, никто не перейдет. Разве так бывает?

Мама молчит.

— Только я боюсь, — говорю я, — как я буду учиться в пятом классе?

— В прошлом году ты твердил: как я буду учиться в четвертом классе!

— Я боялся.

Мама говорит:

— Ты уедешь в Новую Руссу!

— Нет, — вздыхаю я. — Кола Николаевич хочет открыть в Ороне пятый класс. Зачем?

— Ты хочешь уехать в Новую Руссу?

— Конечно! Там, в интернате, ты же знаешь, как хорошо!

— Да, хорошо, — говорит Аня. — Что это ты делаешь?

— Яхту!

— Настоящую?

— Настоящую, но маленькую.

— Филипп, что ты читаешь?

Нет ответа.

— Сказки? Приключения? Про шпионов?

Нет ответа.

— Я хочу купить тебе книжки!

Нет ответа.

Кроме «Родной речи» с тремя богатырями, я ничего не читаю.

Кроме как в песне слова еще не радуют меня. Читать — хорошо! Я знал. Эта мысль меня давно беспокоила: если всем читать — такая радость, почему я не испытываю такую радость? Я много раз садился у печки с книжкой в руках, чувствуя себя необыкновенно хорошим... Я прислушивался к зимним шорохам, к далеким голосам... Внизу по автозимнику проносилась машина, светя фарами на снег... То ли книги мне попадались скучные, то ли я еще не умел читать — я уныло закрывал книгу и чувствовал себя заморышем.

Но летом после четвертого класса я с радостью прочел «Дубровского»...

Ранней весной в лесу светло и пыльно. Мы ходим на охоту за бурундуками. А в конце мая мы ходим собирать ландыши. Где-то пионеры собирают металлолом и макулатуру, а мы — ландыши. На ландышах я отличился, и Кола Николаевич сказал, что я поеду на пионерский слет в Новую Руссу. Я забыл об этом. Я брал книгу и шел за дом, где всегда тень, садился на завалинку и читал... Так хорошо. И совесть моя чиста: если я читаю, кто может меня заставить полоть картошку? Никто! Само человечество шепчет на ухо моей Дени: человека с книгой в руках нужно оберегать всячески, и Дени несет мне дымокур...

«— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский».

Какая восхитительная минута!

Ленка заглядывала за изгородь.

— Филипп, что ты тут делаешь?

Ленка пристально смотрела в мои глаза, такая жи-

вая и важная, а русская речь у нее звучала на зависть мне.

— Что ты читаешь? — сказала она.

— «Дубровского».

— «Слепого музыканта» ты читал? А «Капитанскую дочку» ты читал? Я возьму огурец.

— Возьми еще, — говорю я.

— Нет, спасибо, — сказала она, как русская. — Я пришла тебе сказать: завтра мы едем на пионерский слет. Нас двое едет, понимаешь?

На следующий день я вышел на крыльцо и поглядел на холмы Новой Руссы, они давно манили меня и звали, и сейчас показались мне синей и ближе, чем когда-либо, и в это время далеко над лесами загудел пароход-старик «Кутузов». Дени сидела в летней кухне и месила тесто в эмалированной плошке. Она взглянула на меня, как на именинника. Я ничего не сказал. С Дени я чувствовал себя маленьким, что означало быть хорошим.

— Филипп!

Аня вынесла мне куртку, она смотрела на меня, словно смеясь надо мной, и я все опускал голову. Галстук выбивался из-под расстегнутого ворота куртки, как цветы мака.

— Филипп!

Ленка стояла внизу на дороге. Мама поцеловала меня, я вздохнул.

— Что ты, что ты, Филипп! — говорила Аня. — Ты ведь уезжаешь на три дня. Не бойся никого. Тебя никто не обидит.

— Я не боюсь, — сказал я.

— И не ходи ты с опущенной головой, — говорила Аня. — Разве ты в чем виноват? Ты не хуже других, а лучше.

Еще Аня сказала:

— В Новой Руссе живут одни русские, ты знаешь. Это хорошие люди. Вообще, мы живем в великой стране, ты знаешь, и детей у нас любят... Будь счастлив, Филипп!

Ленка и я стояли отдельно от всех, кто выбежал на берег встречать пароход. Пристани у нас нет. Пароход развернулся против течения и остановился почти на середине реки. За нами подъехала синяя шлюпка, матросы покрикивали друг на друга и смеялись. Я первый раз уезжал далеко, и странно было ступить на металлическую палубу, увидеть вокруг себя множество русских, услышать исконно русскую речь, встречать в глазах любопытство, ласку и смех.

Я ехал как во сне.

Знакомые берега сменились пустынными, и скоро между высокими обрывистыми островами мы выехали на Амур. Стало ветрено, шумно. Новая Русса возникла вдали ощущением покоя, светлого простора и счастья. Она сияла домами на пологом холме, а рядом высилась сопка.

Как отлично было сойти на берег! Поток пионеров из других сел увлек и нас с Ленкой, мы прошли мимо складов и столовой внизу по улице на холм. Где-то били в барабан, играл горн, точно с неба все это. Выглянула белая стена с двумя рядами окон, и вот мы столпились на площади над Амуром у Дома Советов — Белого дома, как здесь называют. Мимо нас шли мужчины и женщины, я никогда не видел столько русских, и все они — как Петр Первый или Екатерина Вторая.

Я невольно опускал голову и стоял так, пока не остался один, — все куда-то ушли, и Ленка ушла с девочками.

— А ты что не идешь? — спросила меня пионервожатая.

Я не сообразил:

— А куда?

Девушка засмеялась:

— Ты где был? С неба свалился?

Я сказал:

— Нет.

Она улыбнулась и повела меня далеко через всю Новую Руссу. Мы свернули к Амуру, и здесь на краю Новой Руссы вожатая постучалась в низенький домик с высоким крыльцом. А на велосипеде ехала девочка, она закричала:

— Уля! Уля! Кто это?

Уля сказала:

— Валя! Как тебе не стыдно!

Валя, улыбаясь, проехала дальше. Ей-то было весело! Стыдно мне, что я такой. Дверь открылась, нас встретила остролицая старушка.

— Здравствуйте! — сказала она, разглядела меня, улыбнулась. — Входи, милый, входи, как тебя зовут?

Я немного боялся ее. Она кормила меня всякой всячиной: яички, творог, борщи, пироги, квас, молоко, чай. Я думал, так полагается, потом Ленка сказала:

— Пионеров кормят группами в столовой. Ты не знал? Со вчерашнего дня ты ничего не ел?

Но я так и не узнал, в какой я группе. Пионерского слета я не видел, может, его и не было, или я всюду опоздал. Меня странно смущали мужчины и женщины, сила и красота в них были даны как бы в избытке. Я шел мимо, опуская голову. Мальчишки разглядывали меня, как индейца, вслух догадывались — нанаец! Самый-то страх были девочки, они

пробегали всегда несколько человек, рассматривали меня заинтересованно и смеялись. Завидя их издали, я переходил на другую сторону улицы. Я не знал, что делать. Мне казалось, я воробей, такой смешной по сравнению с ласточками. Я сидел на крылечке Фаины Степановны, а девочка Валя носилась на велосипеде, отчаянно смелая и веселая всегда. Я видел ее на площади, тоже при галстуке, — деловитая и нетерпеливо красивая. Узнала меня, сказала:

— Здравствуй!

Я не успел сказать «здравствуй», не привык еще; и от этого вовсе сбился. Я поймал Ленку в фойе Дома культуры.

— Поехали домой, — сказал я, стесняясь и ее.

— Как? — сказала Ленка по-русски. — Слет еще не кончился. Закрытие еще будет. Прежде будет большой концерт, потом закрытие.

— Какое закрытие?

— Было открытие пионерского слета, будет и закрытие!

Ленка разговаривала со мной с недоверием.

— Никакого слета и нет, — сказал я.

— Как нет!

Она убежала. Ей весело!

Я пошел на берег и взошел на дебаркадер. К вечеру ветер утих, но плавные волны шли и шли без конца, я надел свою курточку, галстук мой спрятался под воротником. Теперь никто не связывал меня с детским праздником на горе. Пришел пароход. Я долго толкался среди приехавших, а потом среди уезжающих, наконец спустился в каюту и сел у иллюминатора. Фиолетовое небо нависло над черной водой. Мы отплыли. Новая Русса, темнея в ночи, светилась огнями, как сказочный город на сваях света. Сколько там ни

жило людей, зла они мне не делали, а только желали добра, но зачем я отличаюсь от них?

И что со мною будет, если я такой?..

Я сидел на корме лодки и болтал босыми ногами в воде. Ленка, наклоняясь с мостика, стирала, и пена уходила из-под ее узких маленьких рук, и я думал: если пену посыпать песком — получится пемза.

— А вечером, — рассказывала Ленка, — был салют, фейерверк! И зачем ты уехал?

Мостик снизу оброс зеленью, а песок под водой у берега был испещрен таинственными письменами — причудливыми следами моллюсков. Я смотрел на голубые холмы Новой Руссы, и меня снова тянуло туда.

— Давай купаться, — говорю я.

Ленка не отвечает: она давно не купается с мальчишками.

— А ты купайся, Филипп! — говорит она.

Я бросаюсь в воду, заплываю почти на середину реки, но Ленки уже нет на берегу. Я снова сижу на корме лодки и болтаю ногами в воде, и думаю; я, может быть, вовсе не я, а я чья-то мысль. Это кто-то думает — я и живу. Перестанет думать — меня и не станет. Я оглядывал небо с белыми кучевыми облаками — во всем чудилась мне чья-то насмешливая улыбка и торжество. Аня беспокойно спрашивала:

— Что случилось, Филипп? Кто тебя обидел? Но почему ты тогда уехал раньше времени, оставив Ленку одну?

Я молчал, молчал и сказал:

— Нас было двое. А пионеры из других сел приехали с художественной самодеятельностью. Что же мне было делать?

Мама, как и Ленка, слушала меня с недоверием. Но всего я не мог сказать ей, как тогда, в восемь лет,

когда я вдруг ясно понял: я умру, меня не будет уже никогда, сколько бы людей ни родилось на свет, но это без меня... Мы сидели за столом, я ел и плакал. Я думаю, Аня поняла: она смеялась, как смеются от испуга. А теперь мне хотелось умереть... Я — заморыш! Я убедился в этом еще раз. Мы убирали картошку на заимке, шла осень шестого класса, было весело, как всегда. Поле там высокое, за лугами и стогами поблескивал Амур, трубы пароходов отчетливо видны. Наталья Львовна, наша классная руководительница, улыбалась и собирала картошку, одетая, как на праздник. Я взобрался на маяк, старый, качающийся от ветра, ребята внизу стояли, как оловянные солдатики, и кричали! У меня голова кружилась от восторга и страха. Над золотыми лесами близко голубели холмы Новой Руссы — взять и прыгнуть на холмы. Наталья Львовна посмотрела наверх, я думал: велит сойти вниз или быть осторожнее. Нет, она ушла в сторону и заговорила с Людмилой Герасимовной. Когда я сошел вниз, она опять ничего не сказала, и я ушел в лес за виноградом. Я вышел к реке у сусу и взглянул на заимку: ребята гуськом шли к домику — за нами приехал катер. Я быстро разделся, взял одежду на руки над головой и переплыл речку, вытекающую из леса, образуя глубокий залив. Вдоль залива идет длинная узкая полоска земли с ивами. Я переплыл речку, задыхаясь от холода, но здесь ивы стояли в воде. Я долго в студеной воде по колено искал клочка земли, наконец нашел, оделся и помчался к заимке. Но всюду была вода, я бежал по воде, по грязи, вижу катер — и меня увидели, на мою беду. Я прибежал, весь грязный и мокрый, дрожащий, без сил. Наталья Львовна странно посмотрела на меня и опять ничего не сказала. А потом я слышал, она сказала: «Они привыкли». Никто

ничего не слышал. Все ели мой виноград. Маринка предлагала мне свою кофточку.

— Мне не холодно, — сказал я. — Я привык.

Я перестал что-либо чувствовать. Потом, лежа в теплой постели, я раза два всхлипнул и задумался. Природа, думал я, — это все, что вокруг... Ивы, амбары. Шиповник посреди села, куда Тима водил девчонок, за что Дени била его палкой. Ночная река, полная тайн и такая теплая. Мухи, собаки с глазами, облепленными мошкой. Природа — это шерсть медвежьей шкуры и мои страхи. Казался природным наш быт во всех национальных проявлениях. Комары. Метели, когда больно в висках от мороза. Само слово — орнамент. Природа, одним словом, стыд. Мир прекрасного — это школа, книги, русская речь. Природа меня закабаляла, культура освобождала. Я хотел снять с себя природное и перейти весь в мир культуры. В школе я и проделывал это, и радовался, как легко мне стало удаваться это превращение. Я пел песни. Я читал книги. Но беда — я родился с печатью национального быта, я — это халат моей Дени, мои страхи и стыд, я — предмет этнографии, как шаман и его мазанка, я — человеческая окаменелость, заморыш исторической жизни человечества. Смешно вспомнить, как мы играли в индейцев, сами те же индейцы на пороге современной цивилизации. Я знаю: я живу в России, я свободен и счастлив, но я не могу забыть об индейцах в резервациях, о неграх в гетто, и тени их унижения и позора я чувствую на моем лице и сейчас.

Ребенком мне хотелось умереть и где-то в России родиться заново. Я об этом много мечтал. Но делать нечего. Быть так.

Теперь уже не песни, а книги меня спасали. Я лежал на кровати и читал целыми днями, читал до сумерек, а в сумерки уже не разберешь, где ты и где тот страшный мир с огнями городов, с автомобильными катастрофами, с изнасилованными женщинами, с небоскребами и яхтами. В сумерки слова обретают реальные формы, и уже не поймешь: ты глядишь в окно на стога, на фиолетовые облака или ты это видишь в фильме... В сумерки такая отчетливая тишина: слышно — стукнули дверью на другом конце села, слышно — промерзает вода вдоль берега, и все кажется, что где-то в пустом доме плачет ребенок. В сумерки слышишь пространства: Гималаи и Кордильеры, Ганг и Амазонка, американские прерии и африканские саванны — обступают меня близко, и снова мне неуютно, может быть просто поздняя осень.

Дверь открывается, чьи-то шаги, свет...

— Ты дома? — говорит мама.

Я дома!

Я лежу ничком на кровати, подо мной подушка, в руках роман Драйзера, нет, «Манон Леско», нет, «Тихий Дон», нет, «География частей света»... Я приподнимаюсь и включаю радио — голос знакомый поет «Синий платочек», и снова мир в душе моей, я спокоен и счастлив!

Но Аня больна, на нее мне страшно взглянуть Мне было двенадцать лет. Был март, снег сиял нестерпимо. Из Новой Руссы приехала специальная машина за Аней. Аня как будто стыдилась врача, которая знала ее. Врач, молодая, красивая, носила черные очки от солнца и так хорошо улыбалась тонкими алыми губами, совершенно, как Евгения Борисовна. Она ни на кого не обращала внимания, все что-то говорила Ане, словно они приятельницы, а Аня смущенно слушала и

коротко отвечала. Я стоял один в стороне на согретой солнцем завалинке. Все стояли около машины и оглядывались в мою сторону, а мы с мамой уже попрощались, и раза два солнечные очки обращались в мою сторону, и я каждый раз замирал. Если бы я был болен, я бы взглянул на нее и поправился. Или умер от унижения. С крыш свисали сосульки, с них капало. Мама мельком взглянула на меня и вошла в закрытый кузов машины. Врач прошла в кабину и, закрывая дверцу, сняла очки — лицо ее мгновенно состарилось на пятьдесят лет. Пятьдесят лет она разъезжает по нашим селениям и в дождь и в метели. Русская женщина! Родина-мать! Я заплакал и прошел за дом... С деревьев сошел снег, леса чернели, но не так сиротливо и сухо, как зимой, а полные влаги и жизни начавшейся в них весны. Я перестал плакать. Холмы Новой Руссы синели влажно, светло, словно там уже сошел снег и весна!

4

В последний день перед экзаменом я бросил все попытки заниматься. Лучше ничего не делать. Я сидел на подоконнике и курил. Заглянула Зоя Вишнякова, Алика не было.

— Филипп, — сказала она, размахивая сумочкой, — идем в кино?

— Идем, — сказал я.

И мы уехали на Невский. Она сияла глазами, равно глядя с улыбкой любви и на парней, и на стариков, и на меня. Красота ее ног и походки, ее платья, ее сияющие глаза были отданы всем на счастье. Сидя в полутьме кинозала, рассеянно глядя на экран через поле голов, я особенно тихо и полно ощущал ее близость,

и думал, как она может быть счастлива, и лучшие фильмы, в сущности, пытались выразить то же самое, они боролись за самое лучшее в ней, за самое высокое счастье. А Зоя как будто и не знала об этом, хотя много толковала о современном кинематографе и о современном театре... И если мне ни к чему были современный театр, БДТ, Сартр, Дюрренматт, а была нужна нежность и любовь, — ей нужно было все наоборот. В моем сознании возникала Ленка, и я испытывал сладкую зависть к ее жизни без меня. А Зоя Вишнякова? Сколько этих маленьких женщин я видел каждый день на Невском!

Но какая бы она ни была, я любил следить за каждым ее движением — грации, красоты у нее не отнять. При встрече в коридоре (утром она ходит в кокетливом халатике) или внизу в вестибюле (она спешит куда-то) ее глаза вспыхивали, голос звучал нежно, я в волнении совершенно терялся и даже не поднимал глаз, пытаясь схватить в воздухе отдельно от нее ее окрыленную нежность. Она просто говорила:

— Здравствуй, Филипп!

Я отвечал:

— Здравствуй! — волнуясь, как в детстве, когда я учился произносить это такое простое слово.

Шла осень пятого класса.

Анна Яковлевна покачала головой, поджала губы и своим задушевным голосом сказала: «Два». Два! Ее большие, бледно-голубые, как бусы, глаза говорили мне, что я хороший и унывать мне нечего. Я прошел на свое место счастливый, просидел другие уроки как во сне и отправился домой один. Ленка осталась петь в хоре.

Первым делом я затопил печь в летней кухне. Я один в доме. В сентябре и Дени надевает резиновые

сапоги, и она рыбак, — идет кета! Я помыл котел, вычерпал грязную воду берестяным ковшиком, налил воды, снова вычерпал и налил окончательно чистой воды... Я встал и сказал: «Здравствуйте!» Взял плоскую корзину и отправился в огород: «Здравствуйте, Анна Яковлевна!»

Я срывал пожелтевшие початки кукурузы и бросал в корзину: «Здравствуйте, Наталья Львовна!», «Спасибо! Благодарю вас!», «Пожалуйста!».

С приездом новых учительниц я попал в безвыходное положение.

— Здравствуйте, Людмила Герасимовна!

Три слова нужно выговаривать целую вечность.

Ленка за три дома вылетала со своим «здрасьте», я за три дома сбегал к реке посмотреть: поднялась вода и насколько поднялась?

Длинные травы качались в воде.

Иногда и бежать некуда. Я, взволновавшись вконец, шептал: «Здра...»

И уже слышал над собой задушевный голос Анны Яковлевны:

— Здравствуй, Филипп!

Меня не хватало на имя-отчество, это явно невежливо. Между тем со мной стали здороваться Галка Нестеренко, дочка нашего пекаря, и Маринка Цветкова, дочка Людмилы Герасимовны. Я им отвечал, а потом пол-урока приходил в себя. А в шестом классе дело дошло и до Ленки.

Странная Ленка! Мы шли однажды в лес есть черную смороду, а возле конюшни жеребец лезет на лошадь... Не было бы Ленки — еще ничего, я совсем потерялся. А Ленка шла, словно сердилась на меня. И с тех пор — сколько лет прошло — все как будто сердится. Но она хорошая! Если я возьму и кину

чем, она не кричит «чего ты» и все такое. Она скажет:

— Чем ты кинул, Филипп? Так больно.

Если я кидаюсь снежками, она постарается увернуться от всех моих снарядов, а потом и скажет:

— Сколько?

И ей весело: десять раз промахнуться — это позор.

Она такой крепыш. Летим вместе под гору, она не сдается, задыхаясь от смеха, а потом и шепнет:

— Перестань меня обнимать!

И мир предстанет в ином свете.

Все у нее выходит хорошо: как спускается в валенках по ступенькам школьного крыльца и оглядывается — иду ли я, как она несет портфель, или поет, или бежит — неловко, а хорошо. Рано утром, если я замешкаюсь, она тихонько ходит по гребню сугроба у моего окна. Я выбегаю, она и не взглянет, я вижу ее девчоночьи следы и маленькую фигурку впереди... А потом, уже на полпути, она скажет:

— Здравствуй, Филипп!

— Здравствуй, — говорю я. А мороз — за сорок! Сугробы выше окон, окна светят прямо в снег. Наравне с нами белый дым из труб. Снег скрипит под ногами чисто-ясно, и чисто-ясно светят звезды.

Однажды выходишь из школы, свет слепит глаза... Не успеешь оглянуться, сугробы сошли на нет: моря-лужи! Обходишь их, влезая на изгороди. Прибегаешь домой, срываешь со старых сетей поплавки, вырезаешь кораблик. Прутик — мачта, белый лист — парус, кораблик плывет... Ленка глядит на кораблик и уходит, и я ухожу, а кораблик плавает себе и плавает... Мы повзрослели — идет весна седьмого класса. Теперь я говорил первый:

— Доброе утро!

Возникали сомнения, может, правильнее: «с добрым утром»?

Ленка отвечала особенным голосом:

— С добрым утром, Филипп!

Я шел рядом с нею, а ее голос еще долго звучал во мне.

А дома мне Дени дает поесть, я говорю: «Спасибо!» Мапа на рыбалке накидывает на меня дождевик, я говорю: «Спасибо!»

— Что ты там шепчешь, дитя? — спросит дед.

— Ничего, — говорю, — стихи.

Вещи простые и ясные, если впитать в себя с молоком матери, — сколько тоски, вины и раскаяния потребовали они от меня! И всегда столько душевной сосредоточенности приходилось проявлять мне, чтобы просто сказать: здравствуйте! пожалуйста! спасибо! — что каждый раз, если мне вполне удавалось это, я скакал, прыгал, бросался бегом через все село домой, вообще чувствовал себя необыкновенно хорошим и всех людей на свете хорошими, особенно Анну Яковлевну. Она сказала, как всегда:

— Здравствуй, Филипп!

В ночь перед экзаменом я, к счастью, заснул сразу и хорошо выспался. Я вышел на улицу заранее и отправился в Университет не через мост Строителей, а по проспекту Добролюбова, дошел до стадиона имени Ленина, перешел Тучков мост на Васильевский остров и пошел назад... Солнце ярко сияло. Я нес в себе тишину сосредоточенности и рассеянно смотрел вокруг, больше на воду. Экзамен мы сдавали в аудиториях исторического факультета; а это налево, второй этаж, длинный коридор... Я шел и шел до поворота — вот где! Здесь царила атмосфера праздничности и страха. Девчонки, подтянутые в струнку, были

особенно прелестны, неловки, красивы и жалки. Я смотрел на них спокойно, они улыбались мне, как товарищи по несчастью. Какой-то парень, верно студент-старшекурсник, остановился и прочел стихи, посмеиваясь над нами:

Опять над полем Куликовым
взошла и расточилась мгла
и, словно облаком суровым,
грядущий день заволокла...

Но голос его так хорошо звучал, стихи были настолько хорошие, наше комическое положение никак не ослабило трагического пафоса стихотворения Блока, — я был взволнован почти до слез, — и теперь каждого напутствовали словами: «Теперь твой час настал. — Молись!»

Я вошел в аудиторию, сказал тихо: «Здравствуйте!» — и взял билет. У меня что-то спрашивали, я не мог понять, что. Наконец, взяли у меня билет и посмотрели, какой номер. Я сел на свободное место у окна, вынул авторучку, попробовал перо и только потом взглянул на вопрос — так! На второй вопрос — так! Нельзя было не знать. Но я ничего не помнил. Это как водится.

Прошло немало времени, может быть целый исторический период, прежде чем я собрал все, что я знаю о «медном бунте» и о нэпе, и тщательно отсеял все неясности. Расчет был основан на том, чтобы сказать несколько точных фраз, и все. Я был готов вовремя и даже мог выбирать, к кому идти. Экзамен принимали три человека: старичок, который уже прослыл дотошным и опасным, молодой человек, который явно скучал, стало быть, вредничал, и молодая женщина, которая была приветлива и ко всем добра. Я в подоб-

ной ситуации выбираю самого опасного экзаменатора, нарочно. Старичок улыбнулся и ждал, ждал, а я никак не могу начать от волнения, он, старый интеллигент, встал, сказал: «Извините, я сейчас», — словно с сожалением прервал мой ответ, через минуту вернулся, я начал... Точные, вывеpенные с точки зрения истории и особенно русской стилистики, несколько фраз произвели на старика весьма приятное впечатление, он несказанно обрадовался и заторопился с переходом на следующий вопрос. Про нэп я читал Ленина, поэтому и второй вопрос не был дослушан.

— Вы нанаец? — спросил он.

— Да, — выдохнул я.

Старичок мечтательно повел головой и сказал, что был в наших краях, а был он в юности, стало быть, память о Дальнем Востоке — это его юность. Он с удовольствием поставил мне «отлично». Я пробормотал «спасибо» и выбежал вон сам не свой. Меня обступили: «пять», «пять», «пять» — пронесся по коридору ветер удачи.

Это не был экзамен. Та женщина или молодой человек — они бы меня слушали и спрашивали, старик только обласкал меня, и все. Между нами взаимоотношения «экзаменатор — абитуриент» были переключены снисходительностью старого интеллигента во взаимоотношения чисто человеческие. И так всегда было, когда я встречал на своем жизненном пути настоящих русских интеллигентов. Я это рано осознал, и моя мечта о великой жизни была часто связана с усыновлением меня вот таким старичком с его старушкой, и они жили непременно в Ленинграде... Я не помню, когда и откуда взялась эта идея моя о великой жизни. Именно идея, она пронизывала мою жизнь задолго до того, как я вообще научился мечтать.

Если кто из сверстников бросал школу или оставался на второй год, я всегда удивлялся: как можно не мечтать о великой жизни? Как можно родиться безвестным, жить безвестным и умереть безвестным?

Бывало, я встаю рано и еще до жары успеваю прополоть картошку. Дени мною довольна, я — тоже. Теперь я свободен, я бегу купаться, а потом ем суп с кашей, у нас так принято: горячий суп с холодной кашей одновременно. Или Дени готовит мне жареную фасоль, и лучше мягкой зеленой фасоли в масле нет еды на свете... Или я собираю огурцы, режу на доске мелкими-мелкими ломтиками, посыпаю светлую, как в росе, массу солью, поливаю уксусом и ем! Но все это между делом, а дела нет. В селе в летний день — это сплошной сон. Рыбаки спят, потому что им в ночь ехать на рыбалку, полеводы спят по кустам за колхозным полем — перекур с дремотой. В селе старушки и дети — эти всегда спят. Собаки роют в земле глубокие норы, и куда ни глянь — отовсюду из-под земли торчат их красные языки. Я иду до «Заготпушнины», иду до мазанки Кэндэри — ни души! Разве проедет катер «Ласковый» — и на катере ни души! Я прыгаю по штабелям свежих досок у лесопильни, я люблю свежие доски, их цвет и запах. Еще больше я люблю свежеоструганные доски — такая чистота! Такая причудливость линий. Чистая красота!

Потрогав доски руками, я иду назад берегом — сначала галька и светлая вода, потом обрывистый луг и темные быстрины! На лугу множество тропинок, горячих, как песок. Летают стрекозы, и слюда их трепетных крыльев сгорает на солнце. Я вхожу в прохладу небольшой рощи ив над водой, падаю на мягкий дерн... Закрытые глаза полны светом — это белый

свет! И мне странно думать о дальних странах, они только кажутся прекрасными, как звезды в ночи, но мне там не жить. Куда мне — быть рикшей в Бомбее? Куда мне — быть чистильщиком сапог в Милане? Нет, я и принцем, и королем не мог бы быть там. Когда я вижу в кино, как голодные дети роются в куче мусора или иссохшие, как мумии, едва живые люди бредут по дорогам где-нибудь в Америке или в Африке, я думаю: в каждом из них утрачена возможность великой жизни. Я лежу в роще ив и вдруг вскакиваю — какая мысль! Там, где-то в России, живет одинокая семья, у них есть все! И почему бы им не усыновить меня? Это так интересно, это надо обдумать! И я откладываю до вечера... К вечеру жара спадала, жизнь в селе возобновлялась, мы купались и играли в волейбол, я бегаю и помню: будет что-то хорошее, хорошее — терпение! Вот и сумерки, я поднимаюсь на чердак, где в белой четырехугольной палатке я сплю летом... Ласточки зашевелились в гнезде под крышей. Засветив фонарик, я читаю... Постепенно тают человеческие голоса, и природа начинает свой торжественный хор: комары, кузнечики, лягушки — кажется, и вода звенит, звенят леса, звенит небо колокольчиками звезд! Но это и есть огромная, необъятная тишина. Теперь время — я спокойно вытягиваюсь и улыбаюсь. Они решили усыновить меня. Надо же! Это значит, мне жить в Ленинграде. Подробности — на целый роман — я пропускаю... Я в Ленинграде, я кончил Университет, это само собой. Я поспешно обдумывал свою жизнь дальше... Кто я — ученый или писатель? Я писатель! Я написал книгу, мой первый роман, в 21 год — непонимание, переполох, признание! Я, не разгибая спины, пишу второй роман... Но... пришла беда, я знал: ее не миновать мне. В 23 года я заболел

туберкулезом легких. Я лежал в больнице и уныло бездельничал впервые за много лет. Мое дело безнадежно. А у меня в голове готов третий роман, да еще какой! Но поздно. Я умер. Жизнь — счастье, но почему за счастье человек, как обманутая женщина, должен быть унижен? Смерть — унижение, и от того, что я прославился, моя смерть выставлена всем напоказ, читаю: «...после тяжелой и продолжительной болезни...» Что этим хотят сказать? Но делать нечего. Быть так. Слышу голоса восхищения у моего изголовья. Никогда я не чувствовал себя таким хорошим, как теперь, когда меня нет. Все случайное, лишнее, мой вредный характер, моя некрасота, вся шелуха — все ушло. Только стройные строки моих романов, только чистый свет жизни, когда той жизни нет. Но почему живая жизнь не обнажена так чисто-светло?

Пережив муки смерти, уже зарытый в землю, я вспоминал... Постойте! Талант, гений, великая жизнь — ладно... А любовь? Умереть, не испытав любви молодой красивой женщины, это грустно.

Ленка стояла, слегка наклоняясь надо мной, а я, упершись коленками о лед, помогал ей приладить коньки.

— Хорошо?

— Лучше не бывает, Филипп!

И она делает дальний круг, словно повторяет эти слова для всех.

И правда, нет радости лучшей, чем нестись на коньках, когда лед еще так чист и тонок, и половина реки еще чернеет незамерзшей водой, и над нею по первым ранним вечерам клубится белый пар, и деревья мохнато покрыты инеем, и самые интересные события

разыгрываются на закате, в сумерках и при звездах, когда лед становится черным, а следы от коньков белеют, как хвост реактивного истребителя, и нам не остановиться.

— Филипп! — кричит Ленка. — Почему ты стоишь? Можно подумать, я за тобой бегаю!

И снова круг, в продолжение которого она принадлежит всем, с нею перекликаются, к ней прикасаются, и она все дальше уходит от меня и, уходя, приближается опять ко мне.

— Иди домой! — говорит она, ей весело!

И снова круг, словно она комета — приближается к солнцу, разгоняясь над землей, и снова уходит в сторону по своей орбите, которая не обладает постоянством. На лодках, опрокинутых вверх дном, иней. На крыше школы — иней. В воздухе — иней! На темных окнах красные сполохи заката, словно в горящих печах открыли дверцы. Сумерки струятся, как смутные ленты кино. Рокочет лед. Ленка стоит передо мною, пристукивая коньками, и быстро оглядывает мое лицо. Вокруг зимняя черно-белая ночь. Сняв коньки, мы медленно идем домой. Как хорошо было, и почему это кончилось? Всему есть конец. И дню, и конькам, и детству, и жизни... Я умру, и Ленка, и никогда ее не будет на земле. Но как это — не жить? Когда другие живут... И другие умрут, и другие. Когда-нибудь все умрут, потому что Земля исчезнет, как появилась однажды. Но появилась же!

Я, вдохновленный «пятеркой» по истории СССР, ходил и ходил весь день по городу, пока не устал вконец, и мне стало грустно. Я пришел в общежитие. Алик получил «четыре» и лежал на кровати — сокрушался! Он отвечал той молодой женщине, она все улыбалась и слушала, а если долго отвечать, всегда

можно обнаружить пробелы в своих знаниях. Так оно и вышло.

Я сбегал в магазин, и мы распили бутылку противного портвейна.

Я спросил:

— Где Зоя?

— Я хотел у тебя спросить, — сказал Алик и с таким видом, что я увидел — ему и тут не повезло. И я подумал хорошо о Зое. И почему ей не быть настоящей, какая она есть? Она возмужает и обретет вместо модных замашек прелестную простоту и женственность. И все будет хорошо. Прощаясь вчера в коридоре после кино, она посмотрела на меня так... Я не знаю, как выразить. Томас Манн говорит: «Красота не обходится без капельки лжи». Так она и взглянула, в эту минуту капельками лжи были ее глаза, они выражали любовь, и я обвил ее руками и поцеловал, и она, смеясь, убежала своей подпрыгивающей походкой. Зачем ей это было нужно?

Зои я не видел и на следующий день. На третий день она вошла и сказала:

— Филипп! Я улетаю. Счастливо тебе!

— Сейчас?

Сочинение она написала на «три». Это все равно что «два», сказала она. Я поехал с нею в аэропорт. Я первый раз ходил по аэровокзалу, я еще не летал. Она говорила, что, если правду сказать, она первый раз в жизни по-настоящему несчастна.

Что же нас тревожит и мучит? Чего же не хватает нам для счастья? Неприкаянность юности! А потом? А потом — ведь лучше не будет. Она шла среди женщин и мужчин к самолету, юная, красивая и, как казалось со стороны, самая счастливая на свете!

Глаза у нее цвета вишни. В школе ее звали Вишне-

вой Косточкой. Я заметил: я думаю о ней, как об умершей. Она улетела в небо. И одна разлука мне напомнила другую.

Сколько я ни думаю о Ленке, что разлучило нас, я не могу понять. Неужели эта моя детская мечта о великой жизни? Был чистый безветренный день в ерга (рыбацкий лагерь-стан во время кетовой путины), за лугами, над стогами вдали поблескивал Амур. А недалеко у дубовой рощи темнел длинный узкий залив, где и обитали «динозавры». И хотя в пятнадцать лет детские страхи исчезли, но странное чувство мира во мне осталось, и мне снова становилось жутко, как в раннем детстве. Рыбаки на огромных лодках, прицепленных к катеру, делали заплыв за заплывом, бригада за бригадой, работа шла круглосуточно. Шла кета! К вечеру Амур словно вышел из берегов — засверкал по всему горизонту. То тут, то там загорались красные и зеленые огни. Белый теплоход, весь розовый от заката, прошел медленно, как мираж. Мы с Ленкой ходили, ходили... Смотрели на лодки, полные кеты, собирали витые двустворчатые ракушки на прибрежном песке, сидели в палатках, ели пряники и уходили далеко в сторону от лагеря. Было холодно, было грустно и хорошо. Я говорил:

— Лена, может быть, наши мысли летят во Вселенной, как свет звезд?

Она молча смотрела на звезды — они едва загорались и гасли, пока не наступила ночь и звезды крупно и густо засияли в беспредельном небе. Я говорил:

— И, может быть, там есть такие существа, для которых наши мысли и желания — те же ветры и дожди?

Лена шла рядом со мной и молчала. Вернулись в Орон мы ночью. Я взял с собой только соленой икры, а Лена привезла большую корзину кеты, я ей

помогал нести. Она зажгла керосиновую лампу в летней кухне и занялась разделкой рыбы. В полночь пять кетин уже лежали в бочке, густо посыпанные солью. Она была деловита, но мне все казалось: она глубоко несчастна, или я был глубоко несчастен. При тусклом первобытном свете керосиновой лампы я пускался в рассуждения о возможности дружбы, любви между нами. Ленка слушала меня внимательно, иногда искоса взглядывая на меня или сдувая локон со лба, нож в ее маленьких руках ходил безостановочно, вспарывая полное брюхо кеты, вынимая прозрачную груду розовой икры. И было странно: как будто мы бедны, мы живем в тесной мазанке в полутьме, может быть одни на земле.

— Филипп, — спрашивала Ленка, — разве мы не друзья?

Да, но я, верно, говорил уже о любви... из школы мы возвращались прямо через лес, весь опавший и безмолвный. Над могилой сияло лицо Ани... Глаза у нее пристальные, лицо узкое, светлое, губы длинные, тонкие. Аня мне всегда казалась русской с едва приметным налетом нанайской женственности, в которой есть стыд, беззащитность и скрытная нежность.

— Что, Филипп? — спрашивала она.

Зимой ее могила вся под снегом, только столбик стоит с фотографией под маленькой крышей.

— Что, холодно? — спрашивала она.

Весной, когда вокруг здесь цветут ландыши, она молчала. На лице ее появлялось что-то жалкое. Всего лучше она глядела на мир в осеннюю непогоду, желтые листья клена создавали вокруг ее лица уют.

Лена смотрела на меня, и мы шли дальше. Земля примерзла, в следах людей, что прошли здесь в осенние дожди, белел лед... Мы наступали на лед, и лед со

звоном рассыпался. Солнце село. На западе лилово-красные куски туч ярко горели, и уже поблескивали первые звезды. И она сказала: «Ты же моя первая любовь, Филипп!»

5

Главный экзамен для меня сочинение. На аттестат зрелости, к своему ужасу и ужасу всей школы, сочинение я написал на «три». Но как готовиться к такому экзамену? Я не знал, что делать. Я просто ходил по городу, был в ЦПКиО и в Приморском парке. Я ходил и там, где никто меня не мог слышать, пел вполголоса, напевал песенки Евгении Борисовны или выстукивал мотив палочкой по стволу дерева или решетке моста... Это был испытанный способ пережить тревогу, преодолеть себя или, словами Пушкина, сохранить к судьбе презренье:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Пришел в общежитие поздно и сразу лег спать.

Я лежал на спине, потом перевернулся на левый бок, мне стало хорошо. Теперь — на правый бок, вот сейчас и засну... Ведь это испытанный прием!

Не заснуть. Во тьме мои глаза широко открыты, я вижу себя сверху. Отчего я не засыпаю сразу, как Тима? Почему я не ем беличьего мяса? И почему Ленка лучше меня говорит по-русски? К, Л, М, Н, О, П...

Я пытаюсь говорить по-русски, ищу слова в полутьме... Слова есть. Но сказать — не о чем. У всех есть новости, тайны, дела... У меня ничего нет. И я снова начинаю бояться темноты. Кто это стоит у печки? Я укрываюсь с головой в одеяло, потом высвобождаюсь — ведь это мама моя!

Она стояла у печки, словно прячась от кого-то, и глядела на меня, прикрывая один глаз рукой... Открытый глаз, край лица, ее губы и вся ее узкая фигурка сияли невыносимой красотой!

— Пудин-амба! — Я чувствовал, как я слабею... Но почему я не умер?

Входя зимним утром в школу, я полагал, что здесь-то я в безопасности. На улице сумерки. Звезды еще блестят. В коридоре от углей в печах вспыхивает теплый свет и гаснет. Прижмешься щекой к теплой извести печи, и тянет тебя закричать: так хорошо, боже мой! Мне весело, надо же. Мне нравится, когда я весел, потому что я редко бываю весел. Я сажусь на свое место на этой земле и, не обращая внимания ни на кого, пою. Я пою, и весь хаос ощущений, суеверий первобытного сознания оформляю через песню в человеческое чувство — грусть.

Это было необходимо. Я пою, когда мне особенно хорошо или особенно трудно. Я пел, еще не зная значения русских слов, улавливая их смысл в напеве. Я пел непрерывно, часами, пока ехал, например, с Дени на лодке за дровами. Я и рулевое весло держал просто так, не умел и грести, я сижу на корме и пою: «Там, вдали, за рекой загорались огни...» Дени размеренно, по тысячелетней привычке, опускает и поднимает весла, лодка идет близко от берега... Мы собирали хворост и складывали в кучу на красный дерн, которым сплошь покрыта земля под ивами, можно

лечь и заснуть. На ивах, на самых неожиданных местах, росли кучками такие яркие, с желтой шляпкой грибы. Я лазил по старым, изогнутым стволам, а потом вслед за сбитыми грибами прыгал на мягкий дерн и пел «Вечер на рейде».

А близко на том берегу, отвесном, как стена, были дырки, из дырок вылетали ласточки, не такие красивые, как те, что вьют гнезда у нас под крышей, но тоже ласточки, серые, с короткими хвостами. Они пролетали низко над водой и — в дырку. А дырок много. Как они разбираются, где чей дом и где чьи птенцы? Дени сказала, что в эти гнезда заползает змея и сколько яичек ласточка ни снесет, все съедает змея. И ласточку может съесть.

Я пою «Варяга».

Зачем мне рассказала Дени про это? И правда ли это? Но с тех пор мне страшно взглянуть на высокие берега с гнездами речных ласточек. Мне чудятся змеи. Вода под обрывом темно отражает берег, ласточки летают и летают, и ничего не знают об опасности. А дед говорит:

— Отчего это ласточки все летают, ты знаешь?

Я говорю:

— Им хочется летать и летают. Им, наверно, весело.

— Нет, — смеется Мапа. — Они ловят насекомых в воздухе, как я — рыбу в воде. А зачем я это делаю? Ты думаешь, мне каждый день охота ловить рыбу?

— Без рыбы нельзя. Что же мы будем есть?

— Так и птицы, — говорит Мапа.

Мы ехали ставить сети на ночь. Это легко: в узком заливе втыкают в ил под водой шесты и к ним привязывают концы сетей, поплавки ложатся ровно поперек залива. За ночь щуки и караси непременно

запутаются в них. На рассвете их нужно снять. Когда мы возвращались, звезды сверкали так близко и крупно, — казалось, небо падает на землю. Я пою «Соловьи! Соловьи!», а потом и «Сормовскую лирическую».

— Вишь как распелся! — говорил дед, махая веслом. Я пою «Землянку», а потом... Сколько песен я знал! И откуда? Бывало, прозвучит песня первый раз в Москве — я уже знаю. Зимним вечером мы с Дени одни, она варит в чугунке картошку и тыкву на сладкое, отдельно в кастрюле — кету, я сижу у темного окна в коридор перед печкой, там полыхает огонь, а в бочке вода из проруби со льдинками, там касатка плавает. Дени сказала — их две. Я видел лишь одну: маленькая, с мой палец, плавает себе, живая, и не знает где. Я сижу на табуретке, ноги — на сосновых поленьях, и пою «Подмосковные вечера». Я пою, Дени усаживает меня за стол есть и говорит:

— Нельзя петь за едой, это к несчастью.

Я замолкаю, но пою про себя, потому что не остановиться, и, может статься, не я пою, а только прислушиваюсь, а поют где-то далеко, где Россия и лето.

Я иду спать и пою все песни заново, пока не засну. Мапа где-то у Сихотэ-Алиня разводил огонь в железной печурке, я пел и для него, чтобы не было ему так одиноко в тайге.

Я осмотрел авторучку, набрал чернила и попробовал перо. Хорошо. Алик жужжал электробритвой, смотрелся долго в зеркало, одевался с толком и расстановкой. Один узбек сокрушался:

— Все забыл! Ничего не помню!

Я сочувственно молчал, хотя терпеть не могу подобные штуки, ведь это неправда. А если и в самом деле ничего не знаешь, тем более молчи! Это достойнее. Алик был готов, он многозначительно посмотрел на меня и достал из портфеля коробку из-под конфет. В ней лежали аккуратно сложенные новенькие фотошпаргалки сочинений на всевозможные темы. Они имели прекрасный вид. Одно сочинение было на модную тему «Молодое поколение в пьесе А. П. Чехова „Вишневый сад“». Сочинение ученицы девятого класса такой-то школы гор. Архангельска. Почему Архангельска — Алик не знал. Посмеявшись над собой, он ловко рассовал шпаргалки по карманам своего великолепного костюма. Этих штук было много, Алик хотел и меня снабдить фотодокументами. Я покачал головой — не умею. Экзамены я сдаю не совсем так, как все. Всем важно знать, во что бы то ни стало запомнить, вызубрить или, на худой конец, воспользоваться шпаргалкой. Мне важна, наоборот, свобода от всего этого. Мне важно быть простым, правдивым хоть до «двойки», вот и все. Быть самим собой. Но это-то труднее всего в трудную минуту. После экзамена и «пятерка» меня не радует, если я сам в душе не был на высоте. Еще с вечера я начинаю следить за собой — чтоб ни малейшей фальши ни в чем. О чем я говорю и как? Что я делаю и зачем? А утром уже важно все: каждый шаг, темп сборов, как я иду по улице... Мне всегда смешна суета у дверей, за которыми таинственно идет экзамен. Кто как спрашивает? Кто что получил? Разве это имеет значение?

И снова атмосфера праздничности и страха. И снова девочки, подтянутые в струнку, особенно прелестные, неловкие, красивые, жалкие. Я смотрю на них спокойно, они улыбаются мне, как товарищи по

несчастью. Я им всем уже примелькался. Нас было, наверно, человек триста. На доске — темы сочинений. Я сразу решил писать по Пушкину. План составился сам собой. Я выписал несколько цитат, больше не нужно. Одно стихотворение Пушкина я открыл в шестом классе, вернее, Ленка открыла мне его. Она, наверное, сама была ошеломлена стихами «Я вас любил, любовь еще, быть может...», горячо сказала: «Филипп!» Я взял у нее Пушкина и долго повторял: «Я вас любил...», а в восьмом классе я говорил: «Боже мой, Пушкин!» — бегая по дому. Кошка пряталась за печку и следила за мной своими вертикальными зрачками. Я ронял книгу и, закрывая глаза, падал на пол, на медвежью шкуру — в пустыне мрачной я влачился. ...Явился шестикрылый серафим, и что он сделал со мной?

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...

«И дольней лозы прозябанье...» Я принимался читать «Евгения Онегина» вслух. Дени пришла из магазина, я читаю. Дени подоила корову, я читаю. Дени сварила ужин, я читаю. Дени ставит на стол поздний ужин и тянет нанайское восклицание: каме! каме!

— Это столько тебе учить наизусть, нэку?

— Нет, Дени! Спасибо, есть мне не хочется!

— Ешь, ешь, Филипп! Оставлять еду нельзя, не будет тебе счастья.

Это непреложный закон.

— «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!» Дени, быть по-твоему! И я буду счастлив?

Я говорю ей по-русски. Дени все понимает, хотя отвечает мне на родном языке.

— Не убьешь человека, чужого не возьмешь, лентяем не будешь... — Это означает: будешь хорошим человеком. — Будешь хорошим, а счастливым... — Дени качает, качает головой и плачет, это она об Ане и Боло плачет.

Я замолкаю. Нет, Дени, я теперь хороший! Я теперь счастливый! «Когда волнуется желтеющая нива...» — разве это не на меня нисходит счастье? А «Ветка Палестины»? Как ни тяжело было Лермонтову, когда он писал «Выхожу один я на дорогу...», — я выхожу, и мне хорошо! Птицы поют в одиночестве, но песня их слышна всем! Я особенно много читал «Героя нашего времени» — маленькую книжечку с удивительным, с таким лермонтовским шрифтом. Я был Печориным. Он страдал, я был счастлив! Да полно, можно ли отделить счастье от страдания; есть жизнь. Если жизнь была, значит, и счастье было.

Но кем можно выйти из «Мертвых душ»? Эти Чичиковы, Ноздревы, Плюшкины, Собакевичи, — боже мой! Я не знаю, но и они мне чем-то дороги. Я люблю каждое слово Гоголя, острое, как клинок, как луч света... В зимние каникулы в девятом классе две недели с утра до вечера, в полной тишине, здоровый душевно и физически, я читал «Войну и мир», читал с упоением, это, конечно, единственный роман в мире, как Россия у нас одна. С каждой главой, с каждым периодом толстовской фразы душа моя ширилась, и, вчитываясь в то, что, казалось, было давно и безвозвратно ушло: эти великосветские салоны, Анна Павловна Шерер, князь Василий, Элен, вся их блестящая,

пошлая жизнь, — я чувствовал, что и эта жизнь была жизнь, и в ней выразились эпоха и Россия, и дело не в их смешных характерах и взглядах с вечной заботой: что сказал государь? — а в том, что они жили. Мы этих людей не знали и какое нам дело до их слабостей и пороков, и если они были люди скверные, то их давно нет. Казалось бы, зачем Льву Толстому снова вызывать их к жизни? Неужели только чтобы сказать, какие это были мелкие, пошлые души? Нет, это была какая ни есть — жизнь человеческая, тем и интересная нам. Вы знаете, мне дороги и Анна Павловна Шерер, и князь Василий, и Элен. Писатель осветил их насквозь светом своей насмешки, но главное — светом, и они — как вечно живые! А что говорить о лицах, нам симпатичных? Наташа Ростова, Пьер, князь Андрей, Николай Ростов, княжна Марья! А что говорить о событиях исторических, так полно воссозданных гением художника? А что говорить о всей полноте отражения жизни той эпохи? В романе вся природа России, времена года, народ, деревня, Москва, Петербург, умственная жизнь, весь мир! Но главное в том, что читаешь о событиях, давно минувших, о мельчайших волнениях мелких и высоких душ, а все, кажется, глядишь на ту жизнь сквозь события и движения души, нам знакомые и близкие, словно вглядываешься в прошлое сквозь прозрачные облака, сквозь прозрачные картины настоящего! Читая «Войну и мир», открываешь современный мир.

Как хорошо было читать эти книги, но зачем нас спрашивали? Разве я могу рассказать своими словами, кто был Евгений Онегин? Нет, конечно. Я могу скучно повторять, что написано о нем в учебнике, и я повторял «без божества, без вдохновенья». Еще мучительнее были сочинения... Обычно я чувствовал

себя просто преступником перед Пушкиным, Лермонтовым и русским языком. Пишешь иной раз с вдохновеньем, («пленной мысли раздраженье»), а знаешь: как ни старайся, улики будут, и ты получаешь «три», «четыре». Когда ты получаешь «пять», ты горд и важен, но счастлив ли ты? Напишешь сочинение — и сразу садишься на скамью подсудимых. Несколько тревожных дней ожидания — суд идет! Первый приговор — опять «четыре»! Второй приговор — твое сочинение читают вслух как лучший образец ловкого мошенничества чужими фразами, оправданного нашей посредственностью. Что за мука? Зачем? Я хочу быть Моцартом, а не Сальери. А не то — мне так легко — буду физиком!

Я сразу начисто написал сочинение и сидел, наблюдая за аудиторией. По рядам ходила высокая, солидная женщина, похожая на нашего завуча в новорусской средней школе. Она каждый раз внимательно взглядывала на меня, она словно ободряла и ласкала меня. Я снова взялся за проверку каждого предложения моего небольшого сочинения. Фразы простые, бедные. Зато грамматические и стилистические ошибки исключены.

Кто-то уже сдал работу и вышел. Я тоже встал, осторожно прошел по ступенькам вниз, положив листы на стол, сказал «до свидания!» и вышел. И заметался по городу — совсем как у Вознесенского:

Душа моя, мой звереныш,
меж городских кулис
щенком с обрывком веревки
ты носишься и скулишь...

Я, не зная что делать, в нетерпении разъезжал по кинотеатрам в поисках новых настоящих волнений

и сладкого знакомства с короткой жизнью людей на экране. Жизнь человека на земле не была длиннее. Если сеанс не совпадал или билетов не было, я садился в такси и летел на другой конец города, и легче было умереть, чем не попасть на настоящий фильм. Если фильм мне нравился, на меня рано находила боязнь, что скоро конец, и конец наступал, я вставал, смущенный и бедный, или смущенный и гордый от сознания в себе силы и воли сделать великое. В сквере Казанского собора отцветали розы, я слышал их знойный летний запах и остро чувствовал их шипы, и снова, как в детстве, возникало шероховатое розовое пламя у виска, я пытался разглядеть его — пламя бушевало розовыми волнами и исчезало в глубинах Вселенной... Сквозь вечернее сияние улицы я видел первые звезды... Там летели галактики, разгоняясь во все стороны... Говорят, двенадцать миллиардов лет назад были в одной точке нейтрино и антинейтрино. Земли в помине не было... Потом звезды полетят обратно — в одну точку, и опять нейтрино и антинейтрино. Я видел весь Невский с двумя потоками людей... Куда люди шли? И все так чудесно одеты, и все так веселы! Земля тихо вращалась, плескался океан, падали бомбы, молодежь плясала «енку», размахивали руками гориллы, люди голодали, президенты врали...

Вдоль Невы ярко горели фонари, лучась в воде. Поблескивал золотой шпиль Адмиралтейства, и несся на всех парусах золотой кораблик!

Я переходил мост Строителей, общежитие сияло светом — царство юности и красоты! Все были красивы и казались отчаянно счастливыми. Но нет труднее, чем быть отчаянно счастливыми. Это все равно что стоять на горной вершине.

На следующий день я стоял и изучал список двоечников. Рядом со мной стоял парень в очках. Он явно любовался на список двоечников, потому что там его фамилии не было. И моей фамилии не было.

— Нет, — сказал он. — Нет?

— Нет, — сказал я.

Мы засмеялись, заговорили и познакомились. Гена Лазоркин. Я спросил, откуда он приехал. Он отвечал с веселой усмешкой:

— Я тутошний!

В школе, говорит, дурака валял, год работал на заводе, два года служил в армии, теперь взялся за ум.

— Не поздно ведь? — спрашивал он, смеясь. — Айда в кино, — сказал он. Я с радостью согласился. На Невский пришли пешком. После кино мы зашли в кафе-автомат перекусить, и Гена, опять весело усмехаясь, предложил выпить пива.

— Идет, — сказал я.

Мы выпили по большой. Потом гуляли по городу, где каждая улица у Гены была связана с воспоминаниями детства, а у меня — с моими познаниями по истории русской литературы. И было странно, как за 10 000 километров — я в таежной глуши, он в Ленинграде, — в сущности, думали об одном и том же, открывали одних и тех же писателей. Замелькали имена! И мне было приятно сознавать, что мы на равных, что он мне симпатичен и я ему нравлюсь. Он уезжал на дачу, мы прошли пешком до Финляндского вокзала, и Гена сказал:

— Хочешь, поедем на дачу?

— Поедем, — сказал я.

Мы сели в полупустой вагон, и скоро электричка летела по высокой насыпи над городом, потом поля, холмы...

Мы выскочили на платформу, за нами двери закрылись, и зеленая электричка ушла за зеленые холмы. Стало тихо и хорошо, словно где в Сибири.

Садоводство было безлюдно. Мы вошли в открытую калитку и прошли между цветущими флоксами к дому.

— Катя! — позвал Гена.

Никого. Но через минуту мы услышали за домом какую-то возню и смех.

— Гена, кто это с тобой? — спросил девичий голос.

— А там кто у тебя? — сказал Гена, скидывая рубашку. — Раздевайся, пойдем купаться.

Из-за дома появились две девушки, взглянули на меня и засмеялись друг над другом. Кроме трусиков и лифчиков на них ничего не было. Маленькая, светлая, с круглым личиком, мягким загаром, вся похожая на спелую сливу, — это была Катя, сестра Гены. Подруга Кати Лиля казалась крупнее и больше похожа на черносливу.

— Очень приятно, — сказала Лиля, и девушки опять рассмеялись. Поговорили об экзаменах и отправились на озеро. Весь этот день был сплошное счастье, как солнечный свет в соснах, как блеск воды... Я хорошо плавал, хорошо играл в волейбол, а Катя и Лиля поминутно смеялись всем моим словам. Никогда я не думал, что могу рассмешить хоть одну девушку. Просто им было весело, и все.

Вечером приехала мать Гены Евдокия Васильевна, пожилая, приятная женщина. Она обратила внимание только на то, что я круглый сирота, и сказала: какой молодец! И тут же я услышал жалобы на детей, то есть на Гену и Катю. Гена усмехался и молчал, Катя обрывала ее:

— Вечно ты, мама!

Я не понимал, чем мать недовольна, чем недовольна Катя. Им должно быть так хорошо всегда!

После ужина Лиля собралась ехать домой, и я с нею, хотя Евдокия Васильевна пыталась оставить меня на даче. В вагоне опять было пусто. Парни сидели, развалившись, и пели под гитару песенку за песенкой, не оканчивая ни одну. Юные парочки теснились или сидели, обнявшись. Электричка летела, вокруг зеленели капустные поля. Лиля была некрасива лицом, на мой взгляд, но весь ее облик обладал какой-то страшной для меня силой нежности и обаяния. Она была очень похожа на Евгению Борисовну. Лиля молчала, не избегая моего взгляда. Я не смел говорить, и молчать было жутко. Мы расстались на ступенях Финляндского вокзала.

— До свидания! — сказал я. Лиля стала спускаться по лестнице вниз неловкими, но неизъяснимо женственными движениями крупных, сильных ног. Она оглянулась, потому что все время чувствовала мой взгляд.

— Филипп! Ни пуха ни пера!

Какая-то женщина, вся увешанная сумками, весело прокричала мимоходом:

— К черту! К черту! Отвечай! Вот тогда тебе повезет.

Лиля обернулась и, глядя на меня, стояла и смеялась. Потом сказала:

— Никогда мне не было весело, как сегодня. Это не к добру.

Мне хотелось пойти к ней, проводить ее, но я заметил, что она заранее в течение всего этого дня старалась пресечь какие-либо знаки внимания с моей стороны, хотя я ничего и не думал. Она перешла улицу, прошла через площадь мимо памятника Ленину,

она жила на той стороне Невы. «Перейти только мост», — говорила она. Я сел на трамвай и уехал на Невский, не зная более короткого пути на Мытню. Трамвай медленно въехал на мост, в окно я снова увидел Лилю: она шла одна, в левой руке несла сумочку и цветы, правая была в усиленном движении. Она шла, опустя голову, и весь ее облик выражал обиду и незащищенность. Вот она какая! И я о ней думал уже все дни, я знал: рано или поздно мы встретимся.

Я вышел на Невском и пошел пешком, я шел и смотрел на людей. С каждым прохожим и со всеми на улице я был чем-то связан: кто-то мне очень нравился, а кто-то мне был гадок, и мое настроение колебалось, как свет и тени на воде. Был уже глубокий вечер, но улица, фонари, машины, стены домов сияли, словно погруженные в светлую воду. Я видел множество молодых хорошеньких женщин, и они сегодня, сейчас мне нравились, и я думал о каждой и обо всех вместе с нежностью и грустью. И мне казалось, что и они смотрят на меня с нежностью и грустью, пока идут навстречу, а там идут навстречу другие, и так без конца. Мы отлично одеты, нам по 17—27 лет, у нас есть все: и друзья, и человек, которого мы любим и мучаем, — нам хорошо! Это правда! Вот откуда эта спокойная уверенность, милая вежливость, и нежность, и важность, и тайная грусть, и вечная юность, потому что пройди я здесь и через сто лет — все так же будут идти люди непрерывным праздничным потоком...

СОДЕРЖАНИЕ

ТОЧКА ОПОРЫ

Составитель И. И. Трофимкин
Редактор Е. В. Стукалин
Художник М. Коган
Художник-редактор О. И. Масляков
Технические редакторы
Т. П. Гладышева, Л. П. Никитина
Корректор И. В. Левтонова

Сдано в набор 10/II 1971 г. Подписано к печати 14/V 1971 г. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 16,46. Тираж 65 000 экз. М-25045. Заказ № 25/л. Цена 62 коп. Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография имени Володарского Лениздата, Фонтанка, 57.